

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ О ПУШКИНЕ



Санкт-Петербург
ГУМАНИТАРНОЕ АГЕНТСТВО
"АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ"
1995

Легенды и мифы о Пушкине: Сборник статей/Под ред. к. ф. н. М. Н. Виролайнен (Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН). — СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1995. — 352 с., ил.

Предлагаемый вниманию читателей сборник, разумеется, не содержит полного свода всех возникших за почти уже два столетия легенд и мифов о Пушкине: такой свод потребовал бы многотомного издания, которое когда-нибудь, возможно, и состоится. Но зато в книге представлен почти полный набор «образцов» этих мифов и легенд: и порожденных самим поэтом, связанных с его родословной, с его личной биографией и творческим самосознанием, и возникших в среде его современников, и сложившихся позднее, в разных поколениях его читателей и исследователей, и, наконец, принадлежащих современной живой культуре в таких разнообразных ее проявлениях, как сознание обывательское, фольклорное или профессионально-писательское.

Все цитаты из произведений Пушкина приводятся в сборнике по изданию: Пушкин. Полн. собр. соч. М.; Л., 1937—1949. Т. I—XVI; Справочный том — М., 1959. Ссылки даются в тексте статей с указанием в скобках тома и страницы. Ссылки на пушкинские автографы, хранящиеся в Институте русской литературы РАН (Пушкинский Дом) (ф. 244, оп. 1), даются сокращенно (например: ПД, № 840).

Изд. 2-е, испр.

Книга издана при финансовом содействии
Международного фонда «Культурная инициатива»

ISBN 5-7331-0051-6

- © Коллектив авторов, 1995
- © Институт русской литературы
РАН (Пушкинский Дом), 1995
- © Э. Б. Капелюш, оформление, 1995
- © Гуманитарное агентство «Акаде-
мический проект», 1995

1

МИФЛОГИЯ РОДОСЛОВИЯ



В. В. Набоков

ПУШКИН И ГАННИБАЛ

Версия комментатора

(Вступительная статья и публикация В. П. СТАРКА,
перевод с английского Г. М. ДАШЕВСКОГО,
примечания Н. К. ТЕЛЕТОВОЙ)

Статья «Пушкин и Ганнибал» была напечатана в английском журнале «Encounter» в июле 1962 г.¹ В переработанном виде Набоков включил ее в комментарий к роману «Евгений Онегин», вышедшему в его переводе в 1964 г.² Набоков сам указывает время написания статьи — это 1956 год, год завершения многолетнего труда над переводом и комментированием пушкинского романа. 15 марта 1956 г. Набоков пишет из Гарварда сестре

¹ *Nabokov V. Pushkin and Gannibal // Encounter. 1962. No 106. P. 11—26.*

² *Eugene Onegin: A Novel in Verse by Alexandr Pushkin/Translated from the Russian, with Commentary, by Vladimir Nabokov in four volumes. New York, 1964.*

Елене Владимировне: «Здесь я бешено доканчиваю моего огромного „Онегина“»³. В первых числах июля того же года он поселился в г. Итаке, приступив к чтению лекций по русской литературе в Корнелльском университете. Здесь и была закончена статья, начатая в Гарварде. Во вступлении к своему «очерку» писатель сообщает, что «появлением своим он обязан нескольким лишним часам, проведённым в великолепных библиотеках Корнелльского и Гарвардского университетов...».

Статья посвящена загадкам, связанным с легендарной историей прадеда Пушкина А. П. Ганнибала. Суметь разгадать то, что не удалось другим, всегда составляло для Набокова особое наслаждение — страсть эта родовая, унаследованная от дядюшки В. И. Рукавишника, «мастера разгадывать шифры на пяти языках»⁴. В сочетании со способностью писателя «заклинать и оживлять былое» эта страсть культивировалась Набоковым и проявилась во всех его романах. Направленная на решение ганнибаловских загадок, она дала неожиданный результат. Стремление досконально откомментировать единственное косвенное упоминание Пушкиным своей африканской прародины в строфе I главы первой «Евгения Онегина» и его примечание II к роману привели Набокова к необходимости написания обстоятельной полемической статьи, далеко выходящей за рамки даже его собственных пространных комментариев к роману. Решение частной прикладной задачи трансформировалось в самостоятельный научный поиск. Возможно, этого не произошло бы, будь в распоряжении исследователя Набокова, как некогда и в распоряжении исследуемого им Пушкина, документально подтвержденный биографический материал, касающийся А. П. Ганнибала. Но, как писал Пушкин, «по причине недостатка исторических записок, странная жизнь Аннибала известна только по семейственным преданиям» (VI, 655). Столь шаткое основание для серьезных изысканий послужило рождению многочисленных легенд, непроверенных датировок, мифических вех в биографии Арапа Петра Великого. Во власти подобного мифотворчества оказался прежде всего сам Пушкин, а вслед за ним ряд биографов поэта, начиная с П. В. Анненкова и заканчивая нашими современниками.

Источником всех находок, но также и всех ошибок относительно жизни А. П. Ганнибала Набоков справедливо считает так называемую его «Немецкую биографию», которой пользовались Пушкин и его комментаторы. Набоков первым столь скрупулезно разбирает это творение зятя Абрама Петровича, А. К. Роткирха, чье авторство не было ему известно⁵. Тем не менее, гениальный стилист, переводя текст на английский и анализируя его, предсказал приблудное происхождение составителя биографии Ганнибала: «В немецком языке, по-моему, узнается житель Риги или Ревеля. Возможно, автором был кто-то из ливонских или скандинавских родственников госпожи Ганнибал (урожденной Шеберг)». Также не видев никогда ни в натуре, ни даже в цветной репродукции портрета, хранившегося в Петербурге и столетие считавшегося изображением Ганнибала⁶, Набоков за четверть века до разрешения у нас спора по этому поводу указал на ошибочность такой атрибуции. Статья о Пушкине и его прадеде демонстрирует ряд других его

³ Набоков В. Переписка с сестрой. Ardis Ann Arbor, 1985. С. 85.

⁴ Набоков В. Другие берега. Ardis Ann Arbor, 1978. С. 57.

⁵ Оно было установлено уже после смерти Набокова (см.: Телетова Н. К. К «Немецкой биографии» А. П. Ганнибала//Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1982. Т. X. С. 272—285).

⁶ См. статью Н. К. Телетовой «О мнимом и подлинном изображении А. П. Ганнибала» в настоящем сборнике. Историю вопроса см.: Александрова Т. Г. О портрете А. П. Ганнибала//Из пушкинианы Всероссийского музея А. С. Пушкина: Сб. науч. статей. Л., 1988. С. 85—93.

провидчески ясных открытий, подкрепленных логикой проникновенного исследования.

Необходимым условием поиска для Набокова является отказ от груза заключений своих предшественников, как бы авторитетны они ни были в чьих-то глазах. Раскованность Набокова, свобода от всяческих шор позволяют ему сделать то, чего не смогли сделать другие. И, конечно, нужны долгие недели кропотливого труда, чтобы продрасть сквозь дебри десятков порою многотомных сочинений географов, этнографов, путешественников, посетивших в разные времена родину Ганнибала. Но Набоков не был бы самим собой, если бы не завалировал трудоемкость поиска, небрежно сведя его к «нескольким часам».

Чем же, по мнению Набокова, мог быть оправдан такой труд или, иначе говоря, чем же тема «Пушкин и Ганнибал» так привлекла его внимание? Ответов на этот вопрос может быть несколько. Главный из них мы найдем на страницах его автобиографической исповеди «Другие берега»: «Выговаривая себе право тосковать по экологической нише — в горах Америки моей вздыхать по северной России»⁷. Налицо перифраз 11—12-го стихов той самой строфы L главы первой «Евгения Онегина»:

Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России...
(VI, 26)

Строфа L отражает тогдашнее состояние духа Пушкина, высланного на юг России, — оно оказалось близким Набокову, оторванному от родины. Тема изгнанничества, мотив тоски по родине, звучащие в пушкинских стихах, перерабатываются Набоковым, наполняясь новыми оттенками. Строфа из «Евгения Онегина», приведенная полностью, открывает собою очерк Набокова. Вложенная им в уста Абрама Ганнибала⁸, она приобретает характер монолога, а в своей оторванности от основного текста — прямоту авторского (в данном случае набоковского) высказывания. Набоковские сны о России «на чужбине, ночью долгой», воспоминания о петербургском утраченном рае, отцовском особняке, усадебном парке параллельны воспоминаниям Ганнибала о «роскошной жизни отца», свободе «под фонтанами отеческого дома».

Не следует забывать и того, что представителю древнего русского дворянства Набокову, как и Пушкину, была небезразлична история предков. Как и Пушкин, ввиду недостатка исторических сведений о своем роде, он вылавливает их, где только может, а «семейственные предания» и в набоковском случае восполняют отсутствие письменных источников. В «Других берегах» Набоков замечает: «Восемнадцать лет покинув Петербург, я (вот пример галлицизма) был слишком молод в России, чтобы проявить какое-либо любопытство к моей родословной; теперь я жалею об этом — из соображений технических: при отчетливости личной памяти неотчетливость семейной отражается на равновесии слов»⁹. Именно эту «неотчетливость» отмечает Набоков у Пушкина в романе «Арап Петра Великого» и в «(Начале автобиографии)». Анализируя пушкинские математические расчеты возраста Ганнибала на полях «Сокращенного перевода Немецкой биографии», Набоков наблюдает тщетные попытки поэта уточнить ее данные и приходит ему на помощь.

Преодолевая нагромождения несуразниц «Немецкой биографии», Набоков пытается уточнить происхождение Ганнибала, место его рождения, историю

⁷ Набоков В. Другие берега. С. 61.

⁸ См. примеч. 1 на с. 42 настоящего сборника.

⁹ Набоков В. Другие берега. С. 43.

с сестрой, обстоятельства привоза его в Россию, обучения во Франции и другие моменты запутанной жизни Абрама Петровича. Он многое проясняет в нашем приблизительном знании о пушкинском предке, делает тонкие психологические выводы на основании своих находок.

Одно из самых интересных наблюдений Набокова заключается в том, что Пушкин ни разу не упомянул о хорошо ему известном, в частности из «Немецкой биографии», абиссинском происхождении своего прадеда. Причина видится ему в том, что при упоминании Абиссинии тотчас могла возникнуть нежелательная ассоциация с популярным тогда романом английского писателя С. Джонсона «История Расселаса, принца абиссинского» (1759), переведенным на русский язык в 1795 г., а также широко известным в России по многочисленным французским переводам¹⁰. Пушкину вполне хватало истории с «негритянским принцем» из болгаринского пасквиля 1830 г. Ф. В. Булгарин писал: «Расказывают анекдот, что какой-то поэт в Испанской Америке, также подражатель Байрона, происходя от мулата или, не помню, от мулатки, стал доказывать, что один из предков его был негритянский принц»¹¹.

Булгаринский «принц» вполне мог иметь своим предшественником «абиссинского принца» из романа С. Джонсона. В пользу такого предположения говорит то, что ко времени появления этого выпада Булгарина поэт успел опубликовать о своем предке только 11-е примечание к строфе I первой главы «Евгения Онегина», цитируемое и анализируемое Набоковым. О княжеском происхождении Ганнибала в нем не говорится ни слова. Набоков намекает в своей статье (не располагая, конечно, точными доказательствами), что сама «Немецкая биография» имеет в качестве своего литературного источника «Расселаса» Джонсона. Действительно, смутные детские воспоминания Ганнибал мог «освежить» чтением этого романа во французском переводе 1760 г. Зять же и составитель его биографии А. К. Роткирх имел возможность воспользоваться также и немецким переводом «Расселаса», сделанным Ф. Шиллером и изданным в 1785 г.¹² Заметим, что подлинник «Немецкой биографии» написан на бумаге 1786 г.

Знакомство самого Пушкина с этим английским романом для Набокова несомненно. Джонсона Пушкин упоминает несколько раз в связи с его разоблачением литературной мистификации Макферсона (XI, 281; XII, 147, 388). «Расселас» имелся в библиотеке поэта¹³.

Герой романа, сын правителя Абиссинии, воспитывается вместе с другими своими братьями и сестрами в роскошной долине, окруженной неприступными горами. Стремясь познать большой мир за пределами райского сада — плена, уготованного ему традицией и отцом, Расселас вместе с учителем и любимой сестрой, которая преданно следует за ним, совершает побег из долины, пробив в каменной толще ход, берущий начало в пещере. Пе-

¹⁰ Johnson S. The Prince of Abyssinia. A tale. 2 vol. London, 1759; рус. пер.: Расселас, принц абиссинский: Восточная повесть/Сочинение славного доктора Джонсона; перевод с английского: В 2 т. М., 1795; фр. пер.: Histoire de Rasselas, prince d'Abyssinie, par M. Johnson (sic) (...) et traduite de l'anglois par M-me В***. Amsterdam; Paris, 1760. Последующие переводы на французский язык вышли в 1803, 1817, 1818, 1819, 1820, 1822, 1827 гг. и т. д. См.: The British Library General Catalogue of Printed Books. London; München; New York; Paris, 1983. Vol. Johns-jones. P. 90—93.

¹¹ Ф. В. (Булгарин Ф. В.). Второе письмо из Карлова на Каменный остров//Сев. пчела. 1830. 7 авг. № 94.

¹² Johnson S. Prinz von Abyssinien: Eine Erzählung. Mainz; Frankfurt, 1785.

¹³ См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910.. С. 147. № 567.

щера становится символом свободы. Как видим, здесь содержатся очевидные параллели с текстом «Немецкой биографии», пушкинского 11-го примечания и «(Начала автобиографии)». Заметим попутно, что некоторые из мотивов романа, в частности мотив «дома-рая» и «любимой сестры», имеют автобиографический обертон и для самого Набокова: они связаны с воспоминаниями пегербургского детства и эмигрантской юности. Не объясняется ли столь пристальное внимание Набокова к книге Джонсона также и тем, что она входила в круг его детского чтения? Во всяком случае, замкнутый мир детства и юности принца Расселаса слишком прозрачно ассоциируется с обособленным от всего окружающего миром, в котором прожил первые восемнадцать лет своей жизни Набоков.

В «Заключении» своего очерка Набоков дает неожиданный пассаж — своеобразный ход конем (прием чисто набоковский): разобрав все версии происхождения Ганнибала, он пишет, что «современник доктора Джонсона, прадед Пушкина, родился практически в долине „Расселаса“, у подножия современного памятника эфипской истории и французской нравоучительной литературе XVIII в.», что Абрам Ганнибал приходился внуком «Расселасу доктора Джонсона» и его реальному прототипу князю Селасу, а «абиссинская дева Кольриджа» из поэмы «Кубла Хан» (также имеющая свой прототип) — жена сына Селаса, прапрабабушка Пушкина. Особая любовь Набокова к Пушкину, постоянное его стремление к «наведению мостов» между ним и собою сказались и в построении этой теории происхождения А. П. Ганнибала: она выведена из общего круга чтения, литературных ассоциаций и схожих биографических сюжетов.

«Мечтаниями» называет Набоков эту свою литературно-этнографическую гипотезу, которая, впрочем, имеет такое же право на существование, как и те, которые родились в лоне «семейственных преданий» Ганнибалов — Пушкиных. Подобным образом закончив научный разбор легенд, мифов и версий, сотворенных до него, Набоков в присущей ему парадоксальной манере закладывает первый камень в основание нового, по-своему пленительного, мифа. При сотворении этого сказочного мифа, симфонического переплетения Джонсона и Кольриджа, Расселаса и Ганнибала, Абиссинии, Америки и России, Пушкина и Набокова ведущим оказывается ностальгический мотив автора:

Это было в России,
это было в раю...
Вот,
гладкая лодка плывет
в тихоструйную юность мою...

Берлин. 8.04.23.
(«Река») ¹⁴

Опубликованная тридцать с лишним лет назад на Западе, статья Набокова с ее открытиями и оригинальными решениями давних проблем только теперь становится достоянием отечественных исследователей. Рухнула, говоря словами автора «Дара», «видиотская вещественность изоляторов» между двумя берегами. Нам стал доступен Набоков, и наряду с художником мы открываем в нем ученого, пушкиниста, который «болезненно ощущал нехватку» первоисточников и все же сумел, задолго до тех, кому они были доступны, разрешить цепочку загадок в биографии А. П. Ганнибала. Развев двухсотлетние легенды вокруг его имени, Набоков заставляет по-новому взглянуть на искания истины, сомнения и ошибки Пушкина в «Арапе Петра Великого», «(Начале автобиографии)» и других обращениях поэта к истории своего знаменитого прадеда.

¹⁴ Набоков В. Стихотворения и поэмы. М., 1991. С. 340.

Нижеследующий очерк, посвященный главным образом таинственному происхождению африканского предка Пушкина, не притязает на разрешение множества трудностей, встречающихся на этом пути. Появлением своим он обязан несколькими лишним часам, проведенным в великолепных библиотеках Корнелльского и Гарвардского университетов, и единственная его цель — привлечь внимание к загадкам, не замеченным или неверно решенным остальными исследователями. Хотя подчас я болезненно ощущал нехватку первоисточников, хранящихся в России (где они недоступны, кажется, даже и местным пушкинистам), я утешаюсь тем, что любые материалы для любых разысканий гораздо легче достать в учреждениях этой страны, чем в недоверчивом полицейском государстве. Это укороченный вариант более пространныго научного исследования.

Абрам Ганнибал

Придет ли час моей свободы?
 Пора, пора! — взываю к ней;
 Брожу над морем, жду погоды,
 Маню ветрила кораблей.
 Под ризой бурь, с волнами споря,
 По вольному распутью моря
 Когда ж начну я вольный бег?
 Пора покинуть скучный брег
 Мне неприязненной стихии
 И средь полуденных зыбей
 Под небом Африки моей
 Вздыхать о сумрачной России,
 Где я страдал, где я любил,
 Где сердце я похоронил.

«Евгений Онегин»¹

В примечании Пушкина к «Евгению Онегину»², основанном прежде всего на рукописной «Немецкой биографии»³ его прадеда с материнской стороны, сказано: «Автор, со стороны матери, происхождения африканского. Его прадед Абрам Петрович Аннибал* на 8 году своего возраста был похищен с берегов Африки и привезен в Константинополь. Российский посланник, выучив его, послал в подарок Петру Великому, который крестил его в Вильне. Вслед за ним брат его приезжал сперва в Константинополь, а потом и в Петербург, предлагая за него

* Французская форма английского и немецкого «Hannibal» и русского «Ганнибал» и «Ганибал»; мы обязаны все время помнить, что классическое образование нашего поэта полностью зависело от французских переводов древних авторов и французских же комментариев к ним. (Все подстрочные примечания в статье принадлежат В. Набокову. — *Ред.*)

выкуп; но Петр I не согласился возвратить своего крестника. До глубокой старости Аннибал помнил еще Африку, роскошную жизнь отца, 19 братьев, из коих (sic! — В. Н.) он был меньшей; помнил, как их водили к отцу, с руками, связанными за спину, между тем как он один был свободен и плавал под фонтанами отеческого дома; помнил также любимую сестру свою *Лагань*, плившую издали за кораблем, на котором он удалялся.

18-ти лет от роду Аннибал послан был царем во Францию, где и начал свою службу в армии регента; он возвратился в Россию с разрубленной головой и с чином французского лейтенанта. С тех пор находился он неотлучно при особе императора. В царствование Анны Аннибал, личный враг Бирона, послан был в Сибирь под благовидным предлогом. Наскуча безлюдством и жестокостью климата, он самовольно возвратился в Петербург и явился к своему другу Миниху. Миних изумился и советовал ему скрыться немедленно. Аннибал удалился в свои поместья, где и жил во все время царствования Анны, считаясь в службе и в Сибири. Елисавета, вступив на престол, осыпала его своими милостями. А. П. Аннибал умер уже в царствование Екатерины, уволенный от важных занятий службы с чином генерал-аншефа на 92 году от рождения, в 1781 году⁴.

Сын его генерал-лейтенант И. А. Аннибал принадлежит бесспорно к числу отличнейших людей екатерининского века (ум. в 1800 году).

В России, где память замечательных людей скоро исчезает, по причине недостатка исторических записок, странная жизнь Аннибала известна только по семейственным преданиям⁵.

По линии русского дворянства имя Пушкиных прослеживается до родившегося в начале XV в. Константина Пушкина, младшего сына некоего Григория Пушки. От Константина идет прямая нисходящая линия к Петру Пушкину (умер в 1692 г.), предку обоих родителей нашего поэта (прадед по отцовской линии его отца и прапрадед его матери по материнской линии)^{*, 6}.

* Сын Петра Пушкина Александр (умер в 1727) был отцом Льва (умер в 1790), который был отцом Сергея (1770—1848)⁷, женившегося в 1796 г. на Надежде Ганнибал (1775—1836) и ставшего отцом поэта Александра Пушкина (1799—1837).

Младший сын Петра Пушкина, Федор (умер в 1728), был отцом Алексея (умер в 1777), отца Марии (умерла в 1818). Мария Пушкина вышла за Осипа Ганнибала (1744—1806), третьего сына Авраама Петрова, он же Ганнибал, обрусевшего африканца (1693?—1781)⁸. Дочь Марии и Осипа, Надежда, вышла за Сергея Пушкина (троюродного брата ее матери) и стала матерью нашего поэта.

У Авраама (Авраама, Авраама, Ибрагима) Петровича или Петрова (отче-

Основные документы, касающиеся происхождения Абрама Ганнибала, суть следующие.

«Прошение»: канцелярская копия прошения, в феврале 1742 г. (т. е. в царствование Елизаветы, дочери Петра) поданного генерал-майором Абрамом Ганнибалом, обер-комендантом Ревеля, или Реваля (ныне Таллинн), города на северо-западе России, в Сенат о пожаловании ему дворянского диплома и герба¹³.

«Немецкая биография»: С. 40—45 рукописи, приблизительно в 4000 слов длиной (рукопись зарегистрирована в Государственной библиотеке им. Ленина в Москве как Тетрадь 2387А и представляет собой пачку листов, сшитых полицией в книгу сразу после смерти Пушкина¹⁴), содержащие анонимную биографию Абрама Ганнибала, написанную неразборчивым готическим почерком на развязно-бойком, но не слишком грамотном немецком. Все, что мы знаем об этой «Немецкой биографии» (рукописи которой я не видел), сводится к следующему: она написана после смерти Абрама Ганнибала (1781)¹⁵; в ней есть подробности, вроде отдельных имен и дат, которые мог помнить только Ганнибал; и при этом в ней много такого, что противоречит или историческим документам (например, прошению самого Ганнибала), или простой логике и явно вставлено биографом с расчетом подправить историю, заполнить все ее пробелы и истолковать выгодным для героя (хотя, в сущности, нелепым) образом то или иное событие его жизни. Поэтому я считаю, что, кто бы ни сплел это гротескное изделие, он (или она) своими глазами видел(а) какие-то автобиографические наброски самого Ганнибала. В немецком языке, по-моему, узнается житель Риги или Ревеля. Возможно, автором был кто-то из ливонских или скандинавских родственников госпожи Ганнибал (урожденной Шеберг). Скверная грамматика, по-видимому, исключает авторство профессионального генеалога¹⁶.

Пушкинское примечание к «Евгению Онегину», основанное преимущественно на этой биографии, но с деталями, прибав-

ство, данное при крещении) Аннибала, или Ганнибала, или Ганибала (взятая им фамилия), далее именуемого «Абрам Ганнибал», было одиннадцать детей от второй жены, Христины Регины фон(?) Шеберг или Шеберх (родилась в 1706 г.,⁹ умерла на два месяца раньше мужа), в том числе: Иван Ганнибал (1731?—1801), видный генерал¹⁰; Петр Ганнибал (1742—1825?), артиллерийский офицер и помещик¹¹; Осип Ганнибал (1744—1806), тоже военный в своем роде, дед нашего поэта с материнской стороны (в 1773 г. он женился на Марии Пушкиной, троюродной сестре Сергея Пушкина)¹², и два Ганнибала позаметнее — Исаак (1747—1804) и Яков (родился в 1749).

Нижеследующие заметки в той мере, в какой речь идет о моих собственных изысканиях, посвящены прежде всего происхождению Абрама Ганнибала и первой трети его жизни.

ленными или из семейных преданий, или из романтических фантазий, уже приводилось.

Есть еще четыре документа, сами по себе любопытные и важные, но нашу тему несколько не проясняющие: (1) анонимный, топорный и неполный русский перевод «Немецкой биографии» на с. 28—29 и 56—58 той же Тетради 2387А¹⁷, записанный пушкинским почерком, вероятно, в октябре 1824-го и, бесспорно, не позже конца года, но, судя по неотесанности стиля, под диктовку кого-то, лучше, чем он, владевшего немецким, и испещренный пушкинскими пометами на полях; (2) весьма краткое *curriculum vitae*¹⁸, написанное или кому-то продиктованное стареющим Петром Ганнибалом*, когда он жил в своем Петровском недалеко от пушкинского Михайловского²⁰; (3) несколько слов об Абраме в генеалогических заметках, составленных Пушкиным в начале 1830-х годов и известных под названием «Родословная Пушкиных и Ганнибалов», где касающийся Ганнибала короткий отрывок начинается словами: «Дед ее матери был негр...», и (4) сквозящие за вымыслом факты в неоконченном историческом романе Пушкина (1827), состоящем из шести глав и начатой седьмой, изданном посмертно под названием «Арап Петра Великого» (1837), где Абрам введен как Ибрагим (турецкая форма имени Авраам).

Хронологических данных о происхождении и юности прадеда у нашего поэта не было. Приступая к историческому роману «Арап Петра Великого» (1827), Пушкин попытался вычислить годы рождения и смерти Ганнибала по скудным и разноречивым данным «Немецкой биографии» (с. 28, считая в порядке, в каком листы были посмертно сшиты)²¹; поэт считал, что раз в 1725 г. Абраму было двадцать восемь (что ко времени смерти давало ему только восемьдесят четыре года), то годом его рождения должен быть 1697 и девятилетним (в согласии с утверждением «Немецкой биографии», которая, наверное, и спротоцировала эти подсчеты) его привезли в Россию в «1708» (или простая описка вместо верного 1706, или умышленный просчет). Подобно многим великим людям, математиком Пушкин был усердным и никудышным.

В другом невразумительном подсчете — вверху четвертой страницы продиктованного ему сокращенного русского перевода «Немецкой биографии» (2387А, с. 56) — наш поэт, видимо, пробовал найти дату рождения Ганнибала, если тому, предпо-

* В письме от 11 августа 1825 г. Пушкин писал своей деревенской соседке, Прасковье Осиповой: «Я рассчитываю еще повидать моего двоюродного дедушку, — старого арапа, который, как я полагаю, не сегодня завтра умрет, а между тем мне необходимо раздобыть от него записки, касающиеся моего прадеда». Он сумел достать только это?¹⁹

ложим, было не двадцать восемь, а двадцать шесть лет в 1725 г. Он увидел, что выходит 1699, и, прибавив девять, получил искомый «1708», т. е. тот год, когда, по его мнению, Ганнибал был крещен сразу по приезде в Россию.

В загадочной записи в правом углу второй страницы (2387А, с. 57): «привезен (в Константинополь.—В. Н.) <1>696», — очевидно, подведен итог подсчетам, основанным на словах «Немецкой биографии», будто из Абиссинии Ганнибала увезли семилетним, а умер он в девяносто два года. Неизвестно, как Пушкин справился с досадным математическим следствием: выходило, что маленький мавр провел в серале у султана десять лет и в Москве перед царем предстал семнадцатилетним детиной²².

Происхождение Ганнибала

В начале «Немецкой биографии» говорится: «Awraam Petrowitsch Hannibal war<...> von Geburt ein Afrikanischer Mohr * aus Abyssinien»...²³

Следовательно, это обстоятельство было Пушкину (записавшему русский перевод) известно, но в собственных заметках он ни разу, говоря о своем предке, не уточняет места его рождения.

Алексей Вульф в дневниковой записи вспоминает, что 15 сентября 1827 г. в Михайловском Пушкин показывал ему «только что написанные первые две главы романа в прозе**», где главное лицо представляет его прадед Ганнибал, сын Абиссинского эмира, похищенный турками, а из Константинополя русским посланником присланный в подарок Петру I, который его сам воспитывал и очень любил»²⁴.

В русском переводе «Немецкой биографии» незнакомец, диктовавший нашему поэту, передает «Afrikanischer Mohr» выражением «африканский арап». Да и сама «Немецкая биография» в дальнейшем изложении именует Ганнибала «Negger».

Абиссинцы (они же эфиопы в строгом смысле) цвет кожи имеют от смуглого до черного. Их тип есть семито-хамитская часть кавказской расы, и негроидные черты настолько преобладают у иных племен, что в подобных случаях применим и обобщенный термин «негр»; но, отвлекаясь от этих соображений (к которым я вернусь в конце заметок), отметим, что рядовой евро-

* Негр, африканский чернокожий.

** Теперь известного как «Арап Петра Великого».

пец того времени — в том числе, как видно, и сам Абрам Ганнибал — в обиходной речи отнес бы к «неграм» или к «арапам» («арап» — обратите внимание на последнюю согласную) любого более или менее темнокожего африканца, если он не египтянин и не араб.

В кратком *curriculum vitae* со страшными ошибками против правописания, которое Петр Ганнибал написал или, скорее, продиктовал, уже впадая в маразм (вероятно, осенью 1825 г., когда, судя по всему, его навещал поэт), утверждается: «Отец мой <...> был негер, отец его был знатного происхождения, то есть владетельным князем, и взят во омонаты*. Отец мой Константинопольского двора, из одного выкраден и отослан к государю Петру I-вому»²⁵.

«Немецкая биография» продолжает так:

«Он был <...> сын одного из тамошних могущественных и богатых влиятельных князей, горделиво возводящего свое происхождение по прямой линии к роду знаменитого Ганнибала, грозы Рима. Его отец был вассалом турецкого императора или Оттоманской империи; вследствие гнета и тягот он восстал в конце прошлого века с другими абиссинскими князьями, своими соотечественниками и союзниками, против султана, своего государя; за этим последовали разные небольшие, но кровопролитные войны; однако же в конце концов победила сила, и этот Ганнибал (Абрам. — *В. Н.*), младший сын владетельного князя, на восьмом году жизни был с другими знатными юношами отправлен в Константинополь в качестве заложника. Собственно, по молодости лет, этот жребий должен был миновать его. Однако, так как у его отца, по мусульманскому обычаю, было много, и даже чуть ли не тридцать, жен и соответственно этому множество детей, эти многочисленные старые княгини с детьми, объединенные стремлением спасти себя и своих, нашли способ хитростью и интригами почти насильно посадить его, как младшего сына одной из младших княгинь, не имеющей при дворе достаточно приверженцев, на турецкий корабль и поручить его предназначенной ему судьбе»²⁶.

Я намерен показать, что в 1690-е годы, в те времена, о которых идет речь, вассалом Оттоманской порты не был ни один абиссинец и не было среди абиссинских князей ни мусульман, ни таких, кого могли бы заставить платить Константинополю какую бы то ни было дань. Обсудим и «грозу Рима». Но прежде чем я попробую распутать всю эту неразбериху, взглянем на географическую ситуацию.

* Кавказское выражение, обозначающее заложника.

Место рождения Ганнибала

В «Прошении» Абрама Ганнибала (1742) есть следующие сжатые, но важные сведения: «Родом я, низайший, из Африки, тамошнего знатного дворянства, родился во владении отца моего в городе Лагоне*, который и кроме того имел под собою еще два города».

Заслуживает внимания то, что конкретная область Африки в «Прошении» не названа. В силу сказанного в «Немецкой биографии» я принимаю, что упомянутый город расположен в Абиссинии. Как я уже говорил, местный падеж не дает ключа к правописанию именительного; мало этого, еще и смехотворная русская привычка передавать и «h» и «g» с помощью русской «гаммы» лишает нас возможности узнать, выглядит ли это африканское название в латинской транскрипции** как «Lagon», «Lahon», «Lagona», «Lahona», «Lagopo» и «Lahopo». Я подозреваю, что верной транскрипцией неведомого оригинала будет «Lahona», но далее буду обозначать это место буквой «L». Сильно смущает сходство имени сестры Ганнибала, упомянутой в «Немецкой биографии», с названием его родного города, встречающегося только в прошении. Я не нашел — в пределах тесного круга моего чтения — ни одного случая, чтобы абиссинский ребенок получал имя по месту рождения.

По ходу работы, стоящей ниже всякой критики в том, что касается истории, этнографии и географической номенклатуры, увлекающийся антропологией журналист Дмитрий Ануцин (1899)²⁷ сообщает, что, поговорив с французским путешественником Сент-Ивом (Жорж Сент-Ив?) и с профессором Пауличке (речь идет, видимо, о Филиппе Пауличке), он пришел к выводу, что «L» — это город и область, расположенные на правом берегу реки Марерб в провинции Хамазен. У «Логго», предлагаемого Пауличке²⁸, равно как и итальянской картой 1899 г. (которой я не видал), и у «Лого» Солта²⁹ (которое нам пред-

* Лагона, Лагоно или Лагон: «в городе Лагоне» — это местный падеж, по которому в русском языке понять окончание именительного падежа нельзя.

** Т. е. записанное алфавитом, повсеместно принятым в географической номенклатуре. Дело не в индивидуальных ошибках или транслитерационных предпочтениях (латинских, испанских, итальянских, немецких, английских, французских и т. д.) в рамках этого алфавита и не в склонности знатоков того или иного языка разражаться вихрем надстрочных знаков. Автор этих строк горячо надеется, что кириллица, наравне с еще более дикими буквами азиатских языков, в ближайшее время будет изъята из употребления раз и навсегда.

стоит рассмотреть) каким-то образом по ходу комментариев и выводов Анучина вырастает хвост сперва в виде «т», а потом и в виде «н», чего не происходит ни с одним из моих «L»; поэтому здесь я с Анучиным расстаюсь и пускаюсь в самостоятельные поиски.

Шарль Понсе³⁰ (путешествовавший в 1698—1700 гг.) делит Эфиопскую империю на несколько царств (провинций), среди которых имеется и Тигре. Тигре (где правил вице-король «Gaugecos») он делит на двадцать четыре княжества (округа), из которых называет лишь немногие, например «Sagavi» («Sagawe»), плато на высоте 6000 футов.

Генри Солт, веком позже, делит уже собственно Тигре («обычно именуемое царством Бахарнегаш») на части, составляющие меньше половины числа округов, данного Понсе, называя Хамазен на севере, Сераве к югу от него и крохотный округ Лого еще южнее. Несколько позже, когда Хамазен и Сераве превратились в провинции, Сераве, распространившись или переместившись к реке Марерб, захватила округ Лого и другие небольшие округа.

Где находится Марерб, установить легко, и название этой реки почти не изменяется в отчетах разных путешественников, из которых большинство жило в XIX в. Изучение старинных карт по репродукциям в блестящем труде Альбера Каммере (1952)³¹ показывает, что это Марерб у Якопо д'Анжелло (он же Аньело делла Скарпериа), Рим, рукопись, ок. 1450; у Мельхиседека Тевенота (по Бальтазару Теллецу), 1663; у Иова Людольфа, 1683; у Бургиньона д'Анвила, 1727; у Брюса, 1790 (начерчена в 1772); это Мариб у Фра Мауро, 1460; Марабо у Якопо Гастальди, 1561; Марабус у Ливио Сануто, 1578; Марерб у отца Мануэля де Альмейды, 1645 (набросок ок. 1630). Это и Мораба из отчета Понсе (1704).

Собеседник Анучина или, что вероятнее, сам он спутал два разных места: Лого и Логоте. Сент-Ив, путешествуя, я думаю, во второй половине XIX в., со Столовой горы (Токуле) видел город «Логот» (по русской транслитерации Анучина) в долине Марерба. Во времена Солта (1810) Лого и Логоте (или Леготе) были два разных городка в сопредельных округах: округ Лого севернее и Леготе южнее, причем последнему южной границей служил отрезок реки Марерб—Муннай. Согласно единственному другому автору, говорящему о Логоте (Т. Лефевр, 1846. III. С. 21, 28³²; его, несомненно, читал французский собеседник Анучина), округ Логоте (Леготе Солта) отделен от округов «Церана» и «Токуле» рекой Белесса (то же самое, что Май Белесса у Солта) — притоком Марерба. Белесса, судя по описанию Лефевра, в сухой сезон теряется, по образцу Марерба,

в песках, правда, стоит всего лишь копнуть, чтобы добыть воды в избытке. «Так как долина Логоте весьма нездорова и кишит хищниками (львы, пантеры.— В. Н.), все деревни располагаются на цепи холмов», и жители, которым за водой приходится с безводных высот спускаться в долину, «очень бережно относятся к своим запасам».

Мареб, в своем центральном течении отделяющий, грубо говоря, север Абиссинии от остальной страны, в разное время года и в разных местах своего извилистого русла предстает то яростным потоком, то подземным ручьем, то исчезающей в песках струйкой. Разные его участки имеют (или имели) особые местные названия. Истоки он берет на северо-востоке в пятидесяти милях от Анслейского залива Красного моря; ниже Дебарвы это жалкий ручеек с узким руслом; затем он набухает, изгибается к югу, сворачивает на запад и, вобрав множество рек, стекающих с северных гор, течет на запад к суданской границе, чтобы близ Кассалы уйти в землю, но в самую влажную погоду последние капли добираются до Атбары. В числе мелких северных притоков мы видим Серемай, Белессу и Обель. Последняя есть на карте Бенга (1893)³³ и на военной карте США (1943); речку Серемай, протекающую точно к востоку от Обель, упоминает Солт (1814), который, продвигаясь в глубь страны от Красного моря, выехал 5 марта 1810 г. (с. 242) из города Диксан и на другой день прибыл в живописное селение Абха (с. 245):

«7 марта.— Мы поставили палатки в пять утра и прошли около мили на юг, так что холм Кашаат оказался, как и надлежало, к востоку от нас, в каковой точке <...> мы взяли несколько западнее и прошли около восьми миль <...> пока не достигли удобной стоянки на берегу реки, прозываемой Серемай. Река эта прокладывает свой путь по дну небольшой замкнутой долины, со всех сторон окруженной крутыми и каменистыми холмами, в одном из закоулков которой, примерно в миле к востоку, расположен большой город, по названию Лого, от которого взято имя всего округа».

В то время (1810) Лого управлялось мятежным вождем, «который в прошлогоднюю кампанию был усмирен расом»³⁴ и который попытался задержать и ограбить караван Солта. Ничто не мешает нам считать его четвероюродным братом Пушкина.

Из Лого отряд Солта выступил на юго-юго-запад. «Наша дорога шла <...> по дикой и невозделанной местности; мы пересекли реку Май Белессан <...> и, взойдя на крутой подъем, достигли деревни Леготе <...> Подсчет расстояния, пройденного от последней стоянки (на реке Серемай, милей западнее

деревни Лого.— В. Н.), дает около восьми миль». Затем Солт переправился через Мареп и шел к югу до «совершенно отвесной» горы (Дебра Дамо), «которая в древнейшую эпоху абиссинской истории служила местом заключения младших родов царской фамилии» (с. 248), в какой-то точке Солт вспомнил «прекрасный и назидательный роман» доктора Джонсона. Имеется в виду пресная книга Самюэля Джонсона «The Prince of Abyssinia» или (в последующих изданиях) «The History of Rasselas, Prince of Abyssinia»*,³⁵ которая вышла без имени автора в двух томах весной 1759 г., когда читатели ухитрились находить поэзию и дарование в плоской фельетонности вольтеровых «Сказок». Еще раньше (в 1735 г.) Джонсон ради нескольких шиллингов перевел «Историческое путешествие в Абиссинию Р. П. Жерома Лобо» Иоахима Ле Грана³⁸. С каким удовольствием думаешь о том, что в один день Солт мог повидать и место рождения пушкинского предка, и место действия повести Джонсона.

Мне удалось отыскать Лого на двух картах: приложенной к труду Солта и менее подробной (взятой, бесспорно, у Солта, но без ссылки на него), поясняющей путевой журнал Сэмюэля Гобата (швейцарского священника, родившегося в 1799 г.), который он вел в 1830—1832 гг.³⁹ Он лежит милях в сорока пяти к северо-северо-западу от Аксума и милях в пятидесяти к югу от Дебарвы. Я не уверен, что он существует по сию пору; возможно, он сместился вбок, как это часто случалось с абиссинскими селениями.

Нигде на многочисленных картах, составленных до XVIII в., не нашел я и намек на «Лого», «Лагон» или «Лагону», если не считать прозрачных итальянских или испанских описательных терминов для «озера», «канала», «горячего ключа» или «пруда» («lagone»).

Трудность состоит в том, что как раз в нужный период, от последних приездов иезуитов в 1630-е годы, до путешествия Джеймса Брюса в 1770-е, ни один пишущий европеец, кроме Понсе (1698—1700), не навещил северной Абиссинии.

Правда, я подыскал другую кандидатку на роль родины Ганнибала. Солт в начале путевого журнала (1811)⁴⁰ упоми-

* «Расселас» имелся в библиотеке Пушкина (Ballantyne's Novelist Library, vol. V. London, 1823³⁶, в этом же томе — «Сентиментальное путешествие» Стерна и «Векфильдский викарий» Голдсмита), но Пушкин был не так силен в английском, чтобы его прочесть³⁷. Если он и знал повесть Джонсона, а это, видимо, было так, то во французском переводе, которых было несколько. В 1795 г. в Москве вышел русский перевод, но хорошее русское общество обыкновенно пренебрегало скверными переделками и предпочитало более гладкие, но едва ли более точные французские версии.

нает деревню «Лагайна*», которую он заметил, идя в северном направлении от «Анталу» (Антало), столицы Тигре-Эндорты, в «Муккулах» (Макалле) в той же провинции. Лагайна эта находится, или находилась, милях в шести от Антало, приблизительно к северо-северо-востоку, и, стало быть, примерно в ста милях к юго-юго-востоку от Лого. Ни на одной карте найти ее я не сумел, но, принимая в расчет сообщение Солта (он только что миновал «живописную деревню Гараке», которую я отождествляю с Гаргарой на военной карте США (1943)), я бы поместил Лагайну на полпути между 39° и 40° восточной долготы и 13° и 14° северной широты. Выступив из «Гараке» и продвигаясь от холма к холму, Солт заметил «справа на склоне, в восточном направлении, довольно большую деревню, называется она Лагайна, от какого-то места дорога, повернув несколько к западу, повела по более возделанной местности, густо усаженной акацией и кустарником...»⁴¹. Почему бы не считать эту Лагайну, а не Лого или Логоте, той самой Лагоной или Лахой из «Прощения» Ганнибала? Были, наверное, и другие, сходно звучащие названия (скажем, от корня «лахам»). В итоге я склонен признать, что вопрос о точном месте «L» остается нерешенным, но я думаю, что она находилась в северных областях Абиссинии, где мы брели, подымая книжную пыль, вслед за мулами и верблюдами дерзких караванов.

Сестра Ганнибала

Коснувшись интриг старших жен, сумевших переправить сына младшей княгини к туркам, «Немецкая биография» продолжает: «У его единственной единоутробной сестры Лагани⁴², бывшей на несколько лет его старше, нашлось достаточно мужества, чтобы воспротивиться этому насилию. Испытав все средства, но принужденная наконец уступить большинству, она, все еще в надежде вымолить или выкупить за свои драгоценности свободу возлюбленного брата, проводила его до борта этого кораблика; однако видя, что все усилия ее нежности бесплодны, она бросилась в отчаянии в море и утонула. И до конца дней своих проливал достопочтенный старец Абрам слезы, вспоминая об этой нежнейшей дружбе и любви, так как, несмотря на его чрезвычайную молодость в момент трагического исхода, это печальное воспоминание вставало перед ним

* Это ошибочное название или Лагамы, или Лехамы, небольшого округа в Андорте, упомянутого Лефевром. Естественно, в мире есть еще одна «Лагайна», а именно настоящая резиденция королей Гавайских островов.

как новое, во всех подробностях каждый раз, что он думал о сестре; нежность сестры заслуживала этой слезной жертвы: ведь она так отчаянно боролась за его свободу и оба они были единственными детьми своей матери»⁴³.

Пушкин в примечании к изданию «Евгения Онегина» 1825 г. явно исправляет «Немецкую биографию», говоря: «〈Абрам〉 помнил также любимую сестру свою Лагань, плывшую издали за кораблем, на котором он удалялся».

Как я уже говорил, здесь Пушкин беспечно подчиняется русской традиции передавать латинское «н» русской «гаммой» (так что «Непгу», например, превращается в «Генри», а «Нейпе» надевает маску «Гейне»). Более того, он хочет дать женское окончание имени с последним согласным (что по-русски для женского имени невысказано), приставив к нему «мягкий знак» (апостроф в английской транслитерации).

Удаляющийся корабль, за которым плыла — слегка опережая романтическую эру — пылкая сестра, можно бы, конечно, сократить до тростникового паромы на разлившейся реке; да и все происшествие циник бы отбросил как небылицу из ряда тех, которые старость принимает за подлинные события; но есть причина, по которой этот случай заслуживает внимания: имя «Lahapp» мне представляется звучащим вполне по-абиссински*.

Вообще говоря, имена на «L» и особенно на «La» в абиссинских хрониках попадаются сравнительно редко. Словари говорят, что в амхарском есть мужское имя «Лайахан»; в годы правления короля Бахафа (1719—1728) жил генерал по имени Лахен, скончавшийся около 1728 г. в бытность губернатором Хамазена.

Мы не знаем, ни сколько лет было расу Фаресу, губернатору Тигре, в 1690-е годы, ни числа его жен или наложниц. Но нам известно, что в ту пору рас Фарес был уже в летах, а также знаем из хроник (Бассе, XVIII, 310)⁴⁵, что его молодую жену, умершую, самое позднее, в 1697-м, звали Лахиа Денгел или Лахья Денгел (что на тигре означает «красота Девы») — поразительно похоже на имя девушки, которая могла быть ее дочерью.

* В турецком языке, который Ганнибал мог некогда понимать, «lohana» означает «капуста», «lahin» — «нога», «тон», «мелодия», «модуляция», «неправильное произношение», а «lauan» — «мягкость», «нежность», Zärtlichkeit⁴⁴. В северо-восточных языках корень *lah*-ассоциируется с «распущенной женщиной» (ср. русское «лоханка» — неряха, псковский диалект, и «лахудра» — распутная женщина).

Родословная Ганнибала

Чтобы понять разнообразные невероятности и нелепости «Немецкой биографии», стоит вкратце припомнить историю Абиссинии.

Евангелие в ней было впервые проповедано около 327 г. от Рождества Христова Фруменцием (ок. 290—ок. 350), уроженцем Финикии, которого рукоположил в епископы Аксума Афанасий Александрийский. Слух об этой первобытной империи, столь близкой к Аравии, столь далекой от Рима, долго шел до Западной Европы. Первые надежные сведения доставил удачный исход злосчастных странствий, в которые пустились иезуиты-миссионеры, не убоясь неведомых ужасов баснословной страны, в надежде на святые утехи, которые заключались в раздаче образков с истинными кумирами и в тайном перекрещивании туземных детей под благочестивым предлогом медицинской помощи. Из этих храбрецов одни преуспели в мученичестве, другие — в составлении карт. В XVI в. португальские войска помогли абиссинцам избавиться от сравнительно краткого мусульманского господства, которое началось приблизительно в 1528 г. и длилось до середины века. Однажды, около 1620 г., при короле Суснее португальские иезуиты все-таки обратили абиссинцев в гротескный вид католицизма, захиревший примерно в 1630 г.— с воцарением Фасилидаса, который восстановил прежнюю веру и вернул монофизитскому клиру церкви. Уже в новое время русские с радостным изумлением обнаружили сохранившийся еще в Эфиопии своего рода естественный православный вкус к древнему отшельничеству; а протестантские миссионеры были туземцам подозрительны своим равнодушием к изображениям святых женского пола и крылатых мальчиков.

В единственно интересный нам период — в последние годы XVII и первые XVIII в. — христианами были почти все абиссинцы, т. е. они принадлежали абиссинской церкви, соединившей в унылую, с коптским душком, смесь самые нелепые идеи древних христианских и иудейских священников, приправив их местными дикарскими мерзостями. Несмотря на память о жестоких вторжениях, государство, исходя из коммерческих соображений, терпимо относилось к мусульманам, а также (из спортивного интереса) — и к племенам негров-язычников, таким, как народность Шангалла, к которой принадлежали черные дикари, что населяли в то время область, соседнюю с Лого или даже включавшую его, там, «где река Марерб, миновав Дебарву, течет сквозь густые заросли» (Брюс. 1790)⁴⁶. В конце XVII в. и поз-

же абиссинские короли с упоением отдавались регулярным сафари на этих язычников, и нет ничего невероятного в предположении, что в одной из таких охот и был захвачен предок Пушкина, потом проданный туркам.

К 1700 г. почти стерлись следы мусульманского нашествия, случившегося более полутора веков до того под предводительством Ахмеда ибн Ибрагима эль-Гази, по имени Грань и по прозвищу Левша, возможно сомалийца. Уже ко времени Иоанна I (ок. 1667—1681) мусульмане, хотя и сохранившие за собой острова у восточного побережья, внутри страны политическую власть потеряли и в абиссинских городах должны были селиться в особых кварталах. Вполне допустимо, что отец Ганнибала был языческим воином или зажиточным мусульманским купцом, равно как и то, что он был местным вождем княжеских кровей, владевшим провинцией или округом; зато совершенно невероятна мысль, будто около 1700 г. всего в 150 милях севернее Гондара, гордой столицы Абиссинии, и меньше чем в 50 милях севернее от священного города Аксума правивший тремя городами абиссинский вельможа мог быть подданным турецкого султана, а значит, и вассалом Оттоманской империи!

Примем теперь, что (1) отец Ганнибала действительно был областным правителем в северной Абиссинии и что (2) воспоминания Ганнибала о «налогах» и «дани» искаженным и туманным образом отвечают каким-то историческим реалиям.

Ганнибал родился в городе, начинающемся на «L», в собственно Тигре или в Тигре-Эндорте, около 1693 г., в правление Иисуса Великого (Иясу I), который наследовал своему отцу Иоанну в 1680 г. (по Бассе) и погиб от руки убийцы, подосланного королевой Мелакотавит (транслитерация французская), желавшей возвести на престол своего сына, Текла-Хаймонота. Проводя лето 1700 г. в Дебарве, тогдашней столице Тигре, Понсе кутил там с двумя областными начальниками: один, по видимому, был губернатором всей провинции Тигре (барнегас или бар-негус — титул, первоначально значивший «владыка моря», но к началу предыдущего века почти утративший смысл); второй начальник был или временным соправителем, или окружным губернатором.

В хронике, изданной Бассе, встречается рядом с 1700 г. лишь один губернатор Тигре, рас Фарес («рас» или «раз» на гизском языке значит «глава»). Губернатором он стал на одиннадцатом году царствования Иисуса I и к двадцать второму году этого царствования свой пост еще сохранял. Похоже, что в первые годы XVIII в. он получил другую, скорее всего воен-

ную, должность, хотя и возвращался то и дело к губернаторству; а второй человек, наверное, управлял в промежутках — и была как раз его очередь, когда Понсе встретил барнегусов вместе. Рас Фарес пережил двухлетнее правление Текла-Хаймонота I и был сослан следующим императором, Теофилом (Тевифлос), правившим три года (ок. 1708—1711), на остров Месрах. Здесь я теряю следы Фареса, который, видимо, в ссылке и умер.

Иисус I (1682—1706) был далеко не бездарным деспотом и могучим охотником, только и думавшим, как бы затравить буйвола или дикаря галла. На семнадцатом году его царствования — т. е. в конце 1690-х (когда Ганнибалу было лет пять-шесть) — чиновничьи поборы и грабеж населения при взимании налогов стали до того возмутительными, что император вызвал из Эндорты и остальных округов всех вельмож и потребовал объяснений. Главной статьей торговли была каменная соль. Под предлогом таможенных сборов чиновники почти подчистую реквизировали у торговцев соль, которую те на ослах привозили в город. Император постановил, что по всей стране должен быть единый соляной налог. Пять мулов, груженных солью, облагались налогом в один пласт.

Скандал этот совпал с прибытием в Абиссинию Понсе, и, возможно, что в него были втянуты и рас Фарес, и разные окружные правители провинции Тигре (включая Эндорту). Несомненно, что по такому случаю император еще непринужденнее, чем обычно, вымогал у губернаторов дань — и преспокойно мог приказать им отослать чиновничьих детей ко двору короля франков в качестве образчиков абиссинской знати.

Ганнибал в рабстве

В те дни абиссинцы, кажется, только тем и занимались, что продавали друг друга в рабство. Есть прелестная история про одного абиссинского священника: другой священник, его приятель, присылает ему молодых богословов, одного за другим он сбывает их мусульманскому работорговцу, потом продает друга священника и, наконец, себя самого. В своих «Путешествиях» (1790) Брюс говорит о Диксане, первом пограничном городе, попавшемся ему на пути от Машуа (Массавы) — прибрежного острова в Красном море. «Диксан выстроен на вершине холма точно по форме сахарной головы» и населен мусульманами и христианами; «единственное занятие представителей обоих вероисповеданий весьма необычно: они тор-

гуют детьми. Христиане привозят тех, кого выкрали в Абиссинии, в Диксан, считающийся надежным местом; там их забирают мавры и везут на знаменитый базар на Машуа, откуда их переправляют в Аравию и Индию»⁴⁷.

Понсе сообщает, что к 1700 г. крепкий раб стоил всего десять экю (пятьдесят шиллингов). По словам Эниды Старки⁴⁸, в 1880 г. мальчик шел в среднем за двадцать полосок, вырезанных из медного котла. Лет через восемь, в дни «торговца Рейнбоу» (как англичане звали французского экс-поэта Рембо)⁴⁹, христианские мальчики из Абиссинии продавались по восьмидесяти левантийских долларов (ок. 150 шиллингов) за душу. Похоже, что до достижения рабочего возраста выгруженные в Аравии или Турции юные африканцы по большей части служили наложниками.

Не знаю, насколько вероятно, чтобы сына вельможи — правителя округа или провинции — прямыми или обходными путями продали в рабство; но есть ясные сведения (например, у Понсе), что в 1700 г. император Иисус смог приказать аристократам — т. е. своим родным, ведь вся знать была с ним в родстве, — послать детей к далекому европейскому двору, что кончилось для неудачливых абиссинских юнцов турецким пленом.

Понсе, французский аптекарь в Каире, которого пригласили в Абиссину лечить Иисуса I от конъюнктивита, выехал из Каира 10 июня 1698 г. и через Нил и Донголу 21 июля 1699 г. прибыл в Гондар. Император назначил молодого армянского купца (по имени «Мюрат» или, точнее, Мюрад бен Магделюн; сообщается, что он был племянником одного из императорских министров) послом во Францию: ему предстояло сопровождать Понсе в Париж с дарами для короля Людовика XIV, в число даров входили слоны, лошади и «jeunes enfans Ethiopiens»⁵⁰, отпрыски знатных семейств.

Возвращаясь в Каир (на этот раз Красным морем), Понсе выехал из Гондара в Массаву 2 мая 1700 г., планируя по дороге остановиться в столице Тигре — Дебарве, куда он и приехал в середине июля, и там поджидать Мюрада, все еще собиравшего животных и детей. Но ожидание затянулось: несколько коней и единственный слон — молодое, еще без бивней, животное — погибли при переходе через горы Сераве, и 8 сентября 1700 г., прождав Мюрада почти два месяца, Понсе выехал из Дебарвы к побережью. Девять дней спустя он достиг того самого острова Массавы, 28 сентября отплыл в Джидду и прибыл туда 5 декабря. Поскольку Мюрад все еще мешкал, очередным местом встречи был выбран Суэц на севере Красного моря, куда Понсе отправился 12 января 1701 г. В конце апреля

он приехал в монастырь на горе Синай, где месяц спустя его наконец-то нагнал Мюрад, принесший грустную новость: в Джидде «le Roy de la Mecque»⁵¹ (Великий Шериф Саад?) отнял у него высокородных эфиопских детей, собранных Мюрадом для французского короля, и вполне допустимо, что кто-то из них губернатор Мекки (или Джидды) переправил султану Оттоманской империи, Мустафе II, в качестве собственно скромного подарка. Теперь у Мюрада не осталось никого, кроме двух молодых спутников, купленных в пути, в Суакине: «который постарше эфиоп, который поменьше раб (негр? — В. Н.)». Караван Мюрада и Понсе прибыл в Каир в первых числах июня, и там Понсе представился французскому консулу Майе.

В Каире Понсе, которому уже не терпелось попасть во Францию, не поладил ни с Майе, усомнившимся в посольских полномочиях Мюрада, ни с турками, усомнившимися, та ли вера у двух юных рабов (приобретение Мюрада?), которых Понсе захватил с собой. Ле Гран сообщает: «Ага и таможенники <пришли> уведомить его (26 июня 1701 г.), что двое абиссинских слуг, будучи магометанами, подлежат выкупу <...> <Понсе> отвечал, что ежели эти дети магометанской веры», то он лучше подарит их турецкому губернатору Египта. Но вмешался глава местных иезуитов, «охваченный ревностью к спасению обоих детей», и больше Понсе не беспокоили⁵². Удалось ли ему выволить мальчиков из Каира, мы не знаем. Неясным остается и то, должны ли мы считать этого «jeune esclave Ethiopien»⁵³, которого Мюрад привез французскому консулу в Каире для отправки во Францию заодно с останками (ушами и хоботом) слоненка, одним из двух мальчиков или же рассматривать его отдельно, как третьего, а может быть, это выражение Понсе должно обозначать их обоих. Этот «petit esclave»⁵⁴, уже посаженный на нильскую баржу, которой предстояло отвезти его на корабль, закричал, что он мусульманин, что его увозят силой, что он не хочет ехать к христианам, чем вызвал переполох, вследствие которого турецкие чиновники сняли его с баржи и передали на попечение некоего Мустафы Киайа Каждугли, и после этого Понсе отплыл во Францию. Эпизод этот, кстати, забавно искажен в пересказе Брюса, который пишет, что Понсе, отправляясь во Францию, во время посадки в нильском порту Булаке «беспомощно наблюдал, как купленного им раба, бедного абиссинского парня, которого он вез Людовику XIV <...> янычары сняли с корабля <...> и у него на глазах превратили в мусульманина»⁵⁵, — из чего следует, если я верно понимаю мысль Брюса, что мальчик этот

был необрезанный язычник-негр, а не христианин-эфиоп, который был бы уже обрезан (на восьмой день после рождения).

Ганнибал в Турции

Описав смерть Лагани при отъезде брата из Абиссинии или из какого-то близлежащего морского порта, «Немецкая биография» продолжает:

«Недолгое время спустя после этого расставания навеки Ганнибал прибыл в Константинополь и был заключен в серале вместе с прочими юными заложниками для воспитания среди пажей султана; здесь он и провел год и несколько месяцев»⁵⁶.

Остановимся ненадолго, чтобы оценить хронологическую ситуацию. Мы сейчас увидим, что русскому посланнику юный арап мог достаться только между осенью 1702-го и летом 1705-го и что это вероятнее всего 1703 г. Отсчитывая назад, приходим к следующему выводу.

Путешествие из его родной внутренней Абиссинии (которую Ганнибалу, согласно «Немецкой биографии», пришлось покинуть в семилетнем возрасте) в Турцию должно было продлиться гораздо дольше, чем подразумевается в бессмысленной отговорке «nicht lange nach»⁵⁷, даже если его отправили кратчайшим в то время маршрутом — из провинции Тигре в северо-западную Турцию. Открывался он маршем к красноморскому порту, затем следовало трудное плавание по Красному морю до Суэца, потом еще один сухопутный переход к средиземноморскому порту и, наконец, долгое, чреватое опасностями и морской болезнью плавание в Стамбул. Учитывая трудности мореходства и обилие неизбежных задержек, приходится ответить на все путешествие по крайней мере год — а может, и больше, если взять в расчет, что Ганнибала могли послать в Турцию не морем, а караванным путем через Аравию и Сирию. Иными словами, если к 1703 г. он прожил в Константинополе около полутора лет⁵⁸, т. е. с конца 1701 г., то родину он покинул в 1700 г.

Тут нам надо выбрать одну из возможностей: (1) или мальчик попал на константинопольский невольничий рынок в ходе обычной работорговли, или (2) его, как утверждает «Немецкая биография», тайно переправили из султанского серала русскому послу с помощью великого визиря.

Принимая первое предположение, можно сказать только следующее: или агент русского посла подталкивал своего на-

емщика к большей щедрости, изображая молодого раба дворцовым узником благородного происхождения, или, что более вероятно, русский посол, приобретя мальчика самым обычным способом, состряпал экзотическую историю, чтобы удивить царя. Но раз уж за неимением лучшей гипотезы мы склоняемся к версии знатного происхождения Ганнибала, стоит взглянуть и на исторический фон, подкрепляющий содержание «Немецкой биографии», которая, сказав, сколько пробыл Ганнибал в Константинополе, дает следующее идиотское обоснование его освобождению:

«В это время в России царствовал император Петр Первый, который, насаждая искусство и науку в своем государстве, старался распространить их в благороднейшей части своих подданных — в дворянстве. Хотя ему удалось достичь в этом предприятии известных успехов, однако если иметь в виду громадную массу дворянства обширнейшей империи мира, то число проявляющих охоту к учению было слишком незначительно; это-то и вызвало в благородном государе болезненное огорчение и озабоченность. Он искал способ представить своему народу (<...>) примеры и образцы для подражания. Наконец ему пришло на ум написать в Константинополь тогдашнему своему посланнику, чтобы тот достал ему и переслал нескольких африканских арапат, отличающихся хорошими способностями. Его министр в точности выполнил это повеление: он познакомился с надзирателем *seraglio*⁵⁹, где воспитывались и обучались пажи султана⁶⁰, и наконец, тайным и отнюдь не безопасным способом, при посредстве тогдашнего великого визиря, получил трех мальчиков...»⁶¹.

Один из них был Ганнибал.

Петра Толстого историки рисуют как личность темную, хитрую и беззастенчивую. В 1717 г. царь послал его за царевичем Алексеем, наследником престола, который, воспользовавшись отъездом жестокого государя за границу, улизнул из России в Австрию и Италию и которого выследили и вернули царские агенты, совершив ряд бесшумных действий, отмеченных той гипнотической цепкостью, убедительностью и лживостью, которые мы сегодня привыкли связывать с повадками советских головорезов при насильственной репатриации беженцев. Человеку, сумевшему выманить Алексея из надежного Неаполя в ужасное отечество на пытки и смерть под личным наблюдением Петра, легче легкого было раздобыть несчастного арапчонка в забаву своему хозяину⁶².

Я считаю, что царский посол при Оттоманской порте приобрел Ганнибала для службы у царя и по его приказу не раньше

1703-го и не позже 1704 г., и мое мнение подкрепляет сам Ганнибал в следующих документах:

(1) В письме из Парижа советнику Макарову, отправленном 5 марта 1721 г. (вероятно, нового стиля)⁶³, Ганнибал говорит, что служит царю семнадцать лет.

(2) В посвящении императрице Екатерине I в 1726 г. (предпонося ей учебник фортификации, составленный по его конспектам времен Ла Фера или Меца⁶⁴) он говорит, что двадцать два года прожил «при доме» (в жилище, в свите, среди челяди) покойного царя (который умер в 1725 г.)⁶⁵.

Ганнибал и Рагузинский

«В это время, — продолжает «Немецкая биография», пользуясь излюбленным оборотом, — умер отец покойного генерал-аншефа Ганнибала, которого он оставил в пожилом и почти дряхлом возрасте, и очередь наследования досталась на долю одного из его единокровных братьев. (. . .) Российский императорский министр, счастливый выполнить волю своего государя, отправил этого Ибрагима Ганнибала, еще одного черного мальчика знатного происхождения, его соотечественника (который в пути скончался от оспы), и одного рагузинца, почти сверстников, все моложе десяти лет, в Москву⁶⁶. Государь, опечаленный потерей третьего, был доволен получением этих двух прибывших мальчиков и взял на себя заботу об их воспитании, с тем большим усердием, что, как было сказано, они должны были стать образцом, который бы он мог ставить своему народу в пример и в посрамление, как доказательство, что из каждого народа, и не меньше из негров, почти диких людей, которых наши цивилизованные нации определяют только в словесие рабов, могут быть выработаны люди, способные приложением получить знания в науках и тем приобрести способность быть полезными и нужными, во всех случаях пригодными слугами своего государя. Император Петр Великий, в качестве не менее великого знатока людей, установил сразу наклонности своих прибывших питомцев и предназначил своего Ганнибала, живого, расторопного и горячего мальчика, в военную службу, рагузинца же, впоследствии известного в России под именем графа Рагузинского, как более тихого и вдумчивого, — к гражданской службе»⁶⁷.

При Мустафе II и Ахмеди III турки взимали с Рагузы дань (например, в 1703 г. сумму в 4000 дукатов), так же как с арабских племен, но закон о взимании дани в виде христианских

мальчиков, хотя и сохранял номинально силу до 1750 г., не соблюдался с середины предшествующего века. Нет никаких оснований доверять тому, что Савву Владиславича завлекли в Константинополь его врожденные наклонности к приключениям или торговые дела отца, но тот факт, что в прежние времена среди заложников встречались рагузинские мальчики, мог так или иначе повлиять на рассказ о детстве Ганнибала.

25 сентября 1702 г., через месяц после приезда в Турцию, Петр Толстой писал графу Федору Головину, министру иностранных дел: «...константинопольский житель, породю рагузенин, Сава Владиславов, как вам известно, человек добрый, ныне по обнадеживанию моему поехал с товаром в Азов, а из Азова к Москве <...>. Он всеконечно в странах сих Московскому государству благопотребен»⁶⁸.

Осенью того же года Владиславич прибыл в Азов с изрядным грузом оливкового масла, хлопка и ситца и наконец (к первой неделе апреля 1703 г.) добрался до Москвы, где привезенные им тайные донесения очень расположили к нему Петра.

Захватив в обратный путь соболя, горностаю, русскую лису (с белым воротником и рыжую) и волка (московского и азовского), он вернулся в Константинополь в 1704 или в начале 1705 г., а летом 1705-го опять отправился в Азов и Москву, везя новый ситец, новые тайные депеши от Петра Толстого и живой подарок царю⁶⁹.

Ясно, что Ганнибала получили во время пребывания Владиславича в Константинополе, между двумя его поездками. Судя по письму царя брату константинопольского посла Ивану Толстому, коменданту Азова, Владиславич оказался в Москве с донесениями и, вероятно, с арапчиком не позднее 12 января 1706 г. (точную дату его приезда легко установить по неизданным документам из местных архивов). В 1716—1722 гг. Владиславич ездил с дипломатическими поручениями в Венецию и Рагузу, а в 1725—1728 был послом в Китае.

Первые годы Ганнибала в России

К приезду Ганнибала в Россию у Петра в самом разгаре была шведская кампания, с военными действиями в Польше, имевшими переменный и призрачный успех. В Москве он развлекался устройством анатомического и биологического музея, перед которым разбил ботанический сад. Несомненно, арапчик пришелся ко двору как очередная диковина. В июле—ав-

густе 1706 г. Петр посетил Киев и, снова отправившись на север, поспел в «Питербурх» (или в «Парадиз», как он ласково звал только что заложенный город) как раз к увлекательному зрелищу первого наводнения — 11 сентября 1706 г. Забавнее всего был вид людей, жмущихся на крышах полузатопленных домишек.

Петр снова приехал в Вильно (на обратном пути из Варшавы в Петербург) 24 сентября 1707 г. и пробыл там до 10 октября. Именно тогда и окрестили самое меньшее четырнадцатилетнего Ганнибала, получившего при крещении имя Петр⁷⁰. Более или менее одновременно (27 сентября 1707 г.) его царственный крестный намарал записку о наречении потомства Лениты или Ленты (от латинского «lenis» — «кроткий» или «lentus» — «упорный», «медлительный»), английского мастиффа: двумя годами ранее в Полоцком монастыре царь натравил эту собаку на Феофана, слишком прямого монаха-униата из ордена св. Василия, а потом сам разрубил его надвое саблей. Псевдоклассические клички семи щенков, безусловно переведенные царем из какого-то расхожего сборника имен, звучат в обратном переводе с неуклюжего русского языка Петра так: Пиррус (рыжий), Эос (заря), Аэтон (яркий), Флегетон (пылающий), Паллада, Нимфа и Венера. Итоговую фамилию Аннибал, доставшуюся арапу, тоже мог придумать просвещенный монарх, хотя есть и другие возможности⁷¹. Судьбу молодых мастиффов можно проследить по другой записке, писанной две недели спустя, в которой царь приказывает найти из его иностранных подручных какого-нибудь умельца для обучения собак всяким фокусам, например снимать шляпу, вскидывать игрушечный мушкет, маршировать в воду с боевой выкладкой.

В то время, по сообщениям западных наблюдателей, повторное или первое крещение и детей и взрослых при петровском дворе состояло в трехкратном обливании холодной водой с головы до пят. Если Ганнибал родился абиссинским князьком, его должны были крестить при рождении, так как Абиссиния приняла христианство за шесть веков до России; но вполне вероятно, что в плену турки сделали его мусульманином («побасурманили» — на тогдашнем русском), что бы под этим ни подразумевалось. Вопрос этот, однако, совершенно праздный, поскольку, во-первых, на взгляд русских любой африканец был язычником и, во-вторых, обряд, который свершился над малолетним арапом в Пятницкой церкви в конце сентября или начале октября 1707 г. (а не в 1705-м, как почему-то выбито на памятной доске)⁷² с восприемниками Петром I и Христиной-Эбергардиной, женой Августа II короля Польского⁷³, провозводился в буйной и фарсовой атмосфере царского двора, где

чмокались уроды на своих потешных свадьбах, а шуты возводились в губернаторы Баратарии. И, кажется, за несколько месяцев до крещения какие-то усердные придворные и впрямь попытались женить арапа: в письме из Польши от 13 мая 1707 г. царь пишет советнику Автоному Иванову, что он против брака арапа,—видимо, с дочерью негра в услужении какого-то вельможи, или с карлицей, или с домашней дурой, с шутихой. Для гена, участвовавшего в создании Пушкина, минута эта была критической, и царь заслуживает благодарности за управление путей судьбы.

Перейдем к анекдотам о юности Ганнибала.

Самый известный рассказан с идиотскими подробностями в «Немецкой биографии» и с индивидуальными отклонениями повторен Голиковым и Пушкиным. Суть его в том, что молодой Абрам, став пажом (или помощником пажа) у царя, спал в соседней комнате и доказал свою сообразительность, переписывая наброски указов, которые его господин царапал ночами на грифельной доске⁷⁴.

В документе от 20 декабря 1709 г. (приводится у М. Вегнера, с. 23) есть место: «По приказу <царя> деланы кафтаны: Якиму Карле и Абраму-арапу, к празднику Рождества Христова, с камзолы и штаны. Куплено сукна красного обоем по осьми аршин (<...> им же пуговиц медных»⁷⁵. Е. Шмурло (1892) туманно говорит о каких-то документах, где «три раза упоминается Абрам вместе с царским шутом Лакостой»⁷⁶. Это Иан Декоста или, точнее, Ян д'Акоста, любимый придворный шут Петра, крещеный еврей родом из Голландии*. В другом анекдоте говорится, что как-то летом приблизительно 1715 г., накануне отплытия царя из С.-Петербурга в Ревель, царский врач Лесток и камергер Жонсон, два весельчака, увидя, что царский дурак, Тюриков⁷⁷, заснул на палубе, сыграли с ним шутку в духе той эпохи: присмолили ему длинную бороду к голдой груди. Проснувшись, бедный шут взвыл, прервав занятия царя по прокладке курса и порке матросов, и тот, затопав по палубе, налетел на невинного Ганнибала и в ярости немилосердно отстегал его линьком⁷⁸. За обедом шалуны не могли удержаться от смеха при виде понурого мавра. Когда добрый царь, тоже любитель порезвиться, узнал причину веселья,

* Он был человек способный и потомок известного марранского рода (да Коста, или Мендец да Коста), бежавшего в XVII в. из Португалии и осевшего в Италии, Голландии, Англии и других странах. Ян д'Акоста, бывший в Гамбурге юристом, искал жизни попестрее и, найдя в русском консуле покровителя, последовал за ним в Москву. Царь, в восторге от его остроумия, сделал его графом и отдал ему бесплодный остров у финских берегов.

то расхохотался и сказал Абраму, что поможет делу, закрыв глаза на следующую его провинность.

Вот, пожалуй, и все, что я смог найти в изданных материалах относительно первых десяти лет Ганнибала в России. Можно отбросить как семейную выдумку пассаж «Немецкой биографии», где утверждается, что «правящий единокровный брат» Ганнибала поручил младшему брату отправиться в Константинополь и выкупить Абрама; что, не найдя его, брат этот поехал в Петербург, везя дары в виде «ценного оружия и арабских рукописей», удостоверявших княжеское происхождение Абрама; что последний не пожелал вернуться к язычеству и что брат пустился обратно «с большой скорбью с той и другой стороны». Едва ли есть нужда в напоминании, что ни один абиссинский вельможа не проехал бы в Московию через Турцию, не попав там в рабство, и что история ничего не сообщает о вольном абиссинце, предпринявшем подобное путешествие в начале XVIII в.

Похоже, царь действительно иногда брал арапа в путешествия или кампании, но едва ли во все походы, как считает семейная традиция. Стилизованный молодой арап в более или менее турецком облачении мелькает, как призрак, на аллегорическом фоне — держа боевого коня или гроздь винограда — на нескольких портретах Петра I. Он есть на гравюре, выполненной Адрианом Шхонебеком (скончался в 1705) с утраченной картины, написанной около 1704 г.⁷⁹; он стоит чуть сзади по правую руку царя, который тем временем щеголяет в костюме французского короля. Я не уверен, что в датировке вещи или смерти гравера нет ошибки. Но если принять эти даты за верные и арапа на картине за Ганнибала, то следует предположить, что или его привез Рагузинский в первую поездку в Москву (1703), или же он изображен, так сказать, заранее — на основании вестей, пришедших в Москву из Константинополя: арап среди челяди символизировал верх роскоши и пышности, и, должно быть, царь ждал подарка к новому, 1706, году от своего посла с не меньшим нетерпением, чем груза сирени и лилий.

Ганнибал в Западной Европе

В январе 1716 г. Петр I отправился в поездку по Европе. Проведя месяц или около того в Копенгагене, он поехал в Голландию, потом во Францию. Он высадился в Дюнкерке и 7 мая прибыл в Париж, где немедля потребовал пива и блуд-

ниц. Филипп, герцог Орлеанский, был регентом Франции (1715—1723) при несовершеннолетнем Людовике XV. Ничего, кроме вороха грязных историй, шестинедельное пребывание царя московитов в памяти французов не оставило — хотя не совсем ясно, что в привычках Петра так поразило знать времен Регентства — эту гнусную свору отвратительной и бездарной эпохи.

Той же весной 1717 г. во Францию приехали четверо юношей из России для изучения фортификации и саперного дела. Они, может быть, ехали вместе с царем, но скорее всего путешествовали отдельно и не останавливались в Дании. Эти четверо были: Абрам-арап, Степан Коровин, Гаврила Резанов и Алексей Юров, приятель нашего героя⁸⁰.

«Немецкая биография», с обычными своими преувеличениями, дурной грамматикой и неточностями, говорит, что Петр I послал Ганнибала прямо к регенту, попросив «взять на себя наблюдение за ним», и что сначала Ганнибал занимался при великом Белиоре (sic! — В. Н.)⁸¹ «в военной школе для молодых дворян». Имеется в виду, я полагаю, Бернар Форе де Белидор (1693—1761)⁸², блестящий молодой французский инженер, преподававший в Артиллерийской школе в Ла Фере⁸³ (в Эне, к северо-западу от Лаона) и написавший «Sommaire d'un cours d'architecture militaire, civile et hydraulique» (1720)⁸⁴ и другие замечательные труды.

Согласно «Немецкой биографии», во Франции Ганнибал вступил в артиллерийский полк и как капитан роты участвовал в войне с Испанией. Война была объявлена 9 января 1719 г., мир подписан 17 февраля 1720-го. При минировании — я думаю, где-нибудь в Каталонии — его серьезно ранили в голову и взяли в плен (странно, что в письмах из Франции он об этом событии не говорит)⁸⁵. По возвращении во Францию Абрам, очевидно, продолжил занятия уже в другом училище — в Артиллерийской школе в Меце, основанной знаменитым военным инженером Себастьяном Ле Претром, маркизом де Вобан (1633—1707)⁸⁶.

В январе 1722 г. русский посол князь В. Л. Долгоруков объявил четырем юношам, что они должны вернуться в Россию, но те задержались еще на год. Какую-то часть этого года Абрам с товарищами, видимо, провел в Париже — лихорадочном Париже, доведенном Джоном Лоу до финансовой агонии. Начало весны отметили баснословные балы и иллюминации в честь прибытия предполагаемой невесты короля, белокурой малютки инфанты четырех с половиной лет, которая, однако, двенадцатилетнему Людовику не понравилась. Регент энергично кутил и развратничал. Куртизанки носили шелковые чулки телесного

цвета. Ворам и разбойникам надевали железные колодки, грели ноги на обычном или усиленном огне и готовили горячие ванны из кипящего масла. Казнив преступников, употребляли финансовый термин «ликвидированный». Поэта Аруэ (известного под именем Вольтер) высекли лакеи офицера, которого он обозвал полицейским шпионом. Чудовищные суммы выигрывались и проигрывались в «фараон». Маркиз де Сальян счастливо бился об заклад, что проскачет верхом девяносто миль за шесть часов.

О том, какое существование вел Абрам среди всего этого ослепительного веселья, известно мало — известно лишь, что он жил в постоянной и позорной нужде. Во французских мемуарах о Регентстве я не нашел подтверждения словам Пушкина в романе, будто знатные дамы наперебой приглашали «царского арапа» («le nègre du Czar»), будто он был на дружеской ноге с Вольтером и будто драматург Мишель Гюйо де Мервиль⁸⁷ познакомил его с женщиной высшего света, графиней Ленорой Д., родившей ему черного ребенка. Письма Абрама, написанные по-русски из Франции разным чиновникам (с воплями о деньгах, с мольбами не посылать его домой по морю, уж лучше он пешком пойдет, чем плыть, с тщетными просьбами разрешить задержаться во Франции для дальнейших занятий и т. п.), по-моему, составлены не им, а его товарищем по превеличнейшему несчастью, Алексеем Юровым. После шести или семи лет за границей⁸⁸ Абрам, похоже, настолько забыл русский, что самодержец спровадил его по возвращении в грамматическую школу при Александро-Невском монастыре, куда его зачислили 14 марта 1723 г. (ст. ст.). К императорскому двору он, видимо, вернулся 27 ноября 1724 г. Комментаторов занимал вопрос, не имеется ли здесь в виду какой-нибудь другой «арап Абрам» (хотя ни о каком другом сведений нет), поскольку, по их мнению, это несомненно с собственноручным указом царя от 4 февраля 1724 г., которым Абрам производился в лейтенанты (поручики) бомбардирской роты Преображенского полка⁸⁹. Но ведь и вся эпоха была довольно безрассудной.

Ганнибал вывез из Франции библиотечку (69 названий) главным образом исторических трудов, военных учебников, путешествий и горсть модной экзотики; все эти томы он продал (в 1726 г.) за 200 рублей Императорской библиотеке, но выкупил их (или сходный набор) в 1742-м. Хотя перечень совершенно шаблонный, с литературным разделом из Боссюэ, Мальбранша, Фонтенеля, Корнеля и Расина, чувствуется отчетливый уклон к разного рода путешествиям: Шарден приглашает читателя в Персию, где обнаруживается, что молочная диета ле-

чит язы; Лаонтан навещает, в какой-то предшатобриановой Америке (1688), гнаскитаров и моземлеков, никем после него не виденных, и Сирано де Бержерак едет на Луну, где именем каждому жителю служит только коротенькая мелодия из нескольких нот.

Ганнибал и Аннибал

Официальным именем крестника Петра I стало Петр Петрович Петров (христианское имя, отчество и фамилия), но в Турции он привык к имени Ибрагим и получил разрешение называться по-русски соответственным именем Абрам или Авраам. В общем-то ему не стоило воротить нос от имени своего крестного: существовал же в конце концов Петр Эфиоп (Pasfa Sayon Malbazo), издавший ок. 1549 г. в Риме, после тринадцатилетних трудов, Новый Завет на языке абиссинской литургии (т. е. на гизском — это древнеэфиопский язык, уступивший место амхарскому).

Утверждение в начале «Немецкой биографии», что, дескать, отец Абрама, горделивый абиссинский князь, возводил родословную на два тысячелетия назад к Ганнибалу — знаменитому карфагенскому полководцу, — конечно же чужь: нельзя представить, чтобы абиссинец XVII в. хоть что-то знал о нем. Фамилия Ганнибал по отношению к Абраму встречается в официальных документах начиная с 1723 г., после возвращения из Франции⁹⁰. При более ранних упоминаниях его зовут Абрам-арап или Абрам Петров Арап, где посередине стоит отчество, превращающееся в фамилию. Странно, что русских исследователей ставит в тупик выбор имени, хотя его причины лежат на поверхности. Например, Анучин выдвигает нелепую гипотезу, будто Абрам или его семья могли считать имя «Ганнибал» производным от Ади Баро (деревня точно к северу от Дебарвы, северная Абиссиния)! Почему бы не от Лалибалы (абиссинского императора XIII в.), или от Гамальмала (губернатора провинции, взбунтовавшегося против своего царствующего кузена Малака Сагада I в конце 1500-х годов), или, еще лучше, от «gane bal», что на языке тигре значит «незнакомый господин»; в этих лингвистических *reits-jeux*⁹¹ запрещенных приемов нет.

Разумеется, на самом деле эпоним нашего героя был столь же стертым и заезженным в псевдоклассической Европе XVIII в., как Цезарь или Цицерон — в учебниках, эссе, исторических трудах, газетных статьях и академических речах. В России царя Петра никакая просвещенность не считалась

полной, пока имена греческих и римских героев не вспыхивали в фейерверке античных речений. Пушкин совершенно верно галлицизировал взятую фамилию, которую Ганнибал скорее всего вывез в 1723 г. из Франции. Там и в Италии она нередко встречалась в виде имени (например, Франсуа Аннибал, герцог д'Эстре, скончался в 1687 г.). Он, очевидно, набрел на нее по ходу военных штудий. О «величии Аннибала» он читал у Боссюэ в «Discours sur l'histoire universelle»⁹². Если Ганнибал действительно участвовал в Испанской войне, то должен был стоять в 1719-м в крепости Бельгард (перестроенной Вобаном в 1679 г.) и там, у испанской границы, близ деревни Ле Пертюс (Восточные Пиренеи), ступать по Слоновьиим Следам Ганнибаловой дороги, до сих пор различимой сквозь земляничные деревья и дубняк. А еще хочется знать, не был ли в Меце его однокашником некий Пьер Робер по прозвищу Аннибал (1699—1783), живший там, судя по приходским книгам, изданным Пуарье⁹³, ок. 1720 г.

Последние годы Ганнибала в России

«Le capitaine Petrov dit Annibal»⁹⁴, приобрета во Франции кое-какие сведения о бастионах и контрфорсах, с 1723 г. жил в России, уча математике и строительству крепостей. Специальным исследованием последнего этапа его жизни я не занимался — в главных чертах он достаточно хорошо изучен, и, как установили русские ученые, сибирский период Пушкин изобразил неверно. 8 мая 1727 г., как только кончилось царствование Екатерины I, ему поручили инспекцию казанской крепости, а затем строительство форта в Селенгинске, на китайской границе, где, кстати, поручик Ганнибал встретил бывшего своего покровителя, графа Владислави́ча-Рагузинского, на обратном пути из Китая. Из-за туманных обвинений в политических интригах Ганнибалу пришлось проработать в Селенгинске и Тобольске два года, и только в начале правления Анны губернатор С.-Петербурга Миних, нуждаясь в хороших военных инженерах, перевел его в крепость на Балтике. В 1731 г. Ганнибал женился на Евдокии (Eudoxia) Диопер, дочери капитана флота, Андрея Диопера, видимо, греческого происхождения⁹⁵. Она ему была неверна, он отвечал тем же. Из документов, описанных Степаном Оpatовичем («Русская старина», 1877), видно, что в 1732 г. Ганнибал соорудил у себя дома частную камеру пыток с дыбой, тиска́ми, бичами и т. п. Настойчивый и педантичный, он добился для своей жертвы тюремного заключе-

ния за супружескую измену. Пять лет она провела в тюрьме, а затем — пока тянулось бракоразводное разбирательство — жила более или менее на свободе до 1753 г., когда был решен окончательный развод, после чего бедняжку сослали в глухой монастырь, где она умерла. Тем временем в 1736 г. Ганнибал женился (незаконно) на своей любовнице с четырехлетним стажем, дочери еще одного капитана, на этот раз армейского, по имени Маттиас Шеберг, лютеранина из шведско-немецкого рода. От второй жены (которую, согласно «Немецкой биографии», звали Христина Регина) у Ганнибала было 11 детей, из них третий сын, Осип, стал дедом Пушкина с материнской стороны.

Несколько лет Ганнибал прожил как помещик на купленной земле, потом снова строил крепости. В 1742 г. Елизавета, младшая дочь Петра I, произвела его в генерал-майоры и через четыре года пожаловала поместье Михайловское в Псковской губернии⁹⁶, которому суждено навеки соединиться с именем Пушкина. За эти годы Ганнибал выказал себя знатоком в устройстве фейерверков на официальных торжествах и в составлении доносов на разных чиновников. В 1762 г., построив последнюю крепость и запустив последнюю шутиху, он ушел на покой и забытым стариком жил еще двадцать лет в еще одном поместье (Суйда, под Петербургом), где и умер в 1781 г. в преклонном возрасте — (вероятно) восьмидесяти восьми лет⁹⁷.

Заключение

Кроме незаконченного романа «Арап Петра Великого» (1827) (в котором пленительному Ибрагиму приписаны выдуманные приключения во Франции и в России, — это не самые удачные пушкинские страницы), среди сочинений Пушкина есть замечательная стихотворная вещь с тем же персонажем. В пяти строфах постскриптума к написанному четырехстопным ямбом стихотворению «Моя родословная» (посвященному предкам по отцовской линии) о своем предке по матери Пушкин говорит следующее:

Решил Фиглярин, сидя дома,
Что черный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкиперу попал.

Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двинулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля.

Сей шкипер деду был доступен,
И сходно купленный арап
Возрос, усерден, неподкупен,
Царю наперсник, а не раб.

«Фиглярин» (от «фигляр» — гаер, грубый шут) — это обыгрывание имени презренного литератора Фаддея (Тадеуша, Тедди) Булгарина. Шутку эту придумал друг Пушкина, второстепенный поэт Вяземский, и впервые использовал другой поэт, Баратынский, в эпиграмме, напечатанной в 1827 г. Пушкинское стихотворение написано в 1830 г. в ответ на злобный выпад Булгарина в его газете «Северная пчела»: «Лордство Байрона и аристократические его выходки, при образе мыслей Бог весть каком, свели с ума множество поэтов и стихотворцев в разных странах, и что все они заговорили о шестисотлетнем дворянстве! <...> Рассказывают анекдот, что какой-то поэт в Испанской Америке, также подражатель Байрона, происходя от мулата или, не помню, от мулатки, стал доказывать, что один из предков его был негритянский принц. В ратуше города доискались, что в старину был процесс между шкипером и его помощником за этого негра, которого каждый из них хотел присвоить, и что шкипер доказывал, что он купил негра за бутылку рому!»⁹⁸

Было бы пустой тратой времени гадать, не родился ли Абрам вообще не в Абиссинии; не поймали ли его работорговцы совершенно в другом месте — например, в Лагоне (в области Экваториальной Африки, южнее озера Чад, населенной неграми-мусульманами); или не был ли он, как пишет Гельбиг (1809)⁹⁹, бездомным юным мавром, которого Петр I купил в Голландии для службы корабельным юнгой (источник Булгарина). Можно бы призадуматься и над загадочным вопросом, отчего Ганнибал, с его пристрастием к политике, и Пушкин, с его пристрастием к экзотике, ни разу не упоминают Абиссинию (Пушкин, разумеется, знал, что ее называет «Немецкая биография», русский перевод которой ему диктовали). Бремя доказательства ложится на неверящих в абиссинскую теорию; тем же, кто ее принимает, приходится выбирать между верой в то, что Пушкин был праправнуком одного из диких и вольных негритянских кочевников, блуждавших по окрестностям Мареба, или в то, что он потомок Соломона и царицы Савской, к которым абиссинские цари возводили свою династию.

По словам Н. Барсукова (1891), узнавшего это от вдовы Льва, брата нашего поэта, Елизаветы Пушкиной, у Надежды Ганнибал, матери Пушкина, ладони рук были смуглыми¹⁰⁰; а согласно другому источнику, который цитирует В. Виногра-

дов (1930)¹⁰¹, все дочери Исаака Ганнибала, двоюродного деда Пушкина и сына Абрама, говорили с особой певучестью — с африканским акцентом, тонко подмечает современник, сообщая, что они ворковали, словно египетские голуби¹⁰².

Достоверного портрета Абрама Ганнибала нет. На портрете маслом конца XVIII в., по мнению некоторых, его изображающем, есть награды, которых он не получал, и в любом случае картина безнадежно подделана бездарным живописцем¹⁰³. Точно так же и по портретам его потомков нельзя сделать вывода о том, какая кровь преобладала в Абраме, негритянская или кавказская. В Пушкине славянские и германские примеси должны бы были совершенно затушевать четкие расовые черты его предков, однако некоторые портреты Пушкина работы хороших художников и его посмертная маска имеют заметное сходство с современными фотографиями типичных абиссинцев, чего как раз и ждешь от потомка негра и представительницы кавказской расы. Напомню, что понятие «абиссинец» включает в себя сложный сплав хамитской и семитской рас и что, более того, отчетливые негроидные типы смешиваются с кавказскими на северном плато и среди правящих родов почти в той же мере, что и в среде кочевых язычников в низинных зарослях. Например, племена Галла (Оромота), в XVI в. наводнившие страну одновременно с турецким вторжением, — это хамиты с яркими негритянскими чертами. Абрам мог выглядеть так, как племена тигре и хамазен в описании Бента: «кожа (<...> насыщенного шоколадного цвета, волосы курчавые, нос прямой с тенденцией к орлиному, губы довольно толстые»¹⁰⁴, или, формально оставаясь абиссинцем, он мог иметь внешность, которую Пушкин, в этих вопросах сторонник шаблона, в романе дал Ибрагиму: «черная кожа, сплюснутый нос, вздутые губы, шершавая шерсть»¹⁰⁵. Таксономическая проблема остается и, видимо, останется нерешенной, невзирая на «антропологические очерки» анучинского толка. И хотя Абрам Ганнибал обыкновенно звал себя «бедным негром», а Пушкин считал его негром с «африканскими страстями» и независимым, блестящим человеком, в действительности Петр Петрович Петров, он же Абрам Ганнибал, был человек угрюмый, раболепный, взбалмошный, робкий, тщеславный и жестокий; военным инженером он, может, и был хорошим, но в человеческом смысле был полным ничтожеством, ничем не отличавшимся от типичных русских карьеристов своего времени, поверхностно образованных, грубых, колотивших своих жен, живших в скотском и скучном мире политических интриг, фаворитизма, немецкой муштры, традиционной русской нищеты и грудастых императриц на бесславном престоле.

Сейчас мы вернемся к одному месту в примечании Пушкина к «Евгению Онегину». Там читаем: «До глубокой старости Аннибал помнил еще Африку, роскошную жизнь отца, 19 братьев, из коих он был меньшой; помнил, как их водили к отцу, с руками, связанными за спину, между тем как он один был свободен и плавал под фонтанами отеческого дома...».

Скажи Пушкин прямо, что отеческий дом находился в Абиссинии, мы имели бы право утверждать, что он из современной ему литературы заимствовал эту поразительно характерную деталь: с сыновьями эфиопского правителя обращаются как с пленниками, потенциальными отцеубийцами, возможными узурпаторами. Изгнание молодых царевичей на унылые холмы провинции Тигре по воле королей и вице-королей как предосторожность от преждевременного наследования престола поразила романтическое воображение Западной Европы XVIII в. И, самое любопытное, абиссинский хронист Za-Ouald¹⁰⁶ (французская транскрипция) сообщает, что на двадцать втором году своего правления (т. е. в 1702, 1703 или 1704 г.) Иисус I заковал своих сыновей в цепи — и спустя два года был убит единственным сыном, оставшимся на свободе, Теклой. Не думаю, что Пушкин нарочно ввел эту колоритную подробность, чтобы сделать убедительнее выбор страны (он ее не называет) или намекнуть на характерный эпизод (о нем он не мог знать). Кажется более правдоподобным, что правитель «L» послушно подражал своему «султану» в этом колоритном обычае. Одним словом, приходится признать, что эта подробность и имя сестры Лагань — единственные детали с неподдельным абиссинским ароматом¹⁰⁷.

Менее убедительна другая деталь — о плавании «под фонтанами», если только не считать, что имеются в виду пороги, водопады и т. п., а не брызжущие водометы африканского Версаля, отеческого дома Абрама. О доме этом мы знаем даже меньше, чем о некоем селении Снитерфилд под Стратфордом¹⁰⁸. Приходят на ум источники водянистого «Расселаса» Джонсона (о котором и Солт вспоминал в Абиссинии) или «сотни тысяч фонтанов» («cent milles jets d'eau») в мраморном дворце царя Бела на Евфрате из неудобочитаемой повести Вольтера «Приключения вавилонской царевны, служащие продолжением приключений Скарментадо, рассказанные старым философом, не болтающим зря» (Женева, 1768)¹⁰⁹.

Если приятно думать, что современник доктора Джонсона, прадед Пушкина, родился практически в долине «Расселаса», у подножия совмещенного памятника эфиопской истории и французской нравоучительной литературы XVIII в., то позволительно вообразить и француза времен Людовика XIV¹¹⁰, пи-

рующего со смуглым прапрадедом Пушкина на земле пресвитера Иоанна.¹¹¹ Разрешите завершить беглые заметки о Ганнибале поэтической выдержкой из анонимного английского перевода (1709) путешествий Шарля Понсе, посетившего Дебарву летом 1700 г.: «После торжественного богослужения в память императорского сына*, только что умершего, оба пратителя сели в большой зале, а меня усадили посередине. Затем военные и родовитые люди, мужчины, равно как и женщины, выстроились вокруг залы. Женщины с тамбурами¹¹² <...> запели <...> голосами столь скорбными, что я не мог сопротивляться охватившей меня печали»¹¹³. Тут в маргинальной области воображения возникают всякие приятные возможности. Вспоминается абиссинская дева Кольриджа («Кубла Хан», 1797), певшая о «горé Аборы»¹¹⁴, которая (если ее название не просто отзвук музыкального инструмента)¹¹⁵ является, видимо, или горой Табор — естественной твердыней около 3000 футов высотой в округе Сире провинции Тигре, или, скорее, неизвестно где расположенной твердыней Абора, название которой я нашел у хрониста Za-Ouald (в переводе Бассе)¹¹⁶, говорящего, что там в 1707 г. был похоронен некий вельможа по имени Джорджис (один из правителей, названных Понсе?). Можно представить и то, что скорбная певица Кольриджа и Понсе — это не кто иная, как прапрабабушка Пушкина, что ее повелитель, один из принявших Понсе, — это прапрадед Пушкина, что его отец был Целла Христос, Расселас Джонсона¹¹⁷. В аналах русской пушкинистики нет ничего, что удержало бы от подобных мечтаний.

Примечания

¹ Над процитированной строфой L главы первой «Евгения Онегина» Набоков поставил имя «Абрам Ганнибал». Очевидно, Набоков хотел представить этот текст как монолог прадеда поэта, чему основание дают слова «Африки моей» — родины Ганнибала, но не Пушкина.

² Набоков приводит далее текст 11-го пушкинского примечания к строфе L главы первой «Евгения Онегина», составленный в сентябре — октябре 1824 г. и помещенный в двух отдельных изданиях этой главы 1825 и 1829 гг.

В издании «Евгения Онегина» 1833 г. приводится только первая фраза этого примечания: «Автор, со стороны матери, происхождения африканского», а издание 1837 г. просто отсылает читателя к первой публикации главы: «См. первое издание „Евгения Онегина“».

³ «Немецкую биографию» А. П. Ганнибала (вернее, копию с нее) см.: Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. (немецкий текст — с. 43—49; русский его перевод — с. 50—56. В дальнейшем:

* Василидаса, наследника престола.

при цитировании этого перевода, выполненного Т. Г. Зенгер-Цявловской, в него вносятся некоторые коррективы).

⁴ В своем переводе к пушкинскому указанию о смерти А. П. Ганнибала «на 92 году от рождения» Набоков, сомневавшийся в правильности расчета поэтом возраста своего прадеда, добавляет несомненную дату его смерти: «в 1781 году». Указание Пушкина расходитсся с известным ему источником, т. е. «Немецкой биографией», где утверждается, что А. П. Ганнибал умер на 93-м году. Обе версии ошибочны (см. примеч. 8).

⁵ Расположение двух последних абзацев соответствует отдельному изданию главы первой «Евгения Онегина» 1829 г. В издании 1825 г. эти абзацы шли в обратном порядке. Заключительную фразу второго издания (которая в 1825 г. была помещена в сноске): «Мы со временем надеемся издать полную его биографию» — Набоков опускает вовсе.

⁶ Григорий Александрович, по прозвищу Пушка, принадлежит седьмому колену от основателя рода Ратши. Константин Григорьевич — пятый и последний его сын. За ним следуют прямые предки поэта: Гаврила, Иван, Михаил, Семен, Тимофей, Петр, Петр, Петр (1644—1692, шестнадцатое колено от Ратши); последний был погребен в соборе Вознесения в Москве (где позже венчался А. С. Пушкин). Два его сына станут дедом и прадедом родителей поэта. Это Александр Петрович (родился после 1686 и умер между 1725 и 1728), дед Сергея Львовича, и Федор Петрович (умер в 1727 или 1728), прадед Надежды Осиповны.

⁷ На самом деле Сергей Львович родился в 1767 г., но убавлял себе годы (см.: *Романюк С. К.* К биографии родных Пушкина//*Временник Пушкинской комиссии.* Л., 1989. Вып. 23. С. 6).

⁸ Предположение о рождении Ганнибала в 1693 г. опровергается следующими данными. В «Немецкой биографии» говорится, что мальчика привезли в Константинополь «на восьмом году» (Рукою Пушкина. С. 43); то же напишет Пушкин о прадеде в примечаниях к «Евгению Онегину»: «на 8 году своего возраста» (VI, 654). Через год и несколько месяцев, в июле, его отправили в Москву (Рукою Пушкина. С. 44), куда он прибыл 13 ноября 1704 г. в возрасте около восьми с половиной лет (см. примеч. 58).

В 1726 г., посвящая Екатерине I двухтомный рукописный учебник (*Geometrie practique.* Т. 1; *Fortification.* Т. 2), Ганнибал писал, что «имел честь служить с самого <...> младенчества, а именно лет с семи или осьми...» (опубл.: *Телегова Н. К.* Забытые родственные связи А. С. Пушкина. Л., 1981. С. 141—144). Тогда Ганнибал колебался — семи или восьми лет он был привезен в Россию, однако позже остановился на втором варианте и полагал, что начал служить Петру I на девятом году жизни. Днем своего рождения Ганнибал считал 13 июля — день, когда он был крещен: именно 13 июля, спустя многие годы, в 1776 г., весьма торжественно, в присутствии гостей-свидетелей составил Ганнибал свою духовную. Это явно не случайная дата — он праздновал восьмидесятилетие. Таким образом, можно считать, что в 1705 г., когда его крестили в Вильне, Ганнибалу было 9 лет. Эти 9 лет на момент крещения и использует Пушкин при расчете возраста прадеда (см. примеч. 22).

Скончался же Ганнибал 14 мая 1781 г., прожив неполных 85 лет. Датой его рождения следует считать 1696 г. (по дню крещения — 13 июля).

⁹ По всей видимости, Х.-Р. фон Шеберг (Sjöberg) была моложе. В 1750 г. ее духовник, пастор лютеранской церкви при кадетском корпусе Хилариус Харгман Хеннинг (или, на русский лад, Гилариус Гартман Геннинг) в письме своему знакомому характеризует «госпожу генеральшу» как «весьма милую даму доброй души», которая «находится сейчас в своем расцвете» (Из коллекций редких книг и рукописей библиотеки Московского университета. М., 1981. С. 77). Едва ли сорокачетырехлетнюю многодетную даму можно было характеризовать как особу цветущих лет.

¹⁰ Ко времени выхода в отставку — генерал-фельдцейхмейстер (или генерал-лейтенант). Родился 13 февраля 1735 г., как указывается в подлиннике «Немецкой биографии»; в копии сведения об Иване и Петре Ганнибалах, расположенные на двух последних страницах подлинника, отсутствуют.

Поскольку Иван появился на свет за год до венчания отца и матери, датой его рождения называли либо 1736 (или 1737) г. (см.: Русский биографический словарь. СПб., 1914. Т. «Гааг-Гербель». С. 217—218), либо 1731 г., относя время его рождения к периоду первого брака Абрама Петровича. Последняя дата, высеченная на его надгробии в Лазаревской церкви Александро-Невской лавры, присутствует в разных источниках, например: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 6 т. М.; Л., 1931. Т. VI (Путеводитель по Пушкину). С. 295.

¹¹ Петр Ганнибал умер 8 июня 1826 г. Эту дату обнаружила хранитель музея в Тригорском Г. Ф. Симакина в Государственном архиве Псковской области (ф. 39, оп. 1, № 2702, св. 708; ф. 39, оп. 1, № 4333, св. 127). См. принадлежащую ей публикацию: Пушкинский край. 1976. 20 авг.

Уходя в отставку, П. А. Ганнибал получил чин генерал-майора. Собственноручное об этом свидетельство Ганнибала см.: Российский государственный исторический архив, ф. 1343, оп. 19, № 617 («О дворянстве Ганнибалов Псковской губернии, 1842—1843 гг.»).

¹² Осип (Иосиф) вышел в отставку в чине «флота капитана второго ранга», равном подполковнику (см.: Список дворянству Псковского наместничества, бывшему при его первом собрании в Пскове (<...> в декабре месяце 1777 г. Псков, 1846. С. 5). Его женитьба на Марии Пушкиной состоялась в 1772 г. (см. хранящуюся в Институте русской литературы РАН рукопись Б. Л. Модзалевского «Родословная Пушкиных»: ф. 244, оп. 21, № 56, М. А. Пушкина (№ 0/282)).

¹³ «Прошение» — без начала и конца — впервые было опубликовано А. П. Барсуковым (Русский Архив. 1891. Т. 2. С. 101—102) с комментарием П. И. Бартенева (ныне хранится: Российский Государственный исторический архив, кн. 39 решенных дел Герольдмейстерской канторы 1781 г., д. 5, л. 39—40). Копия «Прошения», выполненная в 1837 г., уже после смерти Пушкина (опubl.: Рукою Пушкина. С. 864—865), хранилась в 1935 г., по утверждению публикатора Н. Г. Зенгера, в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина (тетрадь № 2395, л. 412—415). Ныне в Институте русской литературы РАН хранится другая, первая по времени возникновения, копия «Прошения», известная Пушкину (ПД, оп. 3, № 161). Ее Н. Г. Зенгер относит к той же тетради № 2395 (л. 506—509). Эта копия, не имеющая первых строк обращения к императрице Елизавете Петровне, опubl.: *Телетова Н. К.* Забытые родственные связи А. С. Пушкина. С. 170—171.

¹⁴ Речь идет о копии «Немецкой биографии», выполненной для Пушкина. Она имеет жандармскую нумерацию — л. 40—45, которую и указывает Набоков. Этот документ хранился у сына поэта, А. А. Пушкина, передавшего его в 1880 г. (наряду с другими материалами личного архива отца) в Румянцевский музей Москвы, где рукопись получила № 2387А. С июля 1948 г. хранится в Институте русской литературы РАН (ПД, оп. 3, № 163). Имеет небольшие искажения, допущенные копистом. Известен и хранящийся там же подлинник «Немецкой биографии» (ПД, оп. 24, № 19), присланный в 1899 г. ее владельцем Владимиром Константиновичем Лелонгом академику и неперемому секретарю Комиссии по устройству чествования Пушкина Н. Ф. Дубровину. От последнего рукопись «Немецкой биографии» перешла в ведение Б. Л. Модзалевского и вошла в основной фонд собрания Института русской литературы — с самого его основания.

¹⁵ Биография составлялась не ранее 1786 г., указанного на филиграни бумаги.

¹⁶ Автором «Немецкой биографии» был Адам Карпович (Адольф Рейнхольд) Роткирх (1746—1797) — муж Софии Абрамовны, урожденной Ганнибал, зять А. П. Ганнибала, уже умершего ко времени составления его биографии. А. К. Роткирх, уроженец эстляндской Нарвы, при Павле I был судьей города Софии (близ Царского Села). Авторство Роткирха указано его внуком Владимиром Ивановичем Роткирхом на титульном листе подлинника «Немецкой биографии».

¹⁷ Речь идет о «Сокращенном переводе Немецкой биографии» Ганнибала (ПД, оп. 1, № 1195); он занимает пять исписанных листов (десять страниц) с жандармской нумерацией, которую и указывает Набоков, сделанной в разбивку: 28, 57, 29, 56, 58; архивная нумерация листов: 1 (чистый), 2, 3, 4, 5, 6. Опубл. под названием «Биография Ганнибала»: XII, 434—437.

¹⁸ Жизнеописание, краткие сведения о чьей-то жизни (*лат.*).

¹⁹ По всей вероятности, Пушкин в 1825 г. достал как «Воспоминания» П. А. Ганнибала, так и копию «Немецкой биографии», сделанную с неизвестного ныне экземпляра ее, который принадлежал Петру Абрамовичу. Филигранные на бумаге копии («Rall DH» в правой части листа) позволяют датировать эту бумагу 1824 г. (см.: *Клепиков С. А.* Филигранные и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII—XX вехов. М., 1959. С. 92. № 1339). Таким образом, можно утверждать, что копия «Немецкой биографии» изготовлялась не ранее 1824 г., а скорее всего в 1825 г., на который указывает письмо Пушкина Осиповой от 11 августа 1825 г. Несомненно и то, что неразборчивый почерк документа вынудил Пушкина искать помощи хотя бы для частичного перевода биографии прадеда, который и был им записан под диктовку скорее всего самого Петра Абрамовича, прекрасно владевшего немецким языком, на бумаге с филигранью в правой стороне листа: «AF Rall», не имеющей, к сожалению, точной атрибуции; указывается лишь, что это 1820-е годы (см.: *Клепиков С. А.* Филигранные и штемпели. С. 76, № 891).

²⁰ Это так называемые «Воспоминания» П. А. Ганнибала (ПД, оп. 3, № 162), ко времени написания которых он, однако, уже переселился из Петровского в другое свое имение — Сафонтьево, верстах в шестидесяти от Михайловского (см. об этом публикацию Г. Ф. Симакиной, указанную в примеч. 11). А. Г. Гордин на основе документов (Государственный архив Псковской области, ф. 39, оп. 1, л. 500, л. 78 об. и др.) доказывает, что переселение произошло в 1819 г. (см.: *Гордин А. М.* Пушкин в Михайловском. Л., 1989. С. 46 и 409). «Воспоминания» составлялись — видимо, по просьбе Пушкина — в самые последние годы жизни Ганнибала. Характер изложения материала явно свидетельствует об угасании умственных способностей автора. Полный текст «Воспоминаний» опубл.: *Телетова Н. К.* Забытые родственные связи А. С. Пушкина. С. 171—173).

²¹ Лист 28 жандармской нумерации соответствует второму листу архивной; соответственно далее: 57-й — третьему листу, 29-й — четвертому, 56-й — пятому, 58-й — шестому (см. примеч. 17). Однако Набоков, не беря в расчет чистый первый лист, передвигает нумерацию. Сохраняем его обозначения: 28-й — первый, 57-й — второй, 29-й — третий, 56-й — четвертый, 58-й — пятый.

²² Расшифровка Набоковым подсчетов на полях «Сокращенного перевода Немецкой биографии» нуждается в коррекции. Пушкин производит их, действительно, чтобы разобраться в путанице роткирховых дат. Послед-

1699

9

ний расчет на л. 4: $\frac{9}{08}$ — перечеркнут. Поскольку Роткирх утверждает, что

Абрам Петрович умер на 93-м году в 1781 г., то датой его рождения как будто следует считать 1689 г. Это никак не согласуется с тремя опорными возрастными данными биографии прадеда, Пушкину известными. Первая из них названа им в примечаниях к «Евгению Онегину»: «18 лет от роду Ан-

нибал послан был царем во Францию». Но Абрам Петрович начал свое обучение во Франции летом 1717 г., и если 18-ти лет оказался в Париже, то получалось, что он родился не в 1689, а в 1699 г., как значится в подсчете. 9 лет — вторая возрастная опора: ровно девяти лет Абрам был крещен в Вильне. И Пушкин добавляет эту девятку к числу 1699, получая «08», т. е. 1708 г. — дату крещения, расходящуюся с той, что указана в «Немецкой биографии»: «Приблизительно в 1707 году был он в Польше окрещен». Рядом с подсчетом на л. 4 зачеркнутая запись: «26 лет 25». Исходя из того что Абрам родился предположительно в 1699 г., в год смерти Петра («<17>25») ему должно было быть 26 лет. Но это противоречит известному факту: Абраму было 28, когда умер Петр. Поэтому Пушкин перечеркнул и эти цифры.

Примечательно, что в романе об арапе Ибрагиме Пушкин указывает его возраст в пору влюбленности в графиню — 27 лет. Этот эпизод относится предположительно ко времени около 1721 или 1722 г. (за год до возврата в Россию, на 4—5-м году обучения). Вместе с тем в 1824 г. Пушкин в примечании к «Евгению Онегину» писал о том, что в 1717 г. прадеду его было 18 лет. Выпутаться из сведений «Немецкой биографии» Роткирха он не мог.

Рассмотрим еще одну табличку пушкинских расчетов на полях л. 1 «Сокращенного перевода»: 1725.

$$\begin{array}{r} 28 \\ 1697 \\ \hline 9 \\ 1708 \end{array}$$

Три цифры в ней ясны: 9 — возраст, в котором Абрам был крещен: 1708 — предполагаемая дата крещения, фигурирующая в подсчете на л. 4 (1708 — отнюдь не сумма двух предыдущих цифр), и, наконец, 1725 — год смерти Петра I. Выясняется, что Пушкин знал возраст прадеда к моменту смерти Петра — 28 лет. Это третья возрастная веха в биографии прадеда. Но он ошибся на полгода: Абраму было 28 с половиной лет, когда не стало Петра I, и родился он в 1696, а не в 1697 г., как получалось у Пушкина. Но почему он не суммировал 1697 и 9? Потому что цифра 1706 его так же мало устраивала, как 1708, хотя он и перенес цифру 1708 из последнего подсчета в итог первого. Дело в том, что из отлично известного ему труда И. И. Голикова «Деяния Петра Великого...» он знал, что Август II (и его супруга, якобы крестная мать Абрама) ни в 1708, ни в 1706 г. не имели встреч с Петром I, стало быть, ни та, ни другая даты не годились как дата крещения его прадеда. Откуда он знал три вехи в жизни Ганнибала — неизвестно, но две из них совершенно верны: это 9-летний возраст Абрама в момент крещения и 28-летний — в год смерти Петра I.

Таким образом, можно утверждать, что Ганнибал родился 13 июля 1696 г. (по его подсчетам); крещен был 13 июля 1705 г. — девяти лет; в 1717 г. 9 июня, почти двадцати одного года, оставлен для обучения в Париже; двадцати восьми с половиной лет потерял своего крестного отца и покровителя — в январе 1725 г.

²³ «Авраам Петрович Ганнибал был (...) по рождению африканский арап из Абиссинии» (нем.). Рукою Пушкина. С. 50.

²⁴ Вульф А. Н. Дневники: (Любвнный быт пушкинской эпохи). М., 1929. С. 136.

²⁵ Текст приводится по упомянутому выше «Воспоминаниям» П. А. Ганнибала.

²⁶ Рукою Пушкина. С. 50.

²⁷ Анучин Д. Н. А. С. Пушкин: (Антропологический эскиз). М., 1899.

²⁸ См.: *Abbadie A. d', Paulitische P.* Des Conquêtes faites en Abyssinie en XVI siècle par l'Imam Muhammad Ahmad dit Gragne; version française de la chronique arabe Futûh el-Hâbâcha. Paris, 1898.

²⁹ См.: *Salt H.* 1) «Mr. Salt's Narrative». In Valentia, George, Viscount: *Voyages and Travels to India, Ceylon, the Red Sea, Abyssinia and Egypt.* London, 1811; Vol. 1—4; 2) *A Voyage to Abyssinia and Travels into the Interior of That Country, Executed under the Order of the British Government in the Years 1809 and 1810.* London, 1814. Другое издание последней из названных книг (Philadelphia, 1816) содержит карту Абиссинии.

³⁰ См.: *Poncet Ch.* Relation abrégée du voyage que M. Charles Poncet fit en Ethiopie en 1698, 1699 et 1700//Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions étrangères, par quelques missionnaires de la C^{ie} de Jésus. Paris, 1713. Vol. 4. P. 251—443.

³¹ См.: *Kammerer A.* La mer Rouge, l'Abyssinie et l'Arabie depuis l'antiquité. Cairo, 1952. Vol. 3.

³² См.: *Lefebvre T., Petit A., Martin-Dillon R., Vignaud.* Voyage en Abyssinie exécuté pendant les années 1839, 1840, 1841, 1842, 1843. Paris, 1845—1851. Vol. 1—6.

³³ См.: *Bent J.-T.* The Sacred City of the Ethiopians, Being a Record of Travel and Research in Abyssinia in 1893. London, 1893. Maps.

³⁴ См.: *Salt H.* A Voyage to Abyssinia... P. 248. «Рас», как ниже объясняет Набоков, на гизском языке означает «глава».

³⁵ «Абиссинский князь»: «История Расселаса, князя абиссинского» (англ.).

³⁶ См.: *Модзалевский Б. Л.* Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910. С. 147. № 567.

³⁷ Страницы книги не нуждались в разрезании. Заметок Пушкина на них нет.

³⁸ См.: *Le Grand (Legrand) J.* Voyage historique d'Abyssinie, du R. P. Jérôme Lobo de la Campagne du Jésus, traduite du Portugais. Paris and La Haye, 1728. Перевод на английский язык: *A voyage to Abyssinia...* From the French by S. Johnson, 1735.

³⁹ См.: *Gobat S.* Journal of Three Years' Residence in Abyssinia. New York, 1851. Map.

⁴⁰ См. примеч. 29.

⁴¹ *Salt H.* «Mr. Salt's Narrative». In Valentia, George, Viscount: *Voyages and Travels to India, Ceylon, the Red Sea, Abyssinia and Egypt.* Vol. 3. P. 61.

⁴² У Пушкина в 11-м примечании к строфе L главы первой «Евгения Онегина»: Лагань.

⁴³ Рукою Пушкина. С. 50.

⁴⁴ нежность (нем.).

⁴⁵ См.: *Basset R.* Etudes sur l'histoire d'Ethiopie//Journal asiatique. Paris, 1881. № 17—18. В № 18 (с. 293—324) содержится «Эфиопская хроника» («Chronique éthiopienne») — французский перевод хроники правления Иисуса I, начатой императорским секретарем Хауария Крестос (французская транслитерация) и продолженной после его гибели в 1698 г. следующим секретарем — За-Уальдом.

⁴⁶ См.: *Bruce J.* Travels to Discover the Source of the Nile in the Years 1768, 1769, 1771, 1772 and 1773. Edinburgh, 1790. Vol. 2. P. 549.

⁴⁷ Ibid. Vol. 3. P. 84, 88.

⁴⁸ *Starkie E.* Arthur Rimbaud in Abyssinia. Oxford, 1937.

⁴⁹ Артур Рембо (1854—1891) — французский поэт; примерно с 1880 г. оставил поэзию и занялся в Эфиопии торговлей людьми.

⁵⁰ «дети-эфиопы» (франц.).

⁵¹ «король Мекки» (франц.).

⁵² *Le Grand (Legrand) J.* Voyage historique d'Abyssinie... P. 431, 417—

⁵³ «юного эфиопского раба» (франц.).

⁵⁴ «маленький раб» (франц.).

⁵⁵ Bruce J. Travels... Vol. 2. P. 488—489.

⁵⁶ Рукою Пушкина. С. 44.

⁵⁷ «недолгое время спустя» (нем.).

⁵⁸ Ибрагим—Абрам прибыл в Константинополь (Стамбул) весной 1703 г., а в июле следующего года, до 21 числа, он и еще два мальчишка были отосланы в Россию. 21 июля Савва Лукич Владиславич (с 1711 г. граф Рагузинский, 1668—1738) сообщает об этом Спафарию, а Спафарий 15 ноября пишет Ф. А. Головину о прибытии мальчиков в Москву 13 ноября 1704 г. Трех арапчат, таким образом, отослали в июле 1704 г. из Константинополя, но, по свидетельству Спафария, везли необычным путем, т. е. не морем до Азова, а на север, через Болгарию и Мунтению (восточная часть современной Румынии) (Рус. Арх. 1867. С. 308—309).

⁵⁹ В немецком тексте: Seraglio; Набоков пишет на итальянский манер: seraglio. Сераль — жилище знатного турка, где в одной части дома живут мужчины, а в другой находится гарем.

⁶⁰ Далее Набоков пропускает часть фразы: «заприметил нескольких лучших, для его цели пригодных» (Рукою Пушкина. С. 51).

⁶¹ Рукою Пушкина. С. 51.

⁶² Все операции по умыканию арапчат совершал С. Л. Владиславич-Рагузинский; он же устраивал их отправку в Россию в сопровождении верного человека (см. уже упоминавшееся в примеч. 58 письмо Спафария Головину от 15 ноября 1704 г.). Возможно, что им был Щепотьев; это имя Пушкин записывает без пояснений на полях «Сокращенного перевода Немецкой биографии»; может быть, оно было сообщено ему переводчиком текста.

⁶³ Письмо это отправлено кабинет-секретарю Алексею Васильевичу Макарову 5 марта 1722 (не 1721) г. Оpubl.: Ганнибал А. С. Ганнибалы, новые данные для их биографий//Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб., 1913. Т. V. Вып. XVII—XVIII. С. 211.

⁶⁴ Во Франции Ганнибал, по всей видимости, обучался сначала в артиллерийской школе города Меца, а с 1720 г. — в Ла Фере (см. примеч. 83).

⁶⁵ В посвящении двухтомного учебника Екатерине I (см. примеч. 8) нет ни указания на 22 года служения, ни слов о жизни «при доме» государя. Ошибка Набокова восходит к кн.: Венгер М. Предки Пушкина. М., 1937. С. 36.

⁶⁶ В Москву привезли трех арапчат (один вскоре умер), из них старший, крещенный Петром I с именем Алексей Петров, стал гобистом Преображенского полка. Его судьба прослеживается только до 1716 г. По свидетельству Спафария, встретившего «поезд» из Константинополя в Москве (ср. также: Российский Государственный архив древних актов, ф. 248, оп. 3, д. 43), этот Алексей приходился Абраму старшим братом. Исчезновение Алексея из биографии Абрама и из документов привело к полному забвению его, и нигде в «Немецкой биографии» он не обнаруживается. Поэтому Роткирх, твердо знавший, что сначала было трое мальчиков, уморив по дороге второго, подменяет Алексея белокожим рагузинцем. Однако босниец из Рагузы (ныне Дубровник) Савва Владиславич, участвовавший в похищении из сераля мальчиков, никак третьим из них оказаться не мог. Не мог им быть и его племянник Ефим Иванович (1691—1741), находившийся с дядей в Константинополе и отправленный в Россию морем — через Азов. Дождавшись там прибытия разных товаров и встретившись с дядей, он тронулся в Москву, куда «поезд» из Константинополя прибыл лишь 30 января 1705 г. (см. примеч. 69), через два с половиной месяца после арапчат.

⁶⁷ Рукою Пушкина. С. 51.

⁶⁸ Набоков цитирует письмо по кн.: Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1863. Т. IV, ч. 2. Прил. С. 254.

⁶⁹ В «Прошении» Ганнибала императрице Елизавете Петровне 1742 г. (см. примеч. 13) есть двусмысленная фраза, до недавнего времени не вызывавшая, однако, сомнений: «выехал я в Россию из Царяграда при графе Саве Владиславиче». Фраза всегда воспринималась как свидетельство совместной поездки Владиславича с Абрамом. Так понята она и Набоковым. Однако Ганнибал хотел сказать, что выехал он из Константинополя в те месяцы, когда Савва Лукич Владиславич, решавший его судьбу, замещал уехавшего в Москву П. А. Толстого и был, таким образом, полномочным послом России в Турции. В четырехтомном труде Н. Н. Бантыш-Каменского «Обзор внешних сношений России (по 1800 г.)» (М., 1887—1902), Набокову неизвестно, имеются точные и полные сведения о передвижениях Рагузинского.

6 ноября 1702 г. Рагузинский прибыл из Константинополя в Азов «с деревянным маслом, кумачами, бумагой хлопчатной» (*Бантыш-Каменский Н. Н. Обзор... М., 1896. Т. 2. С. 242*). В Москву он приехал 26 марта 1703 г. Обрато отправился через Киев осенью «с собольми» на 5 тысяч для П. А. Толстого (там же), т. е. для подарков нужным людям в Константинополе. Очевидно, он прибыл туда в начале 1704 г. и заменил Толстого в качестве посла, пока тот ездил в Москву. Поехал Рагузинский из Турции на Азов не летом, а осенью, прибыв в Москву 30 января 1705 г. (Там же. С. 243).

⁷⁰ Абрама можно было крестить во второй раз, только если меняли его имя, что и сделал царь Петр, однако не в 1707, а в 1705 г., как сообщает сам Ганнибал в посвящении своего учебника Екатерине I: «...И был мне восприемником от святых купели Его Величество в Литве, в городе Вильне, 1705 году...» (*Телетова Н. К. Забытые родственные связи А. С. Пушкина. С. 142*). См. также примеч. 22.

⁷¹ Фамилию себе придумал сам Абрам и впервые употребил ее, по-видимому, в 1727 г. в Сибири, рассчитывая, что громкость ее поможет ему в его положении ссыльного. При этом фамилия Петров превратилась в отчество. В утраченной ныне Иркутской летописи за 1727 г., как отмечал сибирский исследователь Сельский, значит: «В декабре месяце прибыл из Тобольска лейб-гвардии бомбардирной роты поручик Абрам Петров, Араб Ганнибал, для строения Селенгинской крепости» (*Москвитянин, 1853. Т. 6. С. 34*). В Эстляндии Абрам уже постоянно употребляет эту фамилию с 1733 г.

⁷² В Вильнюсе в центре города в 1865 г. после капитального ремонта церкви Параскевы Пятницы приказом губернатора М. Н. Муравьева был выбит текст на доске, укрепленной на ограде. Текст сообщает, что здесь в 1705 г. произошло крещение «африканца Ганнибала». Источником сведений, без сомнения, являлся утраченный ныне документ, принадлежавший Виленскому архиву, увезенному на восток, за пределы Литвы, в 1940 г. Доска и поныне сохраняется на том же месте. Однако историки города утверждают, что Пятиницкая церковь с 1611 г. и до XIX в. была униатской, а крещение могло происходить лишь в православной церкви. Фамилию же «Ганнибал» «африканец» в то время не носил (см.: *Склявичюс Л. Источник тайн//Вечерние новости. Вильнюс. 1985. 26 февр.*).

⁷³ Христина-Эберггардина, супруга Августа II Сильного, равно как и сам Август, в июле 1705 г. в Вильну не приезжали; крестной матерью могла быть лишь неизвестная нам местная дама. Версия о королеве-крестной возникает у Роткирха, сам Ганнибал об этом никогда не писал.

⁷⁴ Возможно, со слов Пушкина Д. Н. Бантыш-Каменский объясняет, почему, просыпаясь ночью, Петр I вынужден был сам записывать на грифельной доске то, что следовало вспомнить днем: «припорожник» Абрам еще не понимал русского языка (*Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей Русской земли: В 5 т. М., 1836. Т. 2. С. 12*). Здесь мы имеем дело с домыслом Роткирха, не понявшего причин кажущейся причуды царя.

⁷⁵ Вегнер М. Предки Пушкина. С. 23. Этому приказу предшествовали многие подобные, начиная с 1705 г.; очевидно, первый из них записан в приходо-расходной тетради (ведомости) Петра I: «1705 года, 18 февраля, по росписи купчины Чувашева Абраму Арапу к делу мундира и в приклад дано 15 рублей 15 алтын» (Малеванов Н. А. «Петра питомец» А. П. Ганнибал// Нева. 1972. № 2. С. 192). В тот день, 18 февраля 1705 г., Петр I отправлялся (до 27 апреля) в Воронеж (см.: Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1863. Т. 4. [Ч. 1]. С. 359, 363). Мальчик тогда еще, видимо, не следовал за царем. Между 1705 и 1709 гг. (1709 г. обозначен в цитированном Вегнером и Набоковым документе) Абрам вместе с карликом Якимом появляется еще раз в приходо-расходной ведомости, когда сообщается, что истрчено «в 707 году <...> Авраму-арапу да Якиму-карле на платье 87 рублей, 13 алтын, 2 деньги» (Соловьев С. М. История государства Российского. М., 1962. Кн. VIII. Т. 15—16. С. 530).

⁷⁶ Е. Ф. Шмурло пишет: «Быть может, он (Ганнибал. — Н. Т.) занимал при царе должность денщика, хотя в документах он трижды упоминается наряду с шутом Лакостюком» (Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. СПб., 1892. Т. 8. С. 87).

⁷⁷ В тексте М. Вегнера (Предки Пушкина. С. 24) царский дурак назван Тюриновым. У Набокова, который, несомненно, перелагал рассказ Вегнера, описка или сознательное искажение-насмешка — Тюриков.

⁷⁸ Набоков позволяет себе дать собственный вариант анекдота: у Вегнера Петр I отнюдь не развлекался поркой матросов. Ср.: «Проснувшись, шут завопил и разбудил царя. Петр вскочил избешенный, схватил канат и бросился на крики. Шалуны, услышав его шаги, попрятались. Первым попался царю на глаза Абрам и был отхлестан не на шутку» (Вегнер М. Предки Пушкина. С. 24).

⁷⁹ Адриан Шхонебек в мае 1705 г. выполнил гравюру «Петр I с арапчонком». Известно, что больной царь с 4 по 22 мая 1705 г. жил в загородном доме Ф. А. Головина в Немецкой слободе (см.: Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1863. Т. 4 [Ч. 1]. С. 363—364). В ноябре 1704 г. Головину доставили двух арапчат из Константинополя (см. примеч. 58). Поскольку арапчонок, получивший после крещения имя Алексей и фамилию Петров (см. примеч. 66), никогда при Петре не состоял и, в отличие от Абрама, в петровских бумагах тех лет не упоминался, то почти наверняка можно говорить, что на гравюре изображен Петр I с Абрамом, подаренным дарю в январе — феврале 1705 г. См. подробнее об этой гравюре в статье Н. К. Телетовой «О мнимом и подлинном изображении А. П. Ганнибала» в настоящем сборнике, с. 84.

⁸⁰ С января по октябрь 1716 г. имя Абрама в списках тех, кто сопровождал царя Петра в его путешествиях, не появляется. Первый приказ о выдаче Абраму ефимков на седло относится к 5 октября 1716 г. (см.: Украинцев Е. И. Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. М., 1872. Т. 2. С. 52). Именно в это время к Петру в Копенгаген прибыли недоросли, направлявшиеся в Европу для обучения; среди них, очевидно, был и Абрам: «Петр их осмотрел и распределил, кого куда послать. Указ о том кн.<язю> Долг.<оруюку> — от 12 окт.<ября>» (Х, 228). Затем Абрам упоминается в начале декабря по поводу раздачи трех червонных нищим в Вестфалии. 11 декабря 1716 г. Абраму Петрову и Алексею Юрову делаются богатые дары к празднику Рождества (см.: Украинцев Е. И. Указ. соч. С. 21, 25). Таким образом, оба они присоединились к свите Петра (Абрам в октябре, Юров тогда же или в ноябре — декабре) и находились при нем до 9(20) июня 1717 г., когда Петр уехал из Парижа, а Абрам и Юров остались во Франции для обучения.

Двое других юношей проследовали из России во Францию, не задерживаясь, очевидно, при Петре. Коровин должен был обучаться не фортифика-

ции и военному делу, а «грыдоровальному художеству», т. е. искусству гравировки (см.: *Пекарский П.* Введение в историю Просвещения в России XVIII столетия. СПб., 1862. Т. 1. С. 241).

⁸¹ В подлиннике «Немецкой биографии» Роткирх правильно записал имя — Белидор. Но в копии для Пушкина неясная буква «d» опущена. То же рукою Пушкина в «Сокращенном переводе Немецкой биографии».

⁸² В тексте опечатка. Белидор родился в 1693 г. (см.: *Larousse P.* Grand Dictionnaire universel. Paris, [1865]. Vol. 2. P. 497).

⁸³ До 1719 г., когда Ганнибал принял участие в войне с Испанией, он не мог учиться в Ла Фере: «Школа инструктажа» («L'ecole d'instruction») была открыта там лишь в 1720 г., по повелению короля от 5 февраля (см. об этом: *Daniel P.* Histoire de la milice française. Paris, 1721). Можно предположить, что между 1717 и 1719 гг. он обучался в Меце.

⁸⁴ «Краткий курс военной, а также гражданской архитектуры и гидравлики» (*франц.*).

⁸⁵ Ганнибал был ранен в 1719 г. при взятии крепости Фуэнтераба (см. об этом: *Хмыров М. Д.* А. П. Ганнибал//Всемирный труд. 1872. № 1. С. 107).

⁸⁶ См. примеч. 83.

⁸⁷ Набоков весьма свободно пересказывает Пушкина. В «Арапе Петра Великого» говорит лишь, что Ибрагим «присутствовал на ужинах, одушевленных молодостью Арузта и старостию Шолье, разговорами Монтеские и Фонтенеля», и что графине Д. его представил «молодой Мервиль, почитаемый вообще последним ее любовником» (VIII, 4). «Мервиль первый заметил эту взаимную склонность. <...> Слова Мервиля пробудили Ибрагима» (VIII, 5), — больше о Мервиле ничего не говорится. По мнению Набокова, речь здесь идет о Мишеле Гьюю де Мервиле (1696—1755), драматурге, авторе более чем десятка пьес, ставившихся в 1730—1740-е годы в Комеди Франсез и в других театрах. Известно, что Мервиль общался с Вольтером.

⁸⁸ Абрам находился в обучении пять с половиной лет. Покинув Россию приблизительно в начале сентября 1716 г., он был оставлен Петром в Париже 9(20) июня 1717 г. (см. примеч. 80). 17 октября 1722 г. Абрам Петров, Резанов и Коровин были отозваны из Парижа и отправлены в Россию в свите бывшего посла во Франции В. Л. Долгорукова (см.: *Бантыш-Каменский Н. Н.* Обзор... М., 1894. Т. 1. С. 94). В Москву «поезд» Долгорукова прибыл 27 января 1723 г., о чем есть запись в камер-фурьерском журнале (Юрнал 1723 года. СПб., 1855. С. 6).

⁸⁹ Петр I приказал князю А. Д. Меншикову, подполковнику Преображенского полка (полковником был он сам), 4 февраля 1724 г.: «Абраму (арапу), который во Франции служил капитаном и привез свидетельство, того ради определите ево поручиком бомбардирскую роту к инженерам, которых из молодых в кондукторы надлежит собрать <...> Петр» (*Ганнибал А. С.* Ганнибалы, новые данные для их биографий. С. 217).

⁹⁰ Ср. примеч. 71.

⁹¹ забавах (*франц.*).

⁹² «Рассуждения о всемирной истории» (*франц.*). Первое издание — 1681 г.

⁹³ *Poirier, Abbé Metz F. J.* Documents généalogiques. 1561—1792. Paris, 1899.

⁹⁴ Капитан Петров, именуемый Аннибал (*франц.*).

⁹⁵ Этот грек, капитан, нанят был в Венеции Г. Г. Островским, посланным Ф. А. Головиным, вместе с другим капитаном по имени Стамати Камер. В Венеции Диопер (тогда именовавшийся Депиор) жил близ греческой церкви, имел жену и детей, по-видимому навсегда оставленных. 16 ноября 1697 г. оба нанятых капитана с Островским тайно выехали в Амстердам (Венеция не хотела отпускать нужных людей), где встречены были Голови-

ным и Лефортом. Плата капитанам положена была «в московской службе сколько они похотят и сколько их будут держать <...> по 15-ти золотых червонных в месяц» (*Княжечкая Е. А. Связи России с Далмацией и Бокой Которской при Петре I*//Сов. славяноведение. 1973. № 5. С. 46—59).

Брак Евдокии Андреевны Диопер и Аврама Петрова состоялся 17 января 1731 г. в Петербурге, в церкви Симеона Богопримца в Морской слободе (см.: *Малеванов Н. А. Прадед поэта*//Звезда. 1974. № 6. С. 159).

⁹⁶ Псковские поместья, и среди них Зуево-Михайловское, пожалованы были А. П. Ганнибалу в 1742 г. 12 января 1742 г. под № 8728 вышел «Именной указ о пожаловании подполковника Аврама Ганибала в генерал-майоры <...> и об отдаче ему из дворцовых имений Псковского уезда Михайловской губы с 569 душами крестьян» (*Баранов П. И. Опись высочайшим указам и повелениям, хранящимся в С.-Петербургском архиве за XVIII век*. СПб., 1878. Т. 3 (1740—1762). С. 85).

Закрепление пожалования грамотой на владения в Псковской губернии состоялось лишь 6 февраля 1746 г. (грамота подписана: «Елизаветъ» и «Алексей Бестужев»; хранится во Всероссийском музее А. С. Пушкина).

⁹⁷ Ганнибал умер неполных 85 лет. См. примеч. 8.

⁹⁸ Имеется в виду публикация: *Ф. Б. <Булгарин Ф. В.>* Второе письмо из Карлова на Каменный остров//Сев. пчела. 1830. 7 авг. № 94.

⁹⁹ [*Helbig G. A. W.*] *Russische Günstlinge*. Tübingen, 1809. Русский перевод (с указанием автора) впервые опубликован в 1883 г. под названием «Русские фавориты». Георг фон Гельбиг был секретарем Саксонского посольства в Петербурге в 1787—1795 гг.

¹⁰⁰ Н. П. Барсуков в 1891 г. выпустил в Петербурге только четвертый том своего двадцатидвухтомного издания «Жизнь и труды М. П. Погодина». Однако указанного сообщения там нет. Но в том же году А. П. Барсуков опубликовал в «Русском архиве» (т. 2) «Прошение» А. П. Ганнибала (см. примеч. 13) и в середине страницы 103, закончив свое сообщение, поставил: «С.-Петербург, 29 марта 1891 г., Александр Барсуков». Ниже, под звездочкой, следует текст издателя П. И. Бартенева, подписывавшего подстрочные комментарии инициалами «П. Б.», но оставившего без подписи этот текст, в котором, в частности, сообщается: «...вдова Льва Сергеевича Пушкина, Елизавета Александровна, передавала нам, что у ее свекрови, Надежды Осиповны, матери поэта, ладони были желтого цвета» (с. 103—104). Резюме Бартенева Набоков приписал Барсукову, ошибочно заменив его инициал «А» инициалом «Н».

¹⁰¹ В. Виноградов — описка Набокова. Следует: Л. Виноградов. См.: *Виноградов Л. А., Чулков Н. П., Розанов Н. П. А. С. Пушкин в Москве: Труды Общества изучения Московской области*. М., 1930. Вып. 7.

¹⁰² В примечании Л. А. Виноградова к его статье «Детские годы А. С. Пушкина в Немецкой слободе и у Харитония в огородниках» (в сборнике «А. С. Пушкин в Москве» (С. 32—33)) говорится: «...все дочери Исаака Абрамовича Ганнибала отличались речью нараспев: „все они точно египетские голуби воркуют <...> выговор у них такой африканский, что ль, был“, — вспоминали о них в Тригорском».

¹⁰³ См. об этом статью Н. К. Телеговой «О мнимом и подлинном изображении А. П. Ганнибала» в настоящем сборнике, с. 84.

¹⁰⁴ *Bent J.-T. The Sacred City of the Ethiopians...* P. 287—288.

¹⁰⁵ «...с твоим сплюснутым носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?» — говорит Ибрагиму Корсаков в романе «Арап Петра Великого» (VIII, 30).

¹⁰⁶ См. примеч. 45.

¹⁰⁷ Любопытно, что ни история о девятнадцати старших братьях, которых приводили к отцу со связанными руками, ни такая деталь, как фонтаны, среди которых плавал на воле меньшей из них, Ибрагим, не имеют

известного протосюжета: в «Немецкой биографии» ничего подобного не излагается. В комментарии к роману осенью 1824 г. Пушкин приводит эти экзотические подробности после свидания с Петром Абрамовичем, под свежим впечатлением от первого знакомства с «Немецкой биографией». Тогда же он, вероятно, познакомился и с важными дополнениями к ней. Был ли это устный рассказ Петра Абрамовича или неизвестные впоследствии мемуары Абрама Петровича — установить невозможно (между прочим, и о Лагани в «Немецкой биографии» сказано, что она утопилась с горя, не сумев освободить брата, в то время как у Пушкина в комментарии 1824 г. она только плыла за кораблем, на котором он удалялся).

¹⁰⁸ Ничем не знаменитое селение Снитерфилд находится в графстве Уорикшир, в трех с половиной милях на северо-восток от Стратфорда-на-Эйвоне, родины Шекспира.

¹⁰⁹ Набоков подозревает, что пушкинское описание детства Ганнибала стилизовано и источником стилизации является художественная литература.

¹¹⁰ Речь идет о Шарле Понсе.

¹¹¹ Пресвитер Иоанн — легендарный священник и король Абиссинии в средние века.

Шекспир, скрыто присутствующий в набоковском «Заключении» (см. примеч. 108), упоминает пресвитера Иоанна в комедии «Много шума из ничего» в выразительном контексте: «Бenedикт. Я готов за малейшим пустяком отправиться к антиподам, что бы вы ни придумали: хотите, принесу вам зубочистку с самой отдаленной окраины Азии, сбегая за меркой с ноги пресвитера Иоанна, добуду волосок из бороды Великого Могола, отправлюсь послом к пигмеям?» (акт II, сцена 1).

¹¹² Тамбуры — маленькие барабаны.

¹¹³ *Poncel Ch. A Voyage to Aethiopia. Made the Years 1698, 1699 and 1700. London, 1709. P. 149—150.*

¹¹⁴ Имеются в виду следующие строки поэмы С.-Т. Кольриджа «Кубла Хан» (перевод К. Бальмонта):

Стройно-звучные напевы
Раз услышал я во сне
Абиссинской нежной девы
Певшей в ясной тишине

Девы, певшей мне во сне
О Горе святой Аборы.

¹¹⁵ Имеется в виду созвучие названий: «tabog» (барабанчик) и гора «Абог».

¹¹⁶ См. примеч. 45.

¹¹⁷ Ле Гран (см. примеч. 38) говорит, что у Суснея — как правитель он назывался Сагад I — был брат Цеела Крестос или, иначе, Целла Христос. Ле Гран называет последнего также Расселас (см.: *Le Grand (LeGrand) J. Voyage historique d'Abissinie. . . P. 502*). Без сомнения, Роткирх использовал этот романский мотив: брат, ставший правителем, присылал за младшим «полубратом», т. е. Ибрагимом, еще одного брата. Роткирх, таким образом, ставит Ибрагима на место Расселаса, не довольствуясь лестной для рода выдумкой о приезде ко двору Петра I брата правителя Эфиопии.



В. С. Листов

ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ ПРЕДКЕ

К биографии своего предка по материнской линии Абрама Петровича Ганнибала Пушкин испытывал, как известно, постоянный интерес и возвращался к подробностям ее многократно и по разным поводам. Если вспомнить, что еще в 1817 г. в псковской деревне недавний выпускник лицея расспрашивал своего двоюродного деда о черном предке, а два десятилетия спустя придворный историограф отыскивал всякую строку об африканском сподвижнике Петра I, то станет ясным: вся жизнь Пушкина прошла под знаком самого высокого уважения к этой исторической личности.

Надо ли напоминать о том, как могучая фигура Абрама Ганнибала выступала на страницах пушкинских произведений — от «Евгения Онегина» и «Арапа Петра Великого» до «Моей родословной» и «Опыта отражения некоторых нелитературных

обвинений»? Написано об этом много¹. Однако тема и до сих пор не кажется исчерпанной.

В сознании поэта «царский арап» был персонажем объемным и многозначным — это очевидно. Пушкин не был бы Пушкиным, если бы в размышлениях своих ограничивался только реальным, документально достоверным Ганнибалом. Сколько бы ни занимали его факты из жизни «негра безобразного», все же поэт и философ порою должны были торжествовать здесь над историографом. Поэтому, предполагаем мы, образ Ганнибала слагался у Пушкина как некое многогранное единство, возникающее на скрещении истории и современности, фактографии и мифологии, прозы и поэзии.

В этом смысле весьма показательно одно пушкинское замечание из «Опыта отражения некоторых нелитературных обвинений». Оно навеяно известным случаем: Булгарин в «Северной пчеле» наносит едва замаскированное оскорбление памяти Ганнибала. На это Пушкин откликается так: «В одной газете (почти официальной) сказано было, что прадед мой (<...>) был куплен шкипером за бутылку рому. Прадед мой если был куплен, то, вероятно, дешево, но достался шкиперу, коего имя всякий русской произносит с уважением и не всуе». Это о Петре. И далее о Булгарине: «... не похвально ему за русскую ласку марать грязью священные страницы наших летописей, поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, издаться над гробами праотцев» (XI, 153).

Таким образом, Ганнибал назван в первый раз среди «лучших сограждан», а во второй — среди «праотцев». Несходные смысловые ряды, в которых упоминается царский арап, различаются здесь совершенно ясно. Первое определение вполне естественно звучит под пером гражданского историка, публициста, литератора. Второе влечет за собой совсем иной круг ассоциаций. Недаром же Пушкин так редко, так осмотнительно им пользуется. Только еще однажды² решается он назвать «праотцами» Кочубея и Искру — в финале «Полтавы»:

Цветет в Диканьке древний ряд
Дубов, друзьями насажденных;

¹ Леец Г. Абрам Петрович Ганнибал: Биографическое исследование. Таллин, 1980; Телетова Н. К. К «Немецкой биографии» А. П. Ганнибала//Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1982. Т. X. С. 272—285; Сергеев М. Сибирские злключения Арапа Петра Великого//Ангара. Иркутск, 1970. № 6. С. 56—87; см. также: Малеванов Н. А. Прадед поэта//Звезда. 1974. № 6. С. 156—167; Козмин Б. М. «В деревне, где Петра питомец...»//Временник Пушкинской комиссии. 1979. Л., 1982. С. 167—171; Букалов А. Роман о царском арапе. М., 1990.

² Лицейские строки Пушкина о «праотце Фатаме», конечно, не могут считаться серьезным словоупотреблением (XVII, 15).

Они о праотцах казенных
 Доныне внукам говорят.
 (V, 64)

Понятие «праотцы» тяготеет к легендарной старине. Словарь В. И. Даля определяет прародителей как «первую известную по родословной чету, от коей вышел род, поколение, дом, колено». В церковном календаре «неделя праотцев» отмечается перед праздником Рождества. Пушкин отчетливо различает отцов как предков вообще и праотцев как основоположников рода, как святыню — церковно-славянское окончание в родительном падеже: «праотцев» — усиливает здесь этот смысловой оттенок.

Когда же речь идет просто о предшествующих поколениях, Пушкин тщательно избегает приставки «пра» к словам «отцы», «родители». Например, в «Евгении Онегине»:

...отослать его к отцам
 Едва ль приятно будет вам.
 (VI, 131)

Но в том же романе:

О люди! все похожи вы
 На прародительницу Эву.
 (VI, 177)

Осмысление Ганнибала как праотца знаменательно. Оно обязывает Пушкина ко многому. Древний культ предков, хотя бы и облагороженный веком Просвещения, вступает в свои права. Недаром же литературный противник обвиняется не просто в неуважении старины, но в загрязнении «священных страниц».

Следовательно, история рода разворачивается и как священная история.

Для людей пушкинской поры и пушкинского круга мысленное восхождение от ситуации частного быта к высоким аналогиям из священной истории было нетрудным, в порядке вещей. Традиция прямого соотнесения горнего и дольного вела к истокам культуры — уже первоначальные русские летописи, известные Пушкину и по Карамзину, и в оригиналах, предваряли реальную историю изложением «событий» от сотворения мира, согласованным с библейскими текстами. Эта неразделимость «священных страниц» и хода исторического времени помогала видеть в фактах современности и близкого прошлого прямую аналогию идеальным примерам.

В «Сценах из рыцарских времен» такой мотив хорошо слышен в диалоге Франца и Бертольда. Первый жалуется на нера-

венство, которое несправедливо,—ведь все произошло от Адама. А второй отвечает, что Каин и Авель «не были равны. (...) В первом семействе уже мы видим неравенство и зависть» (VII, 220). Подразумевается, что в последующих семействах повторяется то же, что было в начальных, у праотцев.

Поэтому судьба Ганнибала могла быть для Пушкина не просто фактом реальной истории, но и некоторой аналогией общеизвестным «священным страницам». В культурно оформленном сознании того времени само имя предка (Ибрагим — Авраам) намекало на праотцовство, на богоизбранность потомства. Разумеется, прямая аналогия тут и заканчивается. Ибо ничто, кроме имени, кажется, не связывает царского арапа с тезкой-патриархом.

Однако достойны внимания некоторые подробности бытования имен в семействе Ганнибала, подробности, прекрасно Пушкину известные. Так, Петр I при крещении мальчика дал ему свое имя, т. е. Петр. Но арап не согласился, и «так как прежде, на родине, его именовали Ибрагимом (что по-арабски значит Авраам (...), то) по общей привычке» звали его Авраамом³.

У Ганнибала было 11 детей. Три его младших мальчика, «сыновья старости», родившиеся, когда отцу шел пятый-шестой десяток лет, носили имена: Осип (Иосиф), Исаак, Яков (Иаков)⁴. Цепочка имен от Авраама до Иосифа вряд ли могла быть выстроена случайно, вне ориентации на «священные страницы». При этом любопытна аналогия между биографиями прадеда и деда Пушкина. Первый был крещен Петром, а назывался Авраамом. Второй получил при крещении имя Януарий, но прожил жизнь под именем Осип (Иосиф)⁵. Отсюда имя матери Пушкина — Надежда Осиповна. Кажется, сама судьба не дает роду отступить от традиционного ряда имен.

Итак, родной дед Пушкина зовется Осип, т. е. Иосиф. Это имя, согласно библейской истории, носит правнук Авраама, «сын старости» Иакова и Рахили. Легенда об Иосифе Египетском должна была осознаваться Аврамом Ганнибалом как священная аналогия его собственной судьбе.

Исходным моментом библейского повествования об Иосифе служит, как известно, продажа в рабство. Старшие братья юно-

³ Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. С. 52.

⁴ *Леиц Г.* Абрам Петрович Ганнибал. С. 169.

⁵ В своем «Начале автобиографии» Пушкин связывает перемену имени с трудностями, которые имя Януарий могло вызывать у жены арапа с ее немецким произношением (XII, 313).

ши, завидуя той любви, которую их отец питает к младшему, продают Иосифа купцам-измаильтянам. Из рук измаильтян невольник переходит в руки египтян. В Египте же после многих злоключений Иосиф становится ближайшим советником фараона.

Совпадение легендарной судьбы Иосифа с реальной судьбой Ганнибала было совершенно очевидно и для него самого, и для всех, кто ознакомился с основными вехами его биографии. Рабство Иосифа у измаильтян находилось в прямом соответствии с невольничеством юного Ибрагима у турок в Константинополе. А служение фараону на далекой чужбине явно перекликалось со службой проданного арапа русскому царю.

Мысль Пушкина должна была сближать «праотцев» Иосифа и Ибрагима; утверждать это можно не только на основании общих соображений, хорошо подытоженных самим поэтом: «Я слишком с Библией знаком» (II, 291). Есть и конкретное свидетельство такого сближения. Как известно, одним из главных источников, которыми Пушкин пользовался, изучая жизненный путь прадеда, была биография царского арапа, написанная немецки мужем младшей дочери А. П. Ганнибала Адамом Карповичем Роткирхом⁶. Этот текст, созданный несколько лет спустя после смерти А. П. Ганнибала, несомненно, отражает семейное предание. В нем есть важный эпизод, повествующий о попытке африканской семьи вернуть мальчика на родину. Вот как об этом пишет автор «Немецкой биографии»: «В это время (А. П. Ганнибала.— В. Л.) правящий сводный брат, я думаю, побужденный тогда еще живой матерью этого европейского Ганнибала, в предположении, что этот сводный брат еще находится в Константинополе в качестве заложника, захотел его выкупить через посредство других, и выполнение этого поручил одному из своих младших братьев; последний отправился по следам увезенного нового Иосифа»⁷.

В переводе — а точнее, в пересказе — Пушкина это место записано так: «В сие время брат его, полагая его в Конст(антинополе) и вероятно побужденный к тому матерью сего последнего, послал братиев для искупления сего нового Иосифа»⁸.

Сличение немецкого текста с пушкинским выявляет два существенных для нас обстоятельства.

Во-первых, и в целом, и в интересующем нас месте пересказ Пушкина заметно короче оригинала. От неважных подробностей Пушкин отказывается. Но сравнение предка с библей-

⁶ См.: *Телегова Н. К.* К «Немецкой биографии» А. П. Ганнибала. С. 277—278.

⁷ Рукою Пушкина. С. 52.

⁸ Там же. С. 36.

ским Иосифом Пушкин не упускает; оно важно и потому сохраняется в пушкинском тексте.

Во-вторых, сопоставление приведенных мест убеждает, что Пушкин не следует за фактами рабски. «Немецкая биография» утверждает, что старший брат невольника поручает его освобождение «одному из своих младших братьев». Пушкин же переосмысливает ситуацию: «послал братьев». Тем самым повествование чуть удаляется от оригинала и чуть приближается к библейской версии. Формула «Иосиф и его брат» как-то нетрадиционна; зато «Иосиф и его братья» вполне в русле традиции. Век спустя так будет назван известный роман Т. Манна.

Мотив, сближающий мальчика Ибрагима с юным Иосифом, находим в одном из вариантов примечаний Пушкина к главе первой «Евгения Онегина», где автор пишет: «До глубокой старости Аннибал помнил еще Африку, роскошную жизнь отца, 19 братьев, из коих он был меньшей; помнил, как их водили к отцу, с руками, связанными за спину, между тем как он один был свободен...» (VI, 654). Подобно ветхозаветному Иакову, отец любит и балует младшего из сыновей в ущерб отношениям со старшими. И так же, как Иаков, вынужден расстаться именно с ним.

Итак, семейное предание Ганнибалов, восходящее к самому герою, рекомендует его как «нового Иосифа». Для Пушкина такое сопоставление полно жизни и смысла. Можно для сравнения вспомнить его суждение о Гавриле Пушкине, действующем лице трагедии «Борис Годунов», — «один из моих предков, я изобразил его таким, каким нашел в истории и в наших семейных бумагах».

Сложный сплав «истории» и «семейных бумаг» мог участвовать и в создании образа другого пушкинского предка — Ганнибала. И, следовательно, аналогия царского арапа и библейского праотца⁹ способна как-то отразиться в сознании Пушкина, как-то повлиять на его творчество.

Для нашей темы будет важна еще одна черта, сближающая реальный жизненный путь Абрама Ганнибала с ветхозаветным мифом. Дело в том, что, как пишет современный исследователь, «во всей истории Иосифа особую роль играют вещие сны, при

⁹ Пушкин, несомненно, знал и еще об одном русском аналоге Иосифа Египетского — им был князь Александр Невский, причисленный к лику святых как заступник своего народа перед Золотой Ордой. Подобно тому как Иосиф отводил от евреев гнев фараона, так Александр защищал русских от произвола татарского хана. Поэтому тропарь на празднование перенесения мощей святого в Петербург в 1724 г. гласил: «Познай свою братию, Российский Иосифе, не в Египте, но на небеси царствующий, благоверный Княже Александре, и прими моления их...»

этом Иосиф выступает то как „сновидец“, то как толкователь снов»¹⁰. Мальчик рассказывает братьям свои сны, недвусмысленно намекающие на его, Иосифа, первенство в роде: «... вот, ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу» (Быт. 37:7). Это и служит непосредственным поводом продажи мальчика в рабство. Сон оказывается вещим: старшие братья в голодный год придут на поклон к младшему и попросят хлеба. В Египте сновидческая линия Иосифа продолжается: он верно толкует сны опальных фараоновых вельмож, а затем и сны самого фараона — о семи тучных и семи тощих коровах. Именно правильная интерпретация снов делает Иосифа доверенным лицом монарха, его ближайшим советником.

Впрочем, ветхозаветный сюжет более чем знаменит и не нуждается здесь ни в дальнейшей детализации, ни даже в обсуждении. Он упомянут только потому, что в «Немецкой биографии» А. П. Ганнибала есть мотив, живо напоминающий миф об Иосифе-сновидце. Вот что читал в ней Пушкин о своем прадеде: «Что касается Ганнибала, то он спал в дополнительном кабинете государя, в токарне, и вскоре сделался во многих важных случаях секретарем своего государя; у последнего над постелью всегда висело несколько аспидных досок; <как бы он ни был утомлен от дневных трудов и как бы ни нуждался в покое, его великий дух, вечно деятельный во благо подданных, этот почти никогда не отдыхающий дух, часто будил его и поддерживал в бодрствующем состоянии;> и тут в темноте, без света, записывал он по вдохновению важные и длинные проекты; наутро его питомец должен был эти заметки переписывать начисто и после надлежащего подписания рассылать их по коллегиям <и соответственным учреждениям в качестве новых законов и повелений для исполнения> <...> Монарх <...> убеждался в способностях этого юноши, <которые предвещали больше, чем судьбу писца...>»¹¹.

Это место биографии в записи Пушкина читается куда более энергично и опять несколько приближается к «священным страницам»: «Ган<нибал>, неразлучный с Императором, спал то в его кабинете, то в его токарне и вскоре потом сделался тайным секретарем своего Имп<ератора>. — Государь имел всегда над своей постелью Аспидную доску; государь писал ночью приходившие ему мысли, а Ан<нибал> утром переписывал и рассылал по разным коллегиям. Государь был день ото дня более убежден дарованиями сего юноши...»¹²

¹⁰ Аверинцев С. С. Иосиф прекрасный//Мифы народов мира. М., 1980. Т. 1. С. 555.

¹¹ Рукою Пушкина. С. 51—52.

¹² Там же. С. 35—36.

Отступления Пушкина от использованного источника опять весьма многозначительны. Молодой арап, соучаствующий в законодательном сновторчестве Петра, назван тайным секретарем — такой должности, как известно, не было. На легенде, творимой поэтом, могли отразиться чуть более поздние исторические реалии: например, чин тайного советника в Табели о рангах (1722) или даже существование высшего имперского учреждения — Верховного тайного совета (1726—1730). Так ли, иначе ли, но Пушкин совершенно пренебрегает намеком немецкого источника на роль писца, с которой начинается служба юного арапа при государе. Более того. Текст «Немецкой биографии» сообщает, что ночные вдохновения Петра становились законами лишь «после надлежащего подписания». А Пушкин, следуя своей логике, опускает этот момент. И тем возносит своего предка на головокружительно высокую ступень государственности. Разумеется, поэт бесконечно далек от чванливого преувеличения роли своего прадеда. История рода, создаваемая как параллель священной истории, действительно требует наполнения будущей формулы «царю наперсник, а не раб» (III, 263).

Тот же мотив Пушкин знал и по другому источнику — анекдоту, записанному И. И. Голиковым. С многотомной голиковской историей Петра поэт познакомился не позднее середины 1820-х годов,¹³ и рассказ, записанный со слов самого предка, несомненно запомнил: «Сей российский Ганнибал, между другими дарованиями, имел чрезвычайную чуждость, так что, как бы он ни крепко спал, всегда на первый спрос просыпался и отвечал. Сия чуждость его была причиною, что монарх сделал его своим камердинером и повелевал ночью ложиться или в самой спальне, или подле оной.

Сей Ганнибал сам предлагал нам сей анекдот, рассказывая всегда оный со слезами, то есть что не проходило ни одной ночи, в которую бы монарх не разбудил его, а иногда и не один раз. Великий сей государь, просыпаясь, кликавал его: „Арап!“ — и сей тотчас же отвечивал: „Чего изволите?“ — „Поддай огня и доску“ (то есть аспидную, которая с грифелем висела в головах государевых). Он подавал оную, и монарх пришедшее себе в мысль или сам записывал, или ему приказывал и потом обыкновенно говорил: „Повесь и поди спи“¹⁴. Поутру же неусыпный и попечительный государь обдѣлывал сии свои мысли»¹⁴.

¹³ Фейнберг Илья. Незавершенные работы Пушкина. 7-е изд. М., 1979. С. 86.

¹⁴ Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России... 2-е изд. М., 1843. Т. 15. С. 156—157.

Пушкин и здесь, как и в случае с «Немецкой биографией», внимателен и к месту арапа при Петре, и к принижению роли предка. Один из своих полемических пассажей Пушкин снабжает характерным примечанием, относящимся к приведенному тексту: «Голиков говорит, что он (арап. — *В. Л.*) был прежде камердинером у государя. <...> Голиков ошибся. У Петра I не было камердинеров...» (XI, 153). Человек царского рода, чья биография сходствует с судьбой праотца Иосифа, не может, не должен восприниматься в ряду с обыкновенными слугами. Тут Пушкин стоит твердо.

Отзвук полулегендарной ситуации, в которой черный «тайный секретарь» записывает и толкует мысли государя, пришедшие во время сна, есть и в незаконченном романе Пушкина о царском арапе. В конце второй главы автор помещает эпизод, в котором Петр спит после обеда, а проснувшись, обращается к Ибрагиму: «„Посмотрим <...> не позабыл ли ты своей старой должности. Возьми-ка аспидную доску да ступай за мною“. Петр заперся в токарне и занялся государственными делами. <...> Потом выходя из токарни сказал Ибрагиму: „Уж поздно; ты, я чай, устал: ночуй здесь, как бывало в старину...“» (VIII, 11—12).

Но почему так существенна для нас связь между ролью праотца Иосифа как сновидца, толкователя снов фараона и «должностью» арапа, расшифровывающего «сны» Петра? Видимо, потому, что Пушкин отождествляет себя с предком — подчас, быть может, и подсознательно¹⁵.

Давно замечено то особое место, которое сны, сновидения занимают в поэтическом мировосприятии Пушкина. Еще М. О. Гершензон показал, что сон, забвение осознаются Пушкиным как некое особое творческое состояние души, глухой к «затемям суетного света», но зато открытой всему возвышенному, истинно поэтическому¹⁶. Особенно ясно это над страницами «Евгения Онегина». Главные герои романа являются автору в «смутном сне» (VI, 190); «среди поэтического сна» (VI, 140) приходят видения прошлого, образы дальних стран; верит «снам» Татьяна (VI, 99), и знаменитое сновидение едва ли не главное средоточие ее поэтического характера; да и сам

¹⁵ Недаром же, например, болгаринский выпад против Ганнибала поэт принимает как оскорбление, нанесенное ему, Пушкину, лично. Не чужд Пушкин и прямому самоотожествлению с библейским патриархом — дважды в письмах он сравнивает себя с Иосифом, ускользящим от несправедливой женской любви (XIV, 74; XV, 30).

¹⁶ См.: *Гершензон М.* Сон и явь//Гершензон М. Статьи о Пушкине. М., 1926.

поэт рожден для «творческих снов», оживающих в глуши (VI, 28).

«Более 30 раз в романе слова „сон“, „забвение“ и производные от них встречаются именно в значениях, определяющих внутреннюю жизнь»¹⁷.

Когда Пушкин при всякой возможности упоминает и подчеркивает в мифологизированной биографии Ганнибала роль, близкую к истолкованию снов, то тут, вероятно, можно видеть намек не только на кровное родство с царским арапом, но и на некую тесную духовную связь потомка с предком. Цикличность, повторяемость того, что происходит с праотцем и с ним самим, — это должно быть ясно для Пушкина.

Например, интересно проследить, как с течением времени в сознании поэта образ Ганнибала меняется, играет новыми смысловыми оценками. Сперва, в молодости, Пушкин, по-видимому, ощущает черного прадеда как некую странность, как курьез, отличающий его род по материнской линии. Отсюда очень понятная игра в африканские страсти, так что друзьям приходится «сдерживать и обуздывать кипучий темперамент потомка Ганнибала»¹⁸. Даже еще в начале 1825 г. Пушкин пишет брату: «Присоветуй Рылееву в новой его поэме поместить в свите Петра I нашего дедушку. Его арапская рожа произведет странное действие на всю картину Полтавской битвы» (XIII, 143).

Междуцарствие 1825 г., восстание декабристов и события, за ним последовавшие, отмечают собою важнейший поворот в биографии и творчестве Пушкина. Одним из многочисленных знаков этого поворота можно считать новое, куда более серьезное и обязывающее отношение к праотцу Ганнибалу, к причудливым зигзагам его жизненного пути.

Если александровская эпоха прошла под знаком преимущественного государственного почитания Екатерины II, то Николай I воцарился с именем Петра Великого на устах. Возрождая в полной силе культ царственного реформатора, Николай не прочь был поиграть в нового Петра. В кремлевской беседе с Пушкиным в сентябре 1826 г. эта роль венценосному актеру, по-видимому, удалась. На некоторое время поэт поверил тому, что новый император олицетворяет петровское наследие. Эта вера получила скорое подтверждение — царь приказал Пушкину составить записку «О народном воспитании». Для Пушкина

¹⁷ *Тархова Н. А.* Сны и пробуждения в романе «Евгений Онегин» // *Болдинские чтения. Горький, 1982. С. 55.*

¹⁸ *Мушина И. Б.* Пушкин и его эпоха в переписке поэта // *Переписка Пушкина: В 2 т. М., 1982. Т. 1. С. 9.*

чуть забрезжила личная ситуация, определяемая формулой «царю наперсник, а не раб».

Как тут было не вспомнить о предке! Если Николай — новый Петр, то ничто не мешает Пушкину сознавать себя новым Ганнибалом. Советником. Сподвижником. Тайным секретарем. Помощником державных вдохновений. Этой творимой легенде как нельзя лучше соответствовали «Стансы» и особенно роман о царском арапе.

Любопытно наблюдать, как в исторической прозе, где действие развивается от Пушкина век тому назад, звучат вполне современные автору мотивы. Пушкин не останавливается на детских годах своего героя — он прямо начинает с поездки Ибрагима в чужие края. Вся первая глава и даже начало второй посвящены Парижу, молодым безумствам Ибрагима, временному забвению его долга перед Петром и Россией. Прежде чем вернуться, подобно блудному сыну, к своему крестному, арап проходит полосу парижских искушений. Аналогия с молодым Пушкиным на юге тут явно напрашивается.

Возможно, здесь одна из причин, по которым автор не завершил своего романа о царском арапе. Довольно скоро Пушкин начинает догадываться, что император вовсе не подобен пращур; исторические параллели «Петр — Ганнибал», «Николай — Пушкин», уже исходно шаткие, все более тускнеют, выветриваются. Кроме того, фигура революционера Петра в сознании поэта день ото дня растет и усложняется; его эпоха становится равной по сложности и кровавости всей мировой истории. А личность Николая I мельчает, падает в глазах Пушкина с каждым нерыцарственным поступком. Прапорщик постоянно берет верх над Петром Великим, и с какого-то времени уже нет ни повода, ни смысла напоминать о праотческой идиллии: идеальный наперсник на службе у идеального государя.

Уже в «Полтаве» Пушкин не следует своему же собственному совету, обращенному к Рылееву, — в поэме нет «арапской рожи» прадеда рядом с «ужасным ликом» царя. Нет подробностей о Ганнибале и в подготовительных материалах к «Истории Петра» — два незначительных упоминания в перечнях имен, конечно, не в счет (X, 4, 269).

«Священные страницы летописей» молчат.

В последние годы жизни Пушкин, как и в молодости, остается верен высокой истории рода. Но теперь поэта прежде всего занимают личные свойства предков, а не их служба властям, более или менее тираническим. Не позднее 1834 г. Пушкин «возвращается к оппозиции»¹⁹ — не потому ли из его писаний

¹⁹ Вульф А. Н. Из «Дневника»//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 421.

и разговоров почти исчезают воспоминания о Пушкиных, приложивших руку к возведению Романовых на царство? Не потому ли мысли о черном предке все реже возвращаются в круг разысканий о Петре I, но все чаще приводят к шекспировскому Отелло?

Конечно, это совсем другая тема. И не здесь ее начинать. Но все-таки попутно можно заметить, что, выстраивая линию «мавр — арап — Пушкин», поэт подчеркивает, что герой Шекспира «не ревнив — напротив: он доверчив» (XII, 157). Суждение глубокое, вряд ли сводимое к одним лишь свойствам мужского характера. Отелло доверчив не только к Дездемоне или к Яго; он вообще доверчив. Его жизнь простодушна и тем напоминает жизнь поэта. «Но вы не верите простодушию гениев» (VIII, 420) — упрек, обращенный Пушкиным к обществу, к власти. Отношение поэта к царю в середине 1830-х годов, видимо, и есть обманутая доверчивость — А. А. Ахматова давно об этом догадывалась. И новое наполнение фигуры «негра безобразного» в сознании Пушкина подтверждает ее догадку.

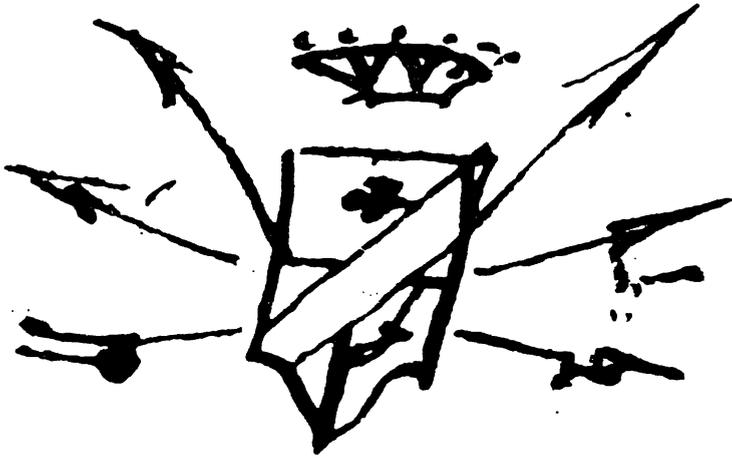
А образ прекрасного Иосифа, сновидца и наперсника государя, не испаряется вовсе, но как бы отступает во второй ряд сознания; как бы теплится посреди враждебных ветров. Так, отбирая фрагменты из проповедей Георгия Кониского для первой книжки «Современника», Пушкин останавливается на отрывке, первая фраза которого весьма знаменательна: «Иосиф, проданный братьями своими во Египет, соделавшись правителем царства, дал им в удел самую богатую землю. . .» (XII, 15). Выписывая эти строки за несколько месяцев до гибели, Пушкин мог мимолетно вспомнить «другую жизнь и берег дальний» — не африканский ли? Времена Петра прошли. Рабы и льстецы теперь приближены к престолу, и нет исхода от «строения фараоновых пирамид <...> под бичами» (XI, 232).

Пройдет полтора века после гибели Пушкина, и наш современник напишет прекрасную поэму о царском арапе. И назовет ее с совершенной точностью, с тончайшим чутьем пушкинской традиции — «Сон о Ганнибале»:

Однажды на балтийском берегу,
Когда волна негромко набегала,
Привиделся мне образ Ганнибала.
Я от него очнуться не могу.
Все это правда и подобье сна,
И мой возврат в иные времена ²⁰.

Размышления о царском арапе и для Пушкина были «возвратом в иные времена». И способом понять себя и свое время.

²⁰ *Самойлов Д.* Весть. М., 1978. С. 87.



В. П. Старк

ПУШКИН И СЕМЕЙНЫЕ ПРЕДАНИЯ ЕГО РОДА

История рода Пушкиных, предков поэта по линии отца Сергея Львовича и бабушки Марии Алексеевны, урожденной Пушкиной, стала предметом детального изучения, начиная еще с 1850-х годов. Происхождение ни одного из русских писателей так не волновало читателей, как пушкинское, но и ни один из них столь настойчиво не обращался в своем творчестве к теме предков. М. П. Алексеев в предисловии к книге В. М. Русакова, посвященной уже потомкам Пушкина, писал: «Пушкин любил заниматься генеалогией своих предков. Хорошо известно, что это увлечение, имевшее глубокие корни, нашло неоднократное отображение во всем его творчестве — поэзии и прозе, в критических статьях, письмах, деловых документах... Достаточно напомнить такое стихотворение, как „Моя родословная“,

или исторический роман „Арап Петра Великого“, созданный на основе его собственных генеалогических изысканий архивного характера и семейных преданий»¹. Корни этого «увлечения», если не сказать сильнее, восходят к прочному и выстраданному поэтом убеждению, что гордость своим родом есть основа основ, ствол «самостояния человека»: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие» (XI, 55). В письме графу А. Х. Бенкендорфу, оправдывая себя по поводу стихотворения «Моя родословная», Пушкин пишет: «...я чрезвычайно дорожу именем моих предков, этим единственным наследством, доставшимся мне от них» (XIV, 242; оригинал по-французски). К сожалению, и это наследство оказалось в беспорядочном состоянии, что стало причиной многих досадных упущений и ошибок самого Пушкина в его обращениях к истории рода. Завершая первое из них, т. е. примечание к строфе L главы первой «Евгения Онегина» в его первом издании, автор сам же сетует на ограниченность своих источников: «В России, где память замечательных людей скоро исчезает, по причине недостатка исторических записок, странная жизнь Аннибала известна только по семейственным преданиям» (VI, 655). Эти предания — в силу специфики своего возникновения и бытования — неизбежно грешат вольными или невольными ошибками, хронологическими несуразицами и домыслами во имя возвеличения рода. Предания пушкинского рода в этом смысле не исключение. Другое дело, что Пушкин недостоверными источниками пользовался с большой осторожностью и добросовестностью историка. Но и он не мог избежать ошибок, которые со временем повторяли его биографы, не всегда умевшие дать им должную критическую оценку. Перенесенные же из сферы научной в повседневно широкое обращение, дополненные досужими толкованиями, эти версии, высказанные в осторожной форме, тиражировались и приобретали характер аксиом, искажая и даже вовсе преобразяжая истинную историческую картину.

Характернейшим образцом подобного мифотворчества, связанного с предками Пушкина, может служить его обращение к биографии деда Льва Александровича. В стихотворении «Моя родословная» (1830) Пушкин пишет о нем:

Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь петергофского двора,
Как Миних, верев оставался
Паденью третьего Петра.

¹ Алексеев М. П. Предисловие//Русаков В. М. Рассказы о потомках А. С. Пушкина. Л., 1982. С. 3.

Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость, в карантин...
(III, 262)

То же самое сообщает Пушкин о нем и в «Начале автобиографии»: «...Лев Александрович служил в артиллерии и в 1762 году, во время возмущения, остался верен Петру III. Он был посажен в крепость и выпущен через два года. С тех пор он уже в службу не вступал и жил в Москве и в своих деревнях» (XII, 311). Почти в тех же выражениях этот эпизод описан в «Опровержении на критики» (XI, 161). С. Л. Пушкин возражал против этой версии в журнале «Современник», отвечая на публикацию А. В. Никитенко в «Сыне отечества» (1840. Т. II, кн. 3) «Отрывков из записок А. С. Пушкина», куда в составе других текстов вошло и «Начало автобиографии». По цензурным соображениям слова: «во время возмущения остался верен Петру III» были заменены на следующие: «при вступлении на престол Екатерины II» (XII, 472). Так что Сергею Львовичу оставалось возражать только против самого факта заключения своего отца в крепости. Он писал, что Лев Александрович «не содержался в крепости 2-х лет: он находился некоторое время под домашним арестом — это правда, но пользовался свободой»². К тому же наказание было связано с «непорядочными побоями находящегося у него в службе венецианина Харлампия Меркадия». Этот эпизод также окажется преобразованным в рассказе Пушкина — венецианец превратится во француза, которого Лев Александрович «весьма феодально повесил на черном дворе» (XII, 311).

В наше время С. К. Романюк окончательно развеял легенду о причастности деда Пушкина к событиям 1762 г. и о его содержании в крепости за верность Петру III. В списке участников процессии «при торжественном Ея Величества в Москву шествии» исследователь нашел имя Л. А. Пушкина. Составлен же он был 14 августа 1762 г., т. е. через два месяца после переворота. Отметился Лев Александрович и как бывший у исповеди перед Великим постом 1763 г. Наконец, 8 мая 1763 г. он подписался под текстом сговорной на О. В. Чичерину, а в сентябре того же года получил отставку с награждением следующим чином, как то значится в его формулярном списке³.

К весомым доводам С. К. Романюка можно добавить еще один. В Институте русской литературы РАН хранится копия с патента на чин подполковника, полученного Львом Александровичем.

² Современник. 1840. Т. 19. С. 103—104.

³ См.: Романюк С. К. К биографии родных Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1989. Вып. 23. С. 9—11.

ровичем; в 1799 г. В. Л. Пушкин представил ее в Московское губернское дворянское депутатское собрание. (Судьба подлинника, хранившегося у Василия Львовича, неизвестна.) Подписанный Екатериной II в Петербурге 2 марта 1764 г. патент, в частности, гласит: «Известно и ведомо будет каждому, что мы Льва Пушкина, который нам в артиллерии майором служил, для его о казенном в службе нашей ревности и прилежности в наши артиллерии подполковники 1763 года сентября 23 дня всемиловитейше пожаловали...»⁴ И это в то время, когда упомянутый Лев Пушкин должен был, если верить рассказу его внука, находиться в заключении.

Занимаясь собственной генеалогией, Пушкин не только порою повторяет и закрепляет ошибки своих предшественников, но и сам становится источником распространения живучих легенд, притом что постоянно скорбит о недостатке документов, подменяемых «семейственными преданиями», достоверность которых оказывается на поверку весьма сомнительной.

Настоящей работой хочется внести ясность в отношении некоторых подобных легенд в истории предков поэта по линии Пушкиных, уточнив по возможности характер и источники их возникновения.

1

«Мой предок Рача...»

В «Опровержении на критики» есть слова, зачеркнутые Пушкиным, но не утрачивающие от того своего смысла: «Я русский дворянин, и <...> знал своих предков прежде, чем узнал Байрона» (XI, 406). В «Борисе Годунове» уже отразилось это знание, восходящее к «Истории государства Российского». О времени же происхождения своего рода Пушкин впервые упоминает в полемическом послании К. Ф. Рылееву лета 1825 г. (сохранился лишь черновик). В ответ на рылеевский вопрос: «Тебе ли чваниться пятисотлетним дворянством?»⁵ Пушкин поправляет Рылеева: «Ты сердисься за то, что я чванюсь 600-летним дворянством (NB. Мое дворянство старее)» (XIII,

⁴ ПД, оп. 21, № 71, с. 10 (Дело Герольдии о внесении рода Пушкиных в общий гербовник дворянских родов).

⁵ Рылеев, как видно, исчисляет древность дворянства Пушкина со времени Григория Александровича Пушки, жившего в XIV в., чье прозвище дало фамилию пушкинскому роду.

219). Таким образом, поэт возводит свой род к первой половине XIII в., т. е. к эпохе Александра Невского. Позднее он закрепляет свое утверждение в стихотворении «Моя родословная», статье «Опровержение на критики», в «Начале автобиографии», повторяя тем самым и первую ошибку относительно истории своего рода. В действительности его род еще старше — примерно на сто лет, и Пушкину следовало бы называть себя «семисотлетним дворянином». В отрывке III повести «Гости съезжались на дачу», который датируется концом 1829 — началом 1830 г., русский, беседуя с испанцем, говорит: «...корень дворянства моего теряется в отдаленной древности» (VIII, 42). В вариантах рукописи после этих слов можно прочесть: «я не мог отыскать в хрониках моего родоначальника» — знаю только, что предки мои уже сражались близ Алекс. (андра) Невск. (ого) ...» (VIII, 542). В стихотворении «Моя родословная» поэт, называя имя основателя рода, прямо связывает его с именем великого новгородского князя:

Мой предок Рача мышцей бранной
Святому Невскому служил.

(III, 262)

Известные работы, посвященные Раче (Ратше, Радше), при всех расхождениях, сходятся в том, что этот легендарный основатель знаменитых русских фамилий появился на Руси около середины XII в.⁶ С этого времени, следовательно, и надо считать старшинство пушкинского рода, как примерно и еще тридцати других родов, между тем все их представители уже к XVIII в. (а значит и их внуки к пушкинскому времени) единодушно связывали Ратшу с именем Александра Невского. Таким образом, ошибка Пушкина не носила ни в коей мере частного характера. Ее природа была всеобщей дворянской и исчерпывающе объяснена С. Б. Веселовским: «В небольшом багаже генеалогических познаний среднего дворянина хранились и передавались от отца к сыну имя родоначальника, действительного или вымышленного, и два-три факта, традиционно связываемые с каким-либо крупным общеизвестным историческим лицом или событием: Ледовым побоищем, Куликовской

⁶ Долгоруков П. В., кн. Российская родословная книга. СПб., 1855. Ч. 2. С. 151; Ч. 4. С. 183; Муравьев М. В. Родословие А. С. Пушкина//Пушкинский сборник. СПб., 1899. С. 655; Модзалевский Б. Л., Муравьев М. В. Пушкины (родословная роспись). Л., 1932. С. 4, 8; Вегнер М. Предки Пушкина. М., 1937; Лукомский В. К. Архивные материалы о Радше//Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1941. Т. 6. С. 398—408; Веселовский С. Б. Род и предки Пушкина в истории//Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. С. 39—139.

битвой, Александром Невским, Иваном Калитой, Дмитрием Донским и т. п.

Переходя из уст в уста, родословные предания деформировались. Самым слабым местом этих „творимых легенд“ были смещения хронологических вех и контаминация разновременных лиц и событий»⁷.

Родословные легенды относительно потомков Ратши, благодаря тому что одним из них оказался Пушкин, подверглись углубленной критической проверке еще в конце XIX в. П. В. Долгоруков и М. В. Муравьев в своих родословиях Пушкиных Ратшу относят к середине XII в. Они опираются на сообщения Государева родословца, составленного в 50-е годы XVI в., и так называемую Бархатную книгу, в которых указано кратко: «Из Немец пришел Ратша»⁸. Правнуком его называется Гаврила Алексич — первое историческое лицо в роде Ратши, чье имя увековечено летописцами в рассказах о битве вел. князя Александра Ярославича на Неве со шведами в 1240 г. Частные родословцы, вопреки сообщениям начальных источников, допуская хронологическую несообразность, самого Ратшу называли сподвижником Александра Невского. Это стало возможным не только ввиду забвения собственных предков и желания приукрасить историю своих фамилий, но и потому, что в Государевом родословце и Бархатной книге первые поколения приводятся лишь назывательно, без конкретных привязок ко времени.

Собственно пушкинский вклад в поддержание устойчивой родословной легенды не подвергался никогда достаточному анализу. Прежде всего необходимо установить, какими источниками пользовался Пушкин помимо семейных преданий, какие из них и в какой мере легли в основу его высказываний по поводу своего рода.

В «Начале автобиографии» Пушкин писал: «Мы ведем свой род от прусского выходца *Радши* или *Рачи* (мужа честна, говорит летописец, т. е. знатного, благородного), выехавшего в Россию во время княжества св. Александра Ярославича Невского. От него произошли: Мусины, Бобрищевы, Мятлевы, Поводовы, Каменские, Бутурлины, Кологривовы, Шерефединовы и Товарковы» (XII, 311). Комментируя эти строки Пушкина, С. Б. Веселовский высказал такое мнение: «Пушкин знал, наверное, Бархатную книгу, изданную Н. И. Новиковым в 1787 г., но, видимо, читал ее невнимательно. Из Бархатной книги он

⁷ Веселовский С. Б. Род и предки Пушкина в истории. С. 41.

⁸ Новиков Н. И. Родословная книга князей и дворян российских и выезжих. М., 1787.

мог бы узнать еще ряд фамилий, происшедших от Ратши, но Шерефединовых он там не нашел бы. Очевидно, он имел в виду фамилию Шафериковых-Пушкиных, пресекающуюся в XVIII в.»⁹ Бархатная книга в издании Новикова была в библиотеке Пушкина, и хотя его пометы в ней отсутствуют, он несомненно пользовался ею¹⁰.

И все же главным источником для Пушкина стало его собственное родословное древо, составленное дядюшкой его В. Л. Пушкиным. В 1799 г. оно было представлено им в Московское губернское дворянское депутатское собрание при прошении о внесении герба Пушкиных в «Общий гербовник дворянских родов». Дело это ныне хранится в Институте русской литературы РАН (Пушкинский Дом), в свое время оно было изучено и частично опубликовано В. К. Лукомским, высказавшим такое мнение: «А. С. Пушкину, однако, эти источники известны не были. Дело о внесении герба Пушкиных в „Гербовник“ возникло полгода спустя после его рождения, а следовательно, не видел он и тех документов, которые были при этом представлены»¹¹. Вместе с тем только на этом родословном древе ниже имени Ратши указана — в ряду других — фамилия Шерефединова, на которую обратил внимание С. Б. Веселовский. Таким образом, ошибка, отмеченная им у Пушкина, восходит к поколенному родословию, составленному В. Л. Пушкиным, апробированному в архиве Московской коллегии иностранных дел, рассмотренному Московским дворянским собранием и представленному с другими документами в Герольдмейстерскую контору Правительствующего Сената. Из дела явствует, что были выполнены по две копии со всех документов, т. е. герба, патентов на чины просителя и его отца, справки из Архива и поколенного родословия. После рассмотрения подлинники были возвращены владельцу. До нас дошли те копии, которые были отправлены в Герольдию. Вторые копии остались в архиве Московского дворянского собрания. Ни те, ни другие копии, хранившиеся в казенных архивах, Пушкину, конечно, доступны не были, и в этом В. К. Лукомский прав. Но он не учел подлинников, возвращенных Василию Львовичу. Поскольку фамилии Шерефединовых — в качестве потомков Ратши — нет ни в одном печатном источнике, то можно утверждать: Пушкин мог встретить ее только в родословии, составленном дядюшкой. Знакомство его с этим документом, скорее всего, могло про-

⁹ Веселовский С. Б. Род и предки Пушкина в истории. С. 42.

¹⁰ Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910. С. 85. № 314.

¹¹ Лукомский В. К. Архивные материалы о Радше. С. 407.

изойти перед смертью Василия Львовича. Он присутствовал при его кончине 20 августа 1830 г. и провожал его в последний путь, взяв на себя расходы по похоронам.

В 1825 г. в подобной же ситуации Пушкин получил семейные бумаги от П. А. Ганнибала. 11 августа 1825 г. он писал П. А. Осиповой: «Я рассчитываю еще повидать моего двоюродного дедушку, — старого арапа, который, как я полагаю, не сегодня завтра умрет, а между тем мне необходимо раздобыть от него записки, касающиеся моего прадеда» (XIII, 205; оригинал по-французски). Дал ли Василий Львович племяннику возможность ознакомиться со своими бумагами сам, или тот воспользовался ими после его смерти, разбирая дядюшкин архив, не столь важно. Факт знакомства с ними Пушкина очевиден и скорее всего относится к августу 1830 г. Тогда же получает Пушкин в наследство от дядюшки и печать с гербом пушкинского рода, которой с этого времени и пользуется. В. К. Лукомский писал: «Печать эта, вероятно, получена им от дяди Василия Львовича Пушкина, в год смерти последнего в 1830 г., в свою очередь, быть может, унаследовавшего печать от своего отца — деда поэта — Льва Александровича Пушкина»¹². В. Л. Пушкин, старший из сыновей Льва Александровича от брака с О. В. Чичериной, хранитель семейного архива, печати и легенд, все это перед смертью передает своему племяннику-поэту. Полученное наследство спустя полтора месяца, болдинской осенью, дает Пушкину импульс для первого подступа к написанию «(Начала автобиографии)», включавшей в себя материалы по истории рода Пушкиных. Тогда же пишется и стихотворение «Моя родословная». «Нет, не случайно творчество А. С. Пушкина 1830-х гг., произведения, написанные знаменитой болдинской осенью, его рукописи и рисунки, его письма хранят воспоминания о дяде»¹³.

Таким образом, виновником некоторых исторических несоответствий и ошибок, которые мы встречаем у Пушкина, следует считать прежде всего Василия Львовича. Пушкинские записки по истории своего рода несут на себе явную печать недавнего общения с дядюшкой — великолепным рассказчиком, доверчиво усвоившим семейные легенды и умевшим собственной фантазией восполнить нехватку точного знания.

¹² Там же. С. 404.

¹³ Михайлова Н. И. Василий Львович Пушкин//Пушкин В. Стихи. Проза. Письма. М., 1989. С. 24.

«С Петром мой пращур не поладил...»

В «Опровержении на критики» Пушкин пишет о представителях своего рода конца XVII в.: «При Петре они были в оппозиции, и один из них, стольник Федор Алексеевич, был замешан в заговоре Цыклера и казнен вместе с ним и Сокогниным» (XI, 161). Давно уже замечено, что здесь Пушкин описался, назвав Федора Матвеевича Федором Алексеевичем. Позднее, в «Начале автобиографии», он называет правильно его и его отца: «...окольный Матвей Степанович [подписался] под соборным деянием об уничтожении местничества (что мало делает чести его характеру). При Петре I сын его, стольник Федор Матвеевич, уличен был в заговоре противу государя и казнен вместе с Цыклером и Соковниным» (XII, 311). В стихотворении «Моя родословная» поэт поманет именно его:

Упрямства дух нам всем подгадил:
В родню свою неукротим,
С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им.

(III, 262)

С. Б. Веселовский комментирует, с точки зрения историка, все эти пушкинские строки: «Выражения „оппозиция“ Пушкина деятельности Петра I и „неукротимость“ родни Ф. М. Пушкина представляются неудачной и неверной характеристикой сообщников Алексея Соковнина и Ивана Цыклера. Немного дерзко звучит и выражение, что Ф. М. Пушкин был повешен (не повешен, а обезглавлен) за то, что „не поладил“ с Петром I»¹⁴. С. Б. Веселовский полагал, что поэт не был осведомлен о том, какое участие приняли Пушкины, т. е. «неукротимая родня», в заговоре против Петра I. Он доказывает, что они явились всего лишь второстепенными его участниками, хотя и пострадали после его раскрытия. Ф. М. Пушкин, женившись на дочери Алексея Соковнина Пелагее Алексеевне (у Пушкина ошибочно «дочь Цыклера»), попал в среду сторонников старомосковского уклада жизни. Отец «не поладившего» с царем, боярин Матвей Степанович Пушкин, тогда самый крупный представитель своей фамилии на государственной службе, был после казни сына сослан в Енисейск, лишен боярства и имущества. Малолетнего своего внука Федора он взял с собою в Сибирь, где оба вскоре скончались. Дядя казненного, боярин Яков Сте-

¹⁴ Веселовский С. Б. Род и предки Пушкина в истории. С. 135.

панович, хотя вина его не была доказана, также был удален из Москвы — сначала на Белоозеро, а затем в свою касимовскую деревню, в которой вскоре и умер. За неимением мужского потомства эта ветвь Пушкиных вовсе угасла. Таким образом, эта оппозиция «вывела навсегда весь род Пушкиных из среды московской знати и из правящих верхов государства»¹⁵.

Пушкин не случайно в план автобиографии в набросках статьи «Опровержение на критики» включил сюжет «казненный Пушкин»: «Рача, Гаврила Пушкин. Пушкины при царях, при Романовых. Казненный Пушкин. При Екатерине II. Гонимы. Гоним и я» (XI, 388).

В «Истории Петра Великого» пушкинская запись о заговоре открывает хронику 1697 г.: «Окольный Алекс.<ей> Соковнин, стольник Фед.<ор> Пушкин и стрелецкий полковн.<ик> Цыклер сговорились убить государя на пожаре 22 янв.<аря> 1697» (X, 31).

В каком же родстве с казненным состоял поэт? Ольга Сергеевна Павлищева в «Воспоминаниях о детстве А. С. Пушкина», записанных с ее слов 26 октября 1851 г., сообщает об этом, рассказывая о бабушке, Марии Алексеевне, следующее: «По отцу будучи внучкою Федора Петровича Пушкина, замешанного в заговоре Соковнина, она приходилась внучатною сестрою зяту своему Сергею Львовичу»¹⁶. Поправив Пушкина в его мнении о родстве родителей, она допускает другую ошибку, назвав Федора Петровича (вместо Федора Матвеевича) участником заговора Соковнина. О. С. Павлищева довольно хорошо, в чем-то даже лучше брата, разбиралась в родословной Пушкиных, но значительно хуже в русской истории. Она путает Федора Матвеевича с тезкою, стольником же Федором Петровичем, их прямым предком, полагая последнего участником заговора против Петра I. Характерно, что тут же ею упоминается стихотворение «Моя родословная», в котором мятежный Пушкин назван «прашуром». Судя по всему, в семье Пушкиных существовало предание, что их предок был казнен Петром I, но никто не знал точной степени родства с ним. Попытаемся установить истину в этом вопросе.

В буквальном смысле слово «прашур» означает прямого предка в шестом колене. Таковым по отношению к Пушкину Федор Матвеевич не является, так как еще в десятом колене от Ратши разошлись ветви, к которым они принадлежали. Их общий предок — это Иван Гаврилович Пушкин, живший

¹⁵ Там же.

¹⁶ Павлищева О. С. Воспоминания о детстве А. С. Пушкина // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 1. С. 51.

в XV в. К шестнадцатому колену по одной ветви относился Федор Матвеевич, к двадцатому по другой — поэт. Федор Матвеевич приходился прапрадеду Пушкина стольнику Петру Петровичу шестиюродным братом, а ему самому, таким образом, шестиюродным прапрадедом. Таким образом, ни о каком близком родстве между «казненным» Пушкиным и поэтом речи быть не может. Лишь в условно обобщенном плане можно называть Федора Матвеевича пращуром Пушкина.

Зато интересно отметить тот факт, что детям Пушкина этот Федор Матвеевич приходился прямым пращуром по линии Наталии Николаевны, так как она была его прапраправнучкой. Дело в том, что дочь Федора Матвеевича Прасковья вышла замуж за сына гетмана Правобережной Украины Александра Петровича Дорошенко, а их дочь Екатерина, в свою очередь, за Александра Артемьевича Загряжского, деда Наталии Ивановны Гончаровой, урожденной Загряжской, матери Наталии Николаевны.

В той же степени, что и Н. Н. Пушкина, прямым потомком Федора Матвеевича был и М. Ю. Лермонтов, приходящийся, таким образом, жене Пушкина пятиюродным братом. Упомянутый выше Иван Гаврилович Пушкин также является прямым предком Лермонтова, как и Пушкина, который приходился Михаилу Юрьевичу дядей в десятом колене. Насколько известно, ни Пушкин, ни его жена, ни Лермонтов не знали об этих родственных связях.

3

«Родной брат деду моего отца...»

В именном указателе академического собрания сочинений А. С. Пушкина можно прочесть: «Пушкин, Алексей Петрович XII 314 („тамбовский всевода, родной брат деду моего отца“), 435 („Алексей Петрович“»». Первое указание отсылает нас к «〈Началу автобиографии〉», второе — к «Генеалогическому древу Пушкиных».

В незавершенной работе «〈Начало автобиографии〉» Пушкин, в частности, пишет об Осипе Абрамовиче Ганнибале: «... дед мой служил во флоте и женился на Марье Алексеевне Пушкиной, дочери тамбовского воеводы, родного брата деду отца моего (который доводится внучатым братом моей матери)» (XII, 313—314). В сложном построении этого генеалогического указания Пушкин допустил неточность, объединив два поколения разных ветвей своего рода в одно.

Дедом отца поэта был Александр Петрович Пушкин, а его родным братом Федор Петрович — не отец, как получается по Пушкину, а дед Марии Алексеевны. Следовательно, и отец поэта Сергей Львович доводился своей жене не внучатным (т. е. троюродным) братом, а троюродным дядей. Сам же Пушкин, таким образом, вследствие двойного соединения представителей одного и того же рода, приходился своей матери не только сыном, но и кузеном в четвертом колене, т. е. четверюродным братом.

Ошибка Пушкина относительно степени родства своих прадедов и родителей осталась до сих пор незамеченной и оттого явилась источником ряда неправильных указаний на этот счет в позднейшей литературе. Даже такой крупнейший исследователь творчества Пушкина, как Ю. М. Лотман, отталкиваясь от этого пушкинского текста, в своей известной биографии А. С. Пушкина пишет: «Отец и мать поэта были родственники (троюродные брат и сестра)»¹⁷.

После выхода в свет его книги, пользующейся заслуженным признанием и разошедшейся миллионным тиражом в серии, предназначенной в качестве пособия для учащихся, автору этих строк приходилось не раз доказывать истину читателям лотмановской биографии Пушкина и даже людям, никогда ее не читавшим, но услышавшим от своих учителей, друзей и т. д. о том, что родители Пушкина приходились друг другу троюродными братом и сестрой. Далее следует вопрос насчет законности такого брака. Лишь для венчания двоюродных требовалось особое разрешение Синода, а в данном случае они и вовсе лишь троюродные дядя и племянница, да еще носившие до свадьбы разные фамилии.

В «Воспоминаниях о детстве А. С. Пушкина» О. С. Павлицева, как уже отмечалось, совершенно правильно характеризует родство своей бабушки Марии Алексеевны с ее зятем Сергеем Львовичем. Л. Н. Павлицев в свою очередь сообщает, что «Сергей Львович, женившийся на внучке Ибрагима (Авраама) Петровича Ганнибала, негра Петра Великого, состоял с женой своей, Надеждой Осиповной, в родстве, так как мать ее, Марья Алексеевна Ганнибал, рожденная Пушкина, приходилась ему внучатой сестрою»¹⁸.

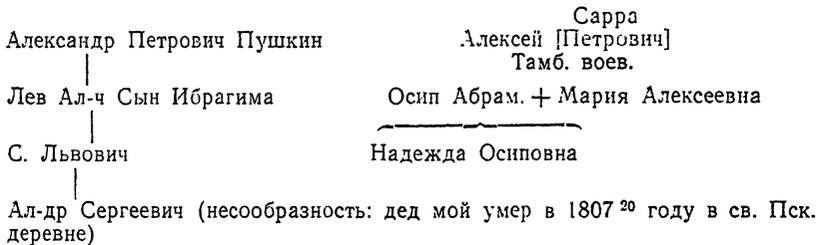
Приведенный пример показывает, что всякая попытка извлечения какого-либо факта биографии предков поэта из его произведений, не подвергнутая тщательной проверке по другим источникам (к чему он сам постоянно стремился, но не всегда

¹⁷ Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя. Л., 1981. С. 11.

¹⁸ Павлицев Л. Н. Воспоминания об А. С. Пушкине. М., 1890. С. 8.

имел к тому возможность), способна привести к закреплению ошибок Пушкина. Так, на основе неизвестного документа Пушкин составляет генеалогическую записку, дошедшую до нас лишь в копии П. И. Бартечева. Она была впервые напечатана М. А. Цявловским¹⁹ и включена в академическое собрание сочинений (XII, 437), но никогда не подвергалась критической оценке. Приведем ее полностью:

Генеалогическое древо Пушкиных



В записи отец бабушки Марии Алексеевны (1745—1818) значится братом Александра Петровича Пушкина, хотя на самом деле он приходился последнему племянником. Пушкин указывает на несоответствие возраста Осипа Абрамовича (1744—1806) и его супруги. Если следовать этой схеме, он был женат на дочери некоего Алексея Петровича, который должен был жить еще при Петре I. Пушкин, таким образом, выражает сомнение в правильности этого построения. Тем не менее, как уже говорилось, в «Начале автобиографии» он называет отца Марии Алексеевны «родным братом деду отца моего». Дело, однако, в том, что никакого Алексея Петровича в природе не существовало. Речь идет об Алексее Федоровиче и отце его Федоре Петровиче. Родной брат Александра Петровича Пушкина Федор Петрович, стольник Петра I, поручик в 1711 г., раненный в Прутском сражении и уволенный в отставку, умер в 1727 г. Жена его — Ксения Ивановна Коренева. Сын их Алексей Федорович родился в 1717 г., в 1730 г. был пажем царевны Прасковьи Ивановны, учился с 1732 по 1738 г. в Шляхетском кадетском корпусе в Петербурге, из него был выпущен прапорщиком в Первый драгунский полк, участвовал в турецкой кампании 1737—1739 гг. В 1746 г. он вышел «в отставку за

¹⁹ Из пушкинианы П. И. Бартечева: 1. Тетрадь 1850-х годов//Летописи Гос. лит. музея. 1936. Кн. 1. С. 536.

²⁰ В рукописи описка: 1707.

ранами» в чине капитана и с тех пор жил в Тамбовской губернии. Пушкин дважды называет его «тамбовским воеводой» — в «〈Начале автобиографии〉» и в приведенной генеалогической записи. По этому поводу М. Вегнер пишет: «Поэт говорил, что Алексей Федорович был тамбовским воеводой, но известие это не подтверждено»²¹. Авторы книги «Тамбовская тропинка к Пушкину» выдвигают свою версию. Найдя в книге Б. Л. Модзалевского и М. В. Муравьева «Пушкины. Родословная роспись» Петра Михайловича Пушкина по прозвищу Желтоух, который значится «... в 1653—56 гг. полковым воеводой в Козлове...», они убеждают читателя в том, что именно его имел в виду Пушкин, так как г. Козлов относится к Тамбовской губернии²². При этом они опираются на мнение того же М. Вегнера, что Пушкин часто «находился во власти неверных представлений»²³.

В 1979 г. лицепкий краевед Н. В. Марков предпринял еще одну попытку «реабилитации» Пушкина в вопросе о тамбовском воеводстве его прадеда. В липецком архиве им было обнаружено дело 562 от 14 декабря 1772 г. о беглых поляках Анисиме Фроловиче Лодрего и Козьме Григорьевиче Роскольском. Первый из них был привезен на Тамбовщину отставным карабинером Иваном Кузьминым из села Покровского, принадлежавшего А. Ф. Пушкину и сыну его Юрию Алексеевичу. В 1772 г. поляки бежали из Покровского, считая себя вольными, в то время как Ю. А. Пушкин числил их крепостными. Показание по этому поводу Анисима Фроловича Лодрего частично приводит Н. В. Марков: «... служивший в том полку карабинер Иван Кузьмин, а прозвания не знает, из того местечка взял меня, Анисима, но неимению у меня отца и матери за сиротство по желанию моему и по отставке одного карабинера из полку по приезде бывшего Сокольского уезду в село Покровское, где им, Кузьминым, и отдан по неимению у него, Кузьмина, к содержанию меня, Фролова, в пропитании, так же и собственного дома выше упомянутому Юрья Алексею сыну Пушкину; отцу Алексею Федорову сыну Пушкину, которому от меня, Фролова, и подано в имяречную бывшей Сокольской воеводской канцелярии желательная челобитная». Н. В. Марков считает, что «желательная челобитная» подана в Сокольскую воеводскую канцелярию воеводе ее А. Ф. Пушкину, а «раз город Сокольск на тамбовской земле, то прав Пушкин, называя

²¹ Вегнер М. Предки Пушкина. С. 189. Подчеркнем еще раз, что Пушкин не называет отчества своего прадеда, но считает его «Петровичем».

²² Гордеев Н., Пешков В. Об одной ошибке поэта//Гордеев Н., Пешков В. Тамбовская тропинка к Пушкину. Воронеж, 1969. С. 7—14.

²³ Вегнер М. Предки Пушкина. С. 7.

прадеда тамбовским воеводой»²⁴. Газета «Литературная Россия» в лице С. Ф. Панюшина поддержала липецкого краеведа, сделав его находку уже общероссийским достоянием²⁵. Безусловно, обнаружение дела, где упоминаются имена предков поэта, представляет интерес, но вывод о «тамбовском воеводстве» А. Ф. Пушкина представляется сомнительным. Если канцелярский оборот XVIII в. перевести на современный язык, то станет ясно, что Анисим Фролов подавал прошение в сокольскую воеводскую канцелярию о том, что он желает жить в доме А. Ф. Пушкина, отца Юрия Алексеевича. В том случае, если бы А. Ф. Пушкин действительно состоял пусть не тамбовским воеводой, а хотя бы сокольским в Тамбовской губернии, то какие-либо документы, связанные с его деятельностью, давно были бы обнаружены.

Остается предположить, что отставного капитана и тамбовского помещика, каким был на самом деле А. Ф. Пушкин, семейные предания превратили в тамбовского воеводу.

4

«Первый андреевский кавалер»

Пушкин дважды — в «Начале автобиографии» и в «Опровержении на критики» — почти дословно повторяет: «Прадед мой, Александр Петрович был женат на меньшей дочери графа Головина, первого андреевского кавалера» (XII, 311) и «Прадед мой был женат на меньшей дочери адмирала гр.<афа> Головина, первого в России андреевского кавалера и проч.» (XI, 161). В кратком этом сообщении допущены три ошибки. Прадед Пушкина действительно был женат на Евдокии Ивановне Головиной, дочери любимца Петра I адмирала Ивана Михайловича Головина, но она была его старшей дочерью, а сам он никогда не был ни графом, ни андреевским кавалером вообще, не говоря уж о первом в числе награжденных этим высшим российским орденом. Чем же объясняются пушкинские ошибки и нет ли здесь осознанного стремления ввести в заблуждение своего читателя? Прежде всего следует отметить, что обе процитированные работы не были завершены Пушкиным и увидели свет только после его смерти. «Опровержение» было написано в Болдине в сентябре—октябре 1830 г. Именно здесь, в наследствен-

²⁴ Марков Н. В. Сокольский воевода А. Ф. Пушкин // Ленинец. 1979. 19 мая.

²⁵ Панюшин С. Ф. Прав поэт // Лит. Россия. 1979. 1 июня.

ном пушкинском имени, воплотился замысел статьи, зревшей давно как ответ на постоянные оскорбительные печатные выпады Ф. В. Булгарина. Под рукой у Пушкина могли оказаться какие-то документы фамильного архива, а в памяти держались давние, осененные традицией семейные предания. Атмосфера родового гнезда, впервые увиденного поэтом, способствовала обращению к истории предков, как некогда возвращение в ганибаловскую вотчину в 1827 г. привело к созданию семи глав незавершенного романа «Арап Петра Великого».

Учитывая незавершенность как «Опровержения», так и «(Начала автобиографии)», можно предположить, что очевидные ошибки, в них допущенные, Пушкин, готовя эти произведения к печати, несомненно устранил бы — во всяком случае две из трех: относительно «графства» и «кавалерства» И. М. Головина. Доказательством может служить то, что уже в «Истории Петра Великого», многократно называя графом генерал-адмирала и генерал-фельдмаршала Федора Алексеевича Головина, двоюродного брата своего прапрадеда, Пушкин исправляет ошибку своих набросков. Ф. А. Головин первым получил в России чин генерал-фельдмаршала и стал первым кавалером ордена Св. Андрея Первозванного в день его учреждения 10 марта 1699 г. Родной прапрадед поэта также был адмиралом, главным корабельным мастером, участником Гангутского сражения, входя в число ближайших сподвижников Петра. Но высшая из его наград — это орден Св. Александра Невского, полученный им из рук Екатерины 21 августа 1725 г. Семейственные предания, как видно, соединили в одно лицо двух Головиных.

Что же касается еще одной ошибки Пушкина, источником которой является «семейный родословец», то в ней сказалось традиционное пренебрежение к фактам биографий жен и дочерей представителей нашего дворянства, своеобразный, можно сказать, «домостроевский комплекс», которым страдают даже известнейшие русские родословные книги.

У Ивана Михайловича Головина было помимо двух сыновей три дочери — Евдокия, Наталия и Ольга. Указываются они обыкновенно именно в такой последовательности, что говорит о том, что прабабка поэта была старшей из сестер. Во всяком случае Н. К. Телетова доказала, что Ольга (в замужестве Трубецкая) была младше сестры Евдокии²⁶. Относительно Наталии известно лишь, что она стала второй женой генерал-поручика кн. Константина Антиховича Кантемира, сына господаря мол-

²⁶ Телетова Н. К. Забытые родственные связи А. С. Пушкина. Л., 1981. С. 9—10.

давского кн. Антиоха Константиновича, умершего в 1726 г.²⁷ М. Вегнер в своей книге «Предки Пушкина» допускает досадную ошибку, называя кн. К. А. Кантемира «сыном известного сатирика»²⁸, хотя последний был бездетен и приходился кн. Константину двоюродным братом.

Ошибки, допущенные Пушкиным относительно своего прапрадеда Головина, несомненно имеют семейный источник. Эти заблуждения разделяет с братом и более осведомленная в своем родословии Ольга Сергеевна. В «Родословной», составленной с ее слов, обозначена с опиской «графиня Головкина» вместо «Головина», да еще в качестве жены Льва Александровича, а не его отца²⁹. Ошибка была исправлена: Л. Н. Павлищев со слов матери указывает в своих «Воспоминаниях» относительно Александра Петровича: «Женат был на графине Головиной»³⁰.

Впервые материалы о Головиных были собраны П. С. Казанским и напечатаны в 1847 г., так что Пушкину они не были известны. В них правильно указывается, что дочь И. М. Головина Евдокия Ивановна была замужем за Александром Петровичем Пушкиным»³¹.

5 .

«Тайцы, принадлежавшие некогда Ганнибалу»

Следует, вероятно, окончательно развеять еще одну легенду, возникновение которой связано с именем Пушкина. В своем дневнике за 1834 г. он делает 2 июня запись: «Вчера вечер у К(атерины) А(ндреевны). Она едет в Тайцы, принадлежавшие некогда Ганнибалу, моему прадеду» (XII, 330). В «Начале автобиографии» поэт пишет, что Елизавета, вступив на престол, пожаловала прадеду «несколько деревень в губерниях Псковской и Петербургской, в первой Зуево, Бор, Петровское и другие, во второй Кобринно, Суйду и Тайцы...» (XII, 313). Относительно псковских владений Пушкин пишет совершенно

²⁷ Лобанов-Ростовский А. Б., кн. Русская родословная книга. СПб., 1873. Т. 2. С. 51—52.

²⁸ Вегнер М. Предки Пушкина. С. 179—180.

²⁹ Родословная А. С. Пушкина, составленная со слов сестры его О. С. Павлищевой в Санкт-Петербурге 26 октября 1851 г. Н. И. Павлищевым//Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855. Т. 1. С. 435.

³⁰ Павлищев Л. Н. Воспоминания об А. С. Пушкине. С. 200.

³¹ Казанский П. С. Село Новоспаское, Деденево тож, и родословная Головиных, владельцев оногo. М., 1847. С. 131.

правильно. Во Всероссийском музее Пушкина хранится жалованная грамота, подписанная Елизаветой 12 января 1742 г. на «пригорода Воронича Михайловскую губу». Петербургские же владения были то, что называется «благоприобретенные» или, как именует их сам Абрам Петрович в своем «Завещании», составленном в 1766 г., «присовокупленные»³².

В «Воспоминаниях П. А. Ганнибала» прямо указано: родители с 1762 г. «жили в купленной отцом моим деревне, отстоящей от С.-Петербурга 55-ти верстах, Ингерманланде в мызе Сюйде, где и погребены в оной церкви, при селе находящейся»³³. Знакомство Пушкина с этим документом несомненно, он сохранился в бумагах поэта. Изобилующие ошибками, незначительные как по содержанию, так и по объему, «Воспоминания», однажды прочтенные Пушкиным, были в дальнейшем скорее всего преданы забвению. Зато такой документ, как «Немецкая биография» А. П. Ганнибала, к которой Пушкин не раз обращался, начиная с «Арапа Петра Великого», мог вызвать у него заблуждение по поводу происхождения петербургских имений. В нем Суйда именуется «главным имением» прадеда, а указание на то, что оно не является родовым, отсутствует.

Первые история приобретения земель под Петербургом была исследована и описана Н. К. Телетовой³⁴. Первым владельцем Таиц при Петре I стал прапрадед Пушкина Иван Михайлович Головин. При нем были только одни Таицы. При его сыне и наследнике адмирале Александре Ивановиче Головине, родном брате прабабки Пушкина Евдокии Ивановны, образовались уже Большие и Малые Тайцы. Он скончался в 1766 г., продав незадолго до смерти свои владения в разные руки: Большие Тайцы — А. Г. Демидову, а Малые — А. П. Ганнибалу. После него Малые Тайцы перешли к младшему его сыну Исааку Абрамовичу. Рядом с большим селением выросла Таицкая мыза с великолепным домом, построенным архитектором, И. Е. Старовым, и парком. Большие Тайцы стали называть просто Тайцами, как именуются они и ныне. Именно здесь снимали дачу Карамзины. Носят прежнее свое название и Малые Тайцы, хотя никаких следов былой деревянной ганнибаловской усадьбы в ней не сохранилось. К сожалению, до сих пор в изданиях, посвященных истории с. Тайцы, повторяется утверждение, что

³² Завещание А. П. Ганнибала//Телетова Н. К. Забытые родственные связи А. С. Пушкина. С. 152.

³³ Воспоминания П. А. Ганнибала//Там же. С. 173.

³⁴ Телетова Н. К. Ганнибалы — предки А. С. Пушкина; Ганнибалы под Петербургом//Белые ночи. Л., 1978. С. 278—292.

оно принадлежало прадеду поэта Ганнибалу. Например: «Это усадьба Тайцы, в середине XVIII века принадлежавшая А. П. Ганнибалу» — далее приводится в доказательство цитата из «Начала автобиографии» (см. выше)³⁵. Так принятая на веру пушкинская фраза приводит к цепочке ошибок. Один из авторов заметок о Тайцах пишет, например: «Название „Тайцы“ освящено пушкинским словом»³⁶. Относиться к пушкинскому слову надо, конечно, с уважением, но не во всех случаях безоговорочным. Да, действительно, Пушкин дважды упомянул это селение, но оба раза, как оказалось, в ошибочном контексте. Впредь, комментируя название «Тайцы» в сочинениях Пушкина, следует непременно указывать, что село принадлежало не прадеду Пушкина А. П. Ганнибалу, а прапрадеду И. М. Головину, также «птенцу гнезда Петрова».

*
* * *

Анализ ошибок, которые допустил поэт в обращениях к истории своего рода, позволяет сделать несколько выводов. Прежде всего эти ошибки в той или иной форме восходят к фамильным преданиям, и из них восприняты Пушкиным. Вместе с тем, если некоторые из них являются достоянием только семейной традиции Пушкиных, то убеждение в том, что Ратша служил Александру Невскому, разделяли и представители других родов, от него берущих свое начало. В этом вопросе Пушкин оказался в плену характерного родового творчества. Безусловно, что пушкинские автобиографические статьи, записки, а тем более художественные произведения не должны, как мы это зачастую наблюдаем в популярной литературе, использоваться в качестве источников, не подлежащих критике.

Послепушкинские историко-генеалогические изыскания внесли ясность в изучение многих проблем, которые занимали Пушкина и разрешить которые он не имел возможности по недостатку документальных данных. Но характерное для Пушкина стремление к постижению истины в его обращениях к истории собственного рода было ограничено не только объективным фактором отсутствия надежных источников. Эти обращения по

³⁵ Гришина Л. И., Файнштейн Л. А., Великанова Г. Я. Памятные места Ленинградской области. Л., 1973. С. 200. См. также: Белехов Н., Петров А. И. Е. Старов. Л., 1950; Гоголицын Ю. М., Иванова Т. М. Архитектурная старина. Л., 1970; Кючарианц Д. А. Иван Старов. Л., 1982. С. 125.

³⁶ Кючарианц Д. А. Иван Старов. С. 125.

большей части остро полемичны и носят в определенном смысле тенденциозный характер. Уже самый выбор персонажей из истории своего рода определен концовкой плана части статьи «Опровержение на критики»: «Гонимы. Гоним и я» (XI, 388). Идеи защиты чести поэта и дворянина сливаются у Пушкина в единое целое, поэтому он писал в уже цитированном письме К. Ф. Рылееву: «Мы не можем подносить наших сочинений вельможам, ибо по своему рождению почитаем себя равными им. Отселе гордость etc» (XIII, 219). Погружая читателя в историю своего рода, Пушкин формирует в его сознании четко очерченный образ поэта оппозиционного и независимого, верного традициям своих предков. Таким образом, с одной стороны, «небольшой багаж генеалогических познаний дворянина средней руки», с другой — глубоко осознанное чувство достоинства поэта определяют уровень мифологизации, которую допускает Пушкин в отношении истории своего рода.



Н. К. Телетова

О МНИМОМ И ПОДЛИННОМ ИЗОБРАЖЕНИИ А. П. ГАННИБАЛА

Очень темный портрет, выдаваемый за изображение прадеда Пушкина Ганнибала, встречает с довоенных времен всех, кто приходит в музей поэта на набережной Мойки, 12. Чем темнее с годами становится портрет, тем большее почтение вызывает он у посетителей. Уже затруднительно рассмотреть не только ордена на мундире, но даже и сам мундир, его цвет и шитье.

К портрету в музее привыкли все — и сотрудники, и посетители. Европейские черты изображенного на нем лица никого не смущают. Как старая «намоленная» икона скорее ассоциируется с образом святого, чем его запечатлевает, так и этот «арап Петра Великого» воспринимается скорее как символ, свидетельствующий о своей эпохе, а не как портрет реального

лица. Между тем именно попытка взглянуть на портрет как на изображение *реального лица* приводит к совершенно иным выводам, связанным с его атрибуцией.

Абрам Петрович Ганнибал, прадед великого поэта, был родом из Эфиопии. Его экзотическая внешность, черная кожа явились, собственно, причиной привоза ребенка в Россию: подобно другим европейским монархам, Петр I хотел иметь близ себя черного мальчика-слугу — украшение императорского двора.

Как выглядел этот эфиоп — сначала ребенок, затем почтенный муж и старец, скончавшийся в возрасте около восьмидесяти пяти лет?

Восстановить внешность Абрама Ганнибала в определенной мере помогал портрет его старшего сына Ивана кисти Д. Г. Левицкого, представленный в галерее владимирских кавалеров Гатчинского дворца. Но сын — не отец, и желтоватая кожа почтенного кавалера давала лишь повод для размышлений о внешности отца.

Пушкин знал, что матерью Ивана Абрамовича была северянка — шведка Христина-Регина Шеберг, и это не могло не сказаться на чертах лица и цвете кожи его сына. (В России прабабушку поэта звали Крестина Матвеевна Шеберх. Была она родом из отвоеванной Петром I Прибалтики, умерла за два месяца до смерти мужа, в 1781 г.)¹

После гибели Пушкина, уже во второй половине прошлого века, интерес ко всему, что было связано с великим поэтом, стал возрастать, а одновременно с этим росло и стремление отыскать изображение знаменитого «арапа».

Первая попытка была сделана в 1861 г. В. В. Стасовым. В своей публикации он обращает внимание на редчайшую гравюру, изображавшую Петра I с арапчиком². Но его открытие не придали значения: считалось, что Абрама-Ибрагима привезли в Россию позже, чем была создана эта гравюра.

Затем в 1872 г. на выставке портретов Петра было представлено полотно XVIII в., на котором император был изображен с арапом³, но и оно не привлекло внимания пушкинистов.

В 1880 г. в связи с открытием в Москве памятника А. С. Пушкину состоялась выставка портретов поэта, его родных, друзей и даже врагов. Для обозрения были представлены два почти одинаковых изображения наваринского героя И. А. Ганнибала работы неизвестного мастера. Принадлежали

¹ Шведское дворянство и герб получил в 1668 г. дед Христины Матвеевны Отто Шеберг.

² См.: Стасов В. В. Арап Петра I и калмык Екатерины II // Стасов В. В. Собр. соч. СПб., 1894. Т. I. С. 67—71.

³ Портрет петровского времени: Каталог выставки. Л., 1973. С. 141.

они тогда сыну Льва Сергеевича Пушкина Анатолию и Анастасии Сергеевне Перфильевой — наследнице адмирала Спиридова, друга Ивана Абрамовича. Обнаружилась и табакерка с изображением генерал-поручика И. А. Ганнибала. Она поступила от Надежды Николаевны Панэ, дочери Ольги Сергеевны Павлицевой. Нет сомнения, что к Н. Н. Панэ она попала от бабушки Надежды Осиповны, крестницы своего дяди Ивана. Говорили, что есть портреты и других дедов поэта — Петра, Исаака и самого Иосифа (Осипа). Но конкретных сведений об этих портретах нет.

Особенно заинтересовал тогда всех предполагаемый портрет прадеда, впервые представленный для обозрения на этой выставке.

Вскоре после этого был выпущен «Альбом Московской Пушкинской выставки» под редакцией известного педагога Л. И. Поливанова⁴.

Комментарий к фотографиям и портретам, воспроизведенным в альбоме, отличался, как отмечала критика, произвольностью. В нем много места уделялось переписке, связанной с портретом, который демонстрировался как новонайденное изображение А. П. Ганнибала. Переписка велась между Л. И. Поливановым, устройтелем выставки и редактором альбома, и бароном Ф. А. Бюлером, директором архива Министерства иностранных дел, представившим портрет на выставку.

Некоторые основания считать этот портрет изображением «арапа» у директора архива были. Темный колорит всего портрета переходил в блекло-коричневый цвет кожи сурового, почти мрачного лица. Темноватая кожа этого важного военного дала первый толчок догадке — не арап ли Петра Великого представлен здесь?

Еще до Бюлера, Поливанова и широкой публики, обозревавшей этот портрет впервые в 1880 г., соображения такого рода явились и у одного из его прежних владельцев, сделавшего на обороте надпись, на которую вполне мог сослаться Бюлер: «Анибал, генерал-аншефа, на 92-м году от рождения». Что портретируемый много моложе, ясно при первом же взгляде. Возраст неверен. Почему же считать верным имя? Примечательны на этот счет слова того же Бюлера: «Многие высокопоставленные лица, посещавшие архив, признавали в нем портрет одного из предков Пушкина, что и побудило сделать под рамою надпись „Иван Абрамович Ганнибал“»⁵. Не отец, так сын, лишь бы от-

⁴ Альбом Московской Пушкинской выставки 1880 года/Под ред. Л. Поливанова. М., 1882.

⁵ Там же. С. 11.

нести неведомого непременно к пушкинским предкам, тем более что так хотелось «высокопоставленным лицам».

Впрочем, в Департамент герольдии делался запрос: какие ордена имел Иван Абрамович Ганнибал? Ответ был точен: он награждался четырьмя российскими орденами, однако высшего — ордена Андрея Первозванного — никогда не имел. Грудь же неизвестного украшена звездами этого ордена. Не было у Ивана Абрамовича и звезды Георгиевского ордена (2-й степени), украшающей мундир военного на портрете.

Ни Бюлер, ни Поливанов не нашли нужным пойти по столь простому, но трудоемкому пути: определить по мундиру и орденам (самым высоким), кто может быть изображен на портрете. Вопрос был порядочно запутан тем же Бюлером, который не только не знал, по какому роду войск служил Абрам Петрович, но и считал, что портрет неизвестного может быть вариантом портрета его сына, Ивана Абрамовича, выполненного Левицким, который с таким удивительным умением передал характерные «арапские» черты лица. Очевидно, Бюлер не видел портрета Левицкого, не имеющего ничего общего с интересовавшим его изображением (на выставке 1880 г. этот портрет представлен не был).

Несколько поколебавшись, устроители выставки сняли поставленную было надпись на раме «Иван Абрамович Ганнибал» и заменили ее первоначальной, подсказанной надписью на обороте, — «Абрам Петрович Ганнибал», впрочем, со знаком вопроса.

Успех портрета был велик, и вопросительный знак был убран как досадная помеха. Кем является мрачный узколицый военный — выяснение этой истины было отодвинуто в сторону: слишком велико было желание подыскать хорошее, ясное, писанное масляными красками изображение прадеда великого русского поэта.

Именно тогда, в 1880 г., и родилась легенда, упрочившаяся за сто лет своего существования.

Сохранилось примечательное свидетельство тех лет: дневник А. О. Смирновой-Россет, подделанный и изданный ее дочерью Ольгой Николаевной. Дочь приятельницы Александра Сергеевича сочла возможным приписать своей матери воспоминания о якобы виденном той в Петергофском дворце портрете Ганнибала. Опираясь на новейшие данные об абиссинском (эфиопском) происхождении прадеда поэта, а также на свое впечатление от портрета на выставке 1880 г., О. Н. Смирнова замечает (от имени матери) о внешности Пушкина: «В нем нет ничего негритянского. Воображают, что он непременно должен походить на негра, потому что его предок Ганнибал — негр».



Неизвестный художник
Портрет И. И. Меллера-Закомельского до «реставрации»
(Пушкин. Сочинения/Под ред. С. А. Венгерова. СПб.: Изд-во Брокгауза-
Ефрона, 1907. Т. I. С. 17)



Неизвестный художник

Портрет И. И. Меллера-Закомельского после «реставрации»
(Всероссийский музей А. С. Пушкина. Фотография 1960-х гг.)

(Я видела его портрет в Петергофе.) Но Ганнибал не негр, а абиссинец; у него были правильные черты, лицо длинное и сухое, выражение жесткое, но интеллигентное»⁶. Так описала О. Н. Смирнова свое личное впечатление от портрета на Пушкинской выставке, отнюдь не заботясь о том, что этот портрет явно никогда не бывал в Петергофе и, уж конечно, не был известен не только ее матери, но и самому Пушкину, чьи описания внешности прадеда совершенно противоречат строкам Смирновой-дочери.

В 1898 г. в Москве был выпущен альбом под названием «Московский главный архив Министерства иностранных дел. Портреты и картины, хранящиеся в нем». В этом альбоме портрет так называемого А. П. Ганнибала отсутствовал, однако его описание было приведено. Оно невежественно и поражает своей подтасованностью. Примечательно указание на то, что портрет изображает негра. Очевидно, решили посчитаться с мнением А. С. Пушкина, не доверять которому не было никаких оснований. Поэт всегда считал своего прадеда чернокожим. В данном вопросе он не мог ошибаться, ведь Мария Алексеевна, бабушка Александра Сергеевича, отлично знала своего свекра и в рассказах внуку, конечно, на этой экзотической подробности должна была остановиться. Знала старого барина и воскресенская крестьянка Арина Родионовна, вероятно делившаяся своими воспоминаниями с поэтом.

И в «Арапе Петра Великого», и в шуточной строке о себе «потомок негров безобразный (II, 139), и в «Моей родословной» («черный дед мой Ганнибал» — III, 263) поэт без колебаний говорит об эффектной внешности своего предка — черной коже, вьющихся, «шерстистых» волосах.

Итак, в описании 1898 г. указывается, что на портрете из архива изображен негр. Однако с негром у этого андреевского кавалера нет ничего общего. Путаница начала XIX в., допустимая во времена Пушкина, теперь уже непростительна.

Посмотрим на портрет без предвзятости. Постараемся определить, кто же в действительности на нем изображен.

Начнем с качества выполнения портрета. Довольно хорошо выписанное лицо с оборотом три четверти. Уложенные «под парик» волосы цвета воронова крыла. В то же время плечи и грудь, изображенные крайне неумело, в фас, словно из дерева точенные, доделывались, очевидно, другим, неискusstным художником, не видевшим к тому же перед собой натуры. Художник, заканчивавший портрет, явно не владел мастерством того, кто

⁶ Записки А. О. Смирновой: (Из записных книжек 1826—1845 годов). СПб., 1895. С. 17.

начинал работу: неестественный поворот тела, отсутствие моделировки — все обличает здесь неумение, поспешность, незавершенность.

«Одет в красный мундир с черным бархатным воротником; по бортам золотое шитье; Андреевская лента, звезды: Андреевская и Георгиевская; Георгиевский крест на шее»⁷, — таково описание портрета в альбоме 1898 г. Добавим: звезды свидетельствуют о чрезвычайно высоком воинском отличии.

У А. П. Ганнибала тоже было два ордена, но Анны и Александра Невского. Первый был получен, как удалось установить автору этих строк, между 6 февраля 1748 и 24 августа 1749 г., второй — 30 августа 1760 г.

Посмотрим списки кавалеров ордена Андрея Первозванного, выберем из них тех, кто имел также Георгия 2-й степени. Проверим список из десятка лиц «на мундир» (мундир, изображенный на портретируемом, носился между 1764 и 1797 гг.) — нам нужен генерал-аншеф (полный генерал), так как шитье, состоящее из четырех «кос», сплетенных из листьев, точно на это указывает. Наконец, алый с золотом мундир говорит нам, что этот генерал был артиллеристом (А. П. Ганнибал был инженером и имел серебряное, а не золотое шитье). Полный генерал, генерал-аншеф, притом артиллерист, в XVIII в. мог стать генерал-фельдцейгмейстером⁸, т. е. главным артиллеристом в государстве.

Следовательно, нужно отыскать полного генерала, может быть, генерал-фельдцейгмейстера, кавалера орденов Андрея Первозванного и Георгия 2-й степени. Путь трудный и, главное, мучит неуверенность: а вдруг список неполный, вдруг кто-то забыт? А если было несколько человек, подходивших под все три условия и живших в последние десятилетия XVIII в.?

Есть еще один способ: проверить наличие ордена Владимира 1-й степени, который носился при любых высших орденах, — на груди нашего героя его нет. (Ордена Анны и Александра Невского при Андрее Первозванном не носились.)

Орден Георгия давался только за боевые заслуги, 2-я же степень позволяет назвать неизвестного крупным военным деятелем, более того — несомненным победителем в каком-то решающем бою.

Серьезным претендентом на портрет оказывается Петр Иванович Олитц, полный генерал. Олитц погиб в бою при взятии крепости Журжа в 1771 г., во время первой турецкой войны.

⁷ Орден имел четыре степени. 3-я и 4-я — крест на груди без звезды; 2-я — звезда и крест; 1-я — звезда и крест на ленте через правое плечо.

⁸ Feldzeugmeister — мастер полевых орудий (нем.).

Ордена Владимира тогда еще не существовало, генерал был кавалером орденов Андрея Первозванного и Георгия 2-й степени; второй орден, правда, был пожалован ему через пять дней после смерти, о которой в Петербурге еще не знали. Но предположение о «дописывании» ордена уже на готовом портрете только что погибшего рассыпается в прах: после долгих разысканий удастся установить, что П. И. Олиц был не артиллеристом, а пехотинцем, т. е. должен был носить зеленый мундир.

Снова пересматриваем список. Он невелик: И. П. Салтыков, А. А. Прозоровский-сын, И. В. Гудович, И. И. Меллер-Закомельский. Все четверо — полные генералы, кавалеры орденов Андрея Первозванного и Георгия 2-й степени; о младших орденах и говорить не стоит. Стало быть, нужно только установить, по какому роду войск служат эти последние «претенденты», и один (а вдруг два?) — искомый — будет установлен. Первым отпадает И. П. Салтыков — и портрет его нам известен, и служил он по кавалерии. Отпадает и А. А. Прозоровский-сын: он командовал пехотой и ничуть не похож на нашего незнакомца. Портреты И. В. Гудовича — их нашлось даже несколько — представляют нам узколицевого серьезного человека, но черты лица его ничем не напоминают так называемого Ганнибала, к тому же он служит также по пехоте.

Остается один — последний. Это барон Иван Иванович Меллер-Закомельский, кавалер всех российских орденов, портрета которого, как казалось, не существует. (Д. Н. Бантыш-Каменский, давая жизнеописания замечательных людей земли Русской в 1836 г., не имел возможности проиллюстрировать очерк о Меллере каким-либо его изображением.) Он оказывается артиллеристом, генерал-фельдцейгмейстером, назначенным на должность (но не получившим звания). «Соперников», т. е. полных генералов с теми же орденами и служивших по тому же роду войск, у Меллера нет.

А как же быть с орденом Владимира 1-й степени? У Меллера он был, пожалован в 1785 г., за несколько лет до двух высших орденов, изображенных на портрете. Остается одно объяснение: отсутствие третьей звезды — Владимирского ордена — было упущением художника. Быть может, портрет обрезан снизу — но ниже Андреевской ленты звезда располагаться не могла, а лента на портрете отмежевала пространство, на котором укреплялись орденские звезды.

Робкие предположения, что А. П. Ганнибал заказал свой портрет с орденами, которых не имел, не подлежат даже обсуждению: это преступление, к тому же достойное осмеяния, — самые высокие ордена государства и их кавалеры были всем известны. Вспомним и то, что Ганнибал в нескольких письмен-

ных документах всегда точно указывал, что он «ордена святого Александр Невского и святых Анны кавалер».

Все последующие проверки списка «претендентов» на портрет приводят к тому же имени — И. И. Меллер.

Теперь попытаемся понять, почему так разнятся изображения головы и верхней части туловища, а также почему этот лютеранин, обрусевший немец, простолудин, выслуживший дворянство, чины и ордена военными заслугами перед новым своим отечеством, имеет столь темный цвет лица? Эти два вопроса можно разрешить, обратившись к биографии И. И. Меллера.

Родился Меллер в 1728 г. (по другим данным — в 1725); в службу вступил каноником в 1740 г. О дальнейшей его жизни сведения можно получить из «Военной энциклопедии», Гербовника, «Словаря достопамятных людей Русской земли» Д. Н. Бантыш-Каменского. В последнем читаем: в 1775 г. «Меллер, заведывая Ладожским каналом, управлял всею артиллериею в государстве, вместо кн. Орлова (Григория Григорьевича. — *Н. Т.*), который устранил себя от двора и от службы». В 1783 г. Меллер стал полным генералом. «Он при взятии штурмом Очакова (1788) предводительствовал двумя колоннами Российской армии, действующими на левом крыле. Тогда, в пылу приступа, полководец сей лишился одного из достойных сыновей своих (второго, Карла. — *Н. Т.*), подававшего самые лестные надежды. Императрица удостоила заслуженного воина наградами — орденами Св. Апостола Андрея Первозванного и Св. Георгия 2-го класса, и во уважение отличных заслуг его возвела в баронское достоинство Российской империи, с наименованием Меллер-Закомельским»⁹. (Титул барона Меллер получил 30 июня 1789 г., а 16 мая 1790 г. — земли в Полоцкой губернии, войтовстве Закомельском, давшие ему право на двойную фамилию, закрепленную за родом.) 6 октября 1790 г. при взятии турецкой крепости Килии он был смертельно ранен и скончался 10 октября 1790 г., оставив вдову и семерых взрослых детей. Похоронили его, как и убитого сына, в Херсоне.

Итак, И. И. Меллер — воин, артиллерист, управляющий артиллерийским корпусом в России, погибший в бою.

Портрет, безусловно, создавался на юге в 1790 г., в последний год жизни Меллера. Доказательством тому оба высоких ордена, полученные: Георгий 2-й степени — 16 декабря 1788 г., Андрей Первозванный — 9 ноября 1789 г., за одиннадцать месяцев до гибели.

⁹ Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей Русской земли. М., 1836. Т. 3. С. 302—304.

«Военная энциклопедия» называет Меллера «героем второй турецкой войны»¹⁰ (1787—1791). Нет сомнения, что война эта началась для него в 1787 г., а закончилась смертельным ранением. Таким образом, Меллер находился в действующей армии на юге более трех лет. Полевая жизнь у берегов Черного моря, под южным солнцем, отразилась на внешности генерала: темный загар покрыл лицо. Темные брови и пронзительно мрачный взгляд черных глаз оттеняются волосами цвета воронова крыла. Общее впечатление смуглости при европейском, однако, типе лица.

Кто мог быть автором портрета, написанного не только в дни войны, но и в походных условиях? Видимо, кто-то из местных, южных художников — украинец, грек, румын, что должно было сказаться на манере письма. К сожалению, в собраниях Кишинева или хотя бы в репродукциях картин из музеев других городов не удалось найти образцов портретной живописи конца XVIII в., созданной на территории освобождаемой в то время от турок Румынии, чтобы иметь представление о манере местных художников. Однако в музее Одессы есть современное интересующему нас портрету изображение казаков, написанное запорожским художником-самоучкой. Эти два казака, посланники ко двору Екатерины II, поражают почти неестественно смуглым цветом кожи. Дело специалистов проанализировать состав красок. Известно, что асфальта, употреблявшаяся в живописи в конце XVIII в., приводила вскоре к потемнению всего колорита портрета.

Как видим, первое смущавшее обстоятельство в определении портретируемого может быть устранено: смуглый цвет лица Меллера объясним. Остается второе: различные манеры в изображении лица и верхней части туловища, а также отсутствие ордена Владимира.

Выше уже говорилось, что лицо писано с натуры, а грудь словно бы небрежно пририсована. Корпус неестественен в повороте.

Очевидно, что портрет дописывался после гибели Меллера, кое-как; доделывал его, скорее всего, ученик художника. О двух орденах, очень высоких и полученных, вероятно, на глазах художника (художников), было известно. Их и изобразили на груди, как изобразили и памятный еще мундир генерал-аншефа, фельдцейгмейстера. Об ордене Владимира 1-й степени, полученном Меллером еще перед войной, видимо, просто забыли. Его отсутствие можно объяснить только тем, что портрет заканчивали после смерти заказчика.

¹⁰ Военная энциклопедия. СПб., 1914. Т. 15. С. 254

До 1880 г. о портрете не было известно решительно ничего. Когда он появился на Пушкинской выставке, выяснилась его скучная история.

В архив Министерства иностранных дел, где он и находился до 1917 г., портрет попал после смерти князя Михаила Андреевича Оболенского, собирателя картин, археографа, скончавшегося в 1873 г. К Оболенскому он перешел от «антиквара Юни»¹¹. Однако, разыскивая «ход» портрета, удалось установить, что лютеранин и обрусевший немец (как и Меллер) Василий Александрович Юни (1776—1857) никогда не был антикваром. Этот коренной москвич и знаток Москвы, сын офицера Преображенского полка имел почтенный чин статского советника, жил в собственном доме на Покровке и владел несколькими случайными портретами, среди которых было и изображение военного в артиллерийском мундире с высокими орденами.

По свидетельству неизвестного лица¹², Юни утверждал, что на портрете изображен прадед Пушкина, с чем, видимо, не соглашался Оболенский, считавший (еще до Бюлера и Поливанова), что портрет передает черты Ивана Абрамовича, т. е. сына, а не отца.

Решаясь расстаться с портретом, восьмидесятилетний Юни, чтобы все-таки настоять на своем, мог написать на холсте сзади слова, оказавшиеся роковыми на сто лет: «Аннибал, генерал-аншефа, на 92-м году от рождения». Те, кто видел эту надпись, исчезнувшую при дублировке портрета в 1936 г., утверждали, что сделана она была коряво, словно дрожащей рукой, что вполне согласуется с изложенным.

Откуда Юни знал об этом баснословном возрасте Ганнибала, не соответствовавшем истине, но не расхоронившемся с ошибочными сведениями, известными Пушкину?

Еще в 1825 г., при первом издании главы первой «Евгения Онегина», Пушкин поместил к ее строфе L обширное примечание, в следующих изданиях им опущенное. В частности, о своем прадеде поэт сообщает: «А. П. Анниб.⟨ал⟩ умер уже в царс.⟨твоевание⟩ Ек⟨атерины⟩, уволенный от важных занятий службы, с чином Генер⟨ал⟩-Аншефа, на 92 году от рождения» (VI, 655). Не меняя падежа, Юни цитирует эти слова Пушкина на обороте портрета: «Аннибал ⟨...⟩ генерал-аншефа, на 92-м году от рождения».

Когда была сделана запись? Думается, что после 1855 г., когда одновременно вышли из печати статья П. И. Бартенева

¹¹ Анучин Д. Н. А. С. Пушкин: (Антропологический эскиз). М., 1899. С. 24.

¹² См.: Рус. арх. 1899. № 6. С. 355.

«Пушкин. Материалы для его биографии» и первый том сочинений поэта с родословием и большой статьей издателя П. В. Анненкова «Материалы для биографии А. С. Пушкина». Тогда-то, за два года до смерти, перед самой продажей портрета Василий Юни и сделал надпись, передавая портрет в солидное собрание Оболенского и взяв с него условную плату — 10 рублей¹³, так как торговать чем-либо не было в обычае почтенного старца.

Можно почти с уверенностью говорить о таком происхождении надписи. Труднее сказать, когда и каким образом портрет оказался у Юни. Его местонахождение с 1790 г. и до сороковых — пятидесятых годов XIX в. совершенно неизвестно. Почему он мог оказаться вне семейного архива самого Меллер-Закомельского?

Очевидно, портрет по каким-то причинам остался в мастерской художника. Война очень скоро была окончена, и портрет, пока дописывался, мог просто не успеть попасть к старшему сыну, находившемуся при отце в момент его гибели.

Позже портрет не был опознан родными. Вкратце познакомимся с ними. Вдова Анна Карповна скончалась в 1819 г. на 88-м году жизни. Кроме погибшего Карла у И. И. Меллера было еще три сына и четыре дочери. Они умерли: Петр — в 1823-м, Екатерина — в 1826-м, Егор — в 1830-м. Очевидно, и другие не прожили долее 30-х годов XIX в. Внукам и правнукам изображение их родоначальника известно не было, и опознать портрет в 1850-х годах уже никто не мог.

Еще одно примечательное обстоятельство: и Карл, и сам Иван Иванович похоронены были, как уже говорилось, в Херсоне, основанном в 1778 г. И. А. Ганнибалом. Под Херсоном, в 15 верстах, находилось на пожалованных Ивану Абрамовичу Екатериной II землях великолепное его поместье Белозерка. Поместье это, выйдя в отставку, Иван Абрамович продал в 1784 г. графу А. А. Безбородко — и земли, и дом, и все имущество. Если в Херсоне оставался портрет Меллера (что весьма вероятно: это была крепость, ближайшая к местам боев второй турецкой войны), то через 10—20 лет, при переходе вещей умершего в 1799 г. Безбородко в чужие руки, неизвестный смуглый господин на портрете мог быть принят за отца основателя города. Во всяком случае, имя Ганнибала в Херсоне было первым по популярности (достаточно вспомнить свидетельства о том А. С. Пушкина).

Такова история этого портрета. В поисках других изображений Меллера, благодаря указанию В. М. Глинки, удалось

¹³ См.: *Анучин Д. Н.* А. С. Пушкин: (Антропологический эскиз). С. 24.

все-таки выяснить, что в фондах Эрмитажа хранится акварель, представляющая осаду Очакова. Акварель выполнена художником М. М. Ивановым между 1794 и 1797 гг., т. е. после смерти Меллера, изображенного рядом с Потемкиным в левой части полотна.

Меллер писан был по памяти, его фигура занимает малое место, так что судить о сходстве черт лица с интересующим нас портретным изображением трудно.

Отметим, что художник, опередив события, представил героя как с Андреевской лентой и звездой, так и с орденом Георгия 2-й степени, которые он получил *после* взятия Очакова, и — что еще интереснее — *без* ордена Владимира 1-й степени, как и на рассматриваемом портрете.

Итак, легенда о портрете А. П. Ганнибала должна быть превращена в правду о портрете Меллер-Закомельского, — разумеется, менее для нас интересного, чем «арап Петра Великого». Это разочаровывает, почти расстраивает нас.

Попробуем поискать следы подлинного портрета. Для начала определим, что искать, каков должен быть «арап». Слово это в XVIII — начале XIX в. означало одно: темнокожий. Именно в этом смысле говорил о прадеде и Пушкин, не задумываясь о расовых различиях негров, эфиопов, арабов и других африканцев. Только в конце прошлого века ученый-антрополог Д. Н. Анучин со всей точностью определил, что прадед поэта — эфиоп. Итак, знание расовых особенностей должно помочь нам в поисках изображения А. П. Ганнибала.

В книге Н. П. Хохлова «Присяга просторам» содержится описание Эфиопии, ее населения и, что важно, потомков Бахар-Негаша («правителя моря») Иуади I¹⁴, правившего в конце XVII в. в области Тигре. Область Тигре — родина Ганнибала, и Иуади должен был бы называться в таком случае его отцом. Н. П. Хохлов сообщает, что ныне потомки братьев Абрама Петровича — бедные крестьяне, во внешности которых автор книги замечает общее, родовое с Пушкиным: «курчавость, пружинистость волос, острый взгляд коричневатых глаз, утолщенные губы, подвижность ноздрей, быстрый переход от задумчивости и грусти к оживленной перепалке и веселью»¹⁵. Посмотрим на лица соплеменников Ганнибала. Коротковатые носы, чуть вздернутые; большие глаза с выделяющимися на фоне почти черной кожи белками; волосы мягкой копной, где каждый волосок вьется сам по себе, а не крупными волнами, как у европейцев.

¹⁴ Опираясь на научные труды, В. В. Набоков называет его Jyasy I (Иясу I) или Jesus I (Иисус I) (*Nabokov V. Pushkin and Gannibal//Encounter. 1962. No 106. P. 17*).

¹⁵ Хохлов Н. П. Присяга просторам. М., 1973. С. 68.

Сам А. П. Ганнибал (фамилия употребляется им с 1727 г., до этого — Абрам Петров) в письмах Меншикову и некоей Асечке Ивановне называет себя черным. Так, очевидно летом 1723 г., он пишет ей: «А что вы, плутовки, уродицы, мои шутихи, поворачиваете свои языки с плевелами на своего государя, черного Абрама, которому и грязи Кронштадтские повиняются...»¹⁶ Черный Абрам (по-эфиопски Абраха, Абреха). Об этом знал правнук, об этом писал сам Ганнибал.

И в послепушкинские годы не было никаких сомнений, что прадед поэта был черен или почти черен. В этом отношении надо отметить и твердое мнение В. В. Стасова, который писал о замечательном приобретении Императорской публичной библиотеки — гравюре Шхонебека, где Петр I представлен с арапчонком. Несколько неточно определив время создания гравюры, Стасов пишет: «На портрете, который мы имеем перед глазами, имени арапа не написано, но все подробности совершенно согласны с биографическими подробностями, сообщенными Пушкиным. Портрет Ибрагима Ганнибала помещен на небольшой гравюре, в лист, сделанной известным гравером Петра Великого, голландцем Шхонебеком. На ней представлен Петр I, во весь рост, в богатом шитом кафтане. <...> Но чего нигде более нет, чего никогда мы не встречали — это изображение молодого арапа, стоящего позади Петра и как бы выглядывающего из-за правого его плеча. Видна только черная, курчавая его голова, со сверкающими белками глаз и толстыми губами, и еще — часть его кафтана на груди; все остальное закрывает фигура Петра I <...> это, до сих пор, единственное изображение того знаменитого арапа, от которого произошел Пушкин...»¹⁷

Добавим: под гравюрой текст: «Петр Первый император. Присноприбавитель¹⁸. Царь и самодержец всероссийский. Повеление Его Царского Величества. Грыдоровал Адриан Шхонебек»¹⁹.

Петру I несколько раз привозились арапчата, до Абрама и после. Очень важно поэтому установить год создания гравюры, а также поискать какие-либо другие изображения Ганнибала.

Автор гравюры, Adrian Schoonebeck, был первым гравером,

¹⁶ Цит. по: *Шубинский С. Н.* Княгиня А. П. Волконская и ее друзья// Ист. вестн. 1904. № 12. С. 931.

¹⁷ *Стасов В. В.* Арап Петра I и калмык Екатерины II. С. 68—69. Гравюра была приобретена в 1861 г. у кн. А. Я. Лобанова-Ростовского.

¹⁸ Перевод-калька латинского «август» — прибавитель, преумножающий владения.

¹⁹ В. К. Макаров называет гравюру, как и Стасов, редчайшей, сообщая, что это «офорт и резец. 280 × 175. ГПБ» (*Макаров В. К.* Русская светская гравюра первой четверти XVIII в.: Аннотированный сводный каталог. Л., 1973. С. 235—236).

работавшим в России. Правильнее было бы передавать его фамилию как «Схонебек», но по установившейся традиции он именуется Шхонебек. Петр I называет его Шонебек, Шонобек. Встречаются варианты Андреян Шанбек, Скойбек. Родился он в Голландии в 1661 г.,²⁰ в Москву приехал в 1698-м, гравировальное дело начал в 1699 г. в помещении Оружейной палаты. Талантливый рисовальщик, он, видимо, делал гравюры по своим рисункам²¹, и нет причины искать живописный портрет, с которого изготовлена описанная выше гравюра. Шхонебек продолжал работать до последнего месяца жизни. Это подтверждается записью в дворцовых приказах: «Приход деньгам за апрель — сентябрь 1705 г. <...>. Расходы по гравировальным работам Шхонебека»²². Умер он в сентябре 1705 г.²³

Между тем известно, что граф Савва Лукич Владиславич-Рагузинский, бывший с поручениями Петра I в Турции, отослал арапа Ибрагима из Константинополя перед 21 июля 1704 г., а 13 ноября того же года его привезли в Москву.

Поводом к созданию гравюры была победа Петра над шведами 10 мая 1703 г. в устье Невы, решившая судьбу будущей столицы. Орден Андрея Первозванного, полученный Петром за победу, украшает на гравюре его грудь. Однако выполнялась гравюра позже, в Москве, и для определения времени ее изготовления важно, что под нею есть надпись, в которой Петр назван «Присноприбавителем». Это приложение к имени императора стало употребляться после взятия им Нарвы в августе 1704 г., которое явилось как бы следствием невосской победы, изображенной Шхонебеком.

Въехал царь Петр в Москву после взятия Нарвы, чрезвычайно торжественно встреченный, только 19 декабря 1704 г., т. е. через месяц после привоза посланцев из Турции в Посольский приказ его управителю графу Ф. А. Головину. С декабря и до 18 февраля 1705 г. Петр находился в Москве безотлучно. После поездки на Воронежскую верфь (18 февраля—27 апреля) простудившийся царь с 4 по 22 мая живет в Немецкой слободе, в загородном доме Ф. А. Головина. Тогда, в мае, Адриан Шхонебек выполнял гравюру с видом дома Головина в Немецкой слободе на четырех листах. Два верхние — латинский текст,

²⁰ Эта дата установлена в исследовании: *Алексеева М. А.* Гравюра Петровского времени. Л., 1990. С. 19.

²¹ См.: *Макаров В. К.* Русская светская гравюра первой четверти XVIII в. С. 213.

²² *Викторов А. Е.* Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов. 1613—1725. М., 1883. Вып. 2. С. 481.

²³ *Макаров В. К.* Русская светская гравюра первой четверти XVIII в. С. 257.

стилизированный герб Головина, картуши — доделывал после смерти Шхонебека его пасынок гравер Петр Пикарт. На двух нижних листах изображено несколько особняков по берегам Яузы с центром — домом Головина, со двора которого цугом выезжает царь Петр. Латинская надпись дает название изображенному: «Вид подмосковного дома господина графа Головина». И Петр, и подаренный ему мальчик жили в мае 1705 г. у Головина, и, вероятно, гравюра «Петр I с арапчонком» была сделана именно тогда. Можно предположить, что сначала отъезд Петра, а затем смерть Шхонебека помешали размножению граюры.

«Вид подмосковного дома...» и «Портрет Петра I с арапчонком» (гравюра художником не названа, а, скорее, многословно обозначена), очевидно, являются последними работами Шхонебека.

В июне Петр тронулся в Польшу и прибыл в Вильну 8 июля 1705 г., где и крестил своего юного денщика. Как пишет в 1726 г. Ганнибал, «...и был мне восприемником от святыя купели Его Величество в Литве, в городе Вильне, 1705 году». Гравюра изображает грустное лицо мальчика, совсем недавно прибывшего с далекого юга. О том, сколько ему лет на этом изображении, Абрам Петрович сообщает далее: «Я, всеподданнейший, имел честь служить с самого моего младенчества, а именно лет с семи или осьми от возраста моего»²⁴. Эти строки 1726 г. являются ответом на многолетнюю полемику о том, какой же год считать подлинным годом рождения Абрама Ганнибала. Сам он, увезенный из дома турками в раннем детстве, очевидно, не знал числа, месяца и даже точного года своего рождения.

Много лет спустя, 13 июля 1776 г., в торжественной обстановке, в присутствии нескольких доверенных лиц Абрам Петрович будет составлять свою духовную. Вероятно, составление столь важного документа приурочивалось к какой-то значительной вехе в жизни Ганнибала. Если учесть, что днем рождения своего арапа считал день крещения, станет ясно, какой юбилей праздновался в июле 1776 г., — это было 80-летие почтенного старца, так как крещен он был, по-видимому, 13 июля ст. ст. 1705 г. в Вильне. Годом рождения, таким образом, Абрам Пет-

²⁴ См. Посвящение (повторяющееся) к двум рукописным томам учебника А. Петрова (Ганнибала) (*Géometrie practique*. Т. 1; *Fortification*. Т. 2), поднесенного автором 23 ноября 1726 г. императрице Екатерине I; опубликовано в кн.: *Телетова Н. К.* Забытые родственные связи А. С. Пушкина. Л., 1981. С. 141.

рович полагал 1696-й. Стало быть, привезен был Ганнибал на восьмом году жизни, вскоре изображен Шхонебеком — рядом с Петром I, и гравюра эта, воспроизведенная С. А. Венгеровым в первом томе сочинений Пушкина, является действительно первым изображением прадеда Пушкина.

Гравюра Шхонебека обнаружилась в 1861 г., а в 1872 г., в связи с двухсотлетием со дня рождения Петра I, в Москве была открыта выставка портретов царя-преобразователя. Там демонстрировалось большое (263×206) полотно, находившееся постоянно в Романовской галерее Зимнего дворца. Это было аллегорическое изображение Петра, победителя турок под Азовом и шведов под Полтавой. Героическая фигура Петра дана в рост (тип изображения, близкий художнику Г. Кнеллеру), он наступает на грудь поверженного Карла XII, близ которого, на уровне колен Петра, — фигуры закованных пленных турок. Сзади справа — голова и часть туловища вздыбленного гнедого коня. Коня под уздцы держит юноша, одетый в кафтан солдата Преображенского полка, с темно-коричневой кожей лица и рук. Полтавский бой словно бы еще продолжается — под копытами коня поверженный всадник в шлеме и латах. Глядя на Петра и его слугу с конем на фоне боя, невольно вспоминаешь строку из письма Пушкина к брату Льву: «Присоветуй Рылееву в новой его поэме поместить в свите Петра I нашего дедушку. Его арапская рожа произведет странное действие на всю картину Полтавской битвы» (XIII, 143).

Эти слова поэта казались основанными на одном лишь знании того, что Ганнибал (прадед, названный в письме дедушкой) был участником Полтавского боя. Однако глядя на аллегорическое полотно неизвестного художника XVIII в., чувствуешь, что и конкретное изображение Петра с арапом на поле Полтавской битвы Пушкину было знакомо; именно впечатление от картины отражает письмо поэта.

Ганнибалу ко времени Полтавского сражения исполнилось 13 лет — подросток примерно этого возраста изображен и на полотне. Еще две детали: во-первых, это тип широковатого лица, весьма схожий со шхонебековским, — такой же короткий, чуть вздернутый нос, широко расставленные кругловатые глаза; во-вторых, это мундир Преображенского полка, который, уже в офицерском варианте, получил А. П. Ганнибал в 1724 г., по возвращении из Франции.

Было неизвестно, к какому именно полку причислен был сопутствовавший во всех походах Петру Абрам: солдатских списков полков не существовало. Но несомненно, что, как и дру-



**ПЕТРЪ ПЕРВЫИ ИМПЕРАТОРЪ.
ПРИСНО ПРИВАНТЕЛЪ ЦАРЬ
И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССИИНСКІИ**

А. Шхонбек (Гравюра 1705 г.)
(Российская национальная библиотека)

гие ближайшие к Петру люди, Абрам приписан был к преображенцам, на нем солдатский мундир Преображенского полка — кафтан и штаны из зеленого сукна с красными отворотами.

Предположения о том, что на этом полотне изображен какой-то другой арап, несостоятельны: последний (до Абрама) арап привезен был в 1698 г., и, по всей видимости, это был взрослый человек; следующий после него — не ранее 1709 г., так что в этой аллегории может быть изображен только прадед поэта. Было бы ошибкой думать, что лицо и фигура арапчонка писаны условно: и мундир, и сходство с шхонебековским арапчонком это опровергают. Описанное полотно, представляющее уже второй вариант изображения арапа Абрама, ныне хранится в фондах Русского музея.

Наконец, следует упомянуть батальное полотно Пьера-Дени Мартена-младшего, заказанное в 1717 г. Петром I в Париже. Художник должен был изобразить битву со шведами 1708 г. при деревне Лесной, не видев ни битвы, ни каких-либо живописных набросков, с ней связанных. Готовое полотно было доставлено в Москву в 1723 г., ныне оно хранится в Царском-Сельском Екатерининском дворце, копия с него А. Лютца экспонируется в Эрмитаже. На нем, среди множества фигур, изображен подросток с блестящими черными глазами, чуть вытянутым эфиопским черепом и темной кожей; голова его в белом тюрбане чуть повернута назад, взгляд обращен на художника. Можно предположить, что учившийся как раз в 1717—1722 гг. во Франции прадед Пушкина давал Мартену пояснения о происходившей битве, участником которой, в качестве посыльного при царе, он был. О себе он, вероятно, тоже не забыл, и художник изобразил черного подростка с чертами лица, близкими юному инженеру.

Говорить об иных изображениях Абрама Ганнибала ныне не приходится.

*
* * *

...21 февраля 1986 г. во Всероссийском музее А. С. Пушкина, где ныне хранится мнимый портрет А. П. Ганнибала, происходило заседание, посвященное атрибуции этого портрета. Оно тянулось около шести часов. Зал разделился на сторонников, противников и просто мало сведущих в вопросах атрибуции. С докладом выступила Т. Г. Александрова. Она проанализировала высказанные в печати аргументы Телетовой, Лееца



Неизвестный художник
Аллегорическая картина начала XVIII в.
(Государственный Русский музей)

и Глинки, доказывавших, что на портрете изображен Меллер-Закомельский²⁵, и присоединилась к их мнению.

Были зачитаны выводы трех экспертиз портрета, выполненных в научно-реставрационном центре С. В. Ямщикова в Москве (1976), затем в Эрмитаже (1980) и, наконец, С. В. Римской-Корсаковой в Русском музее (январь 1986). Смысл этих заключений сводился к следующему. Портрет выполнен непрофессионально. При реставрации произведена переокраска, употреблен оливково-умбристый тон, так как исходили из сведений об «арапской» внешности портретированного. Описи носа и губ

²⁵ Вокруг вопроса об авторстве изложенного здесь открытия сложилась своя мифология. Ознакомившись с документами, хранящимися в архиве Н. К. Телетовой, считаем необходимым восстановить истину.

В 1973 г., придя к выводу о том, что на мнимом портрете Ганнибала изображен Меллер-Закомельский, Телетова поделилась результатами своих исследований с эстонским коллегой Г. А. Леецом, закончившим тогда рукопись книги о Ганнибале. Леец поздравил ее с открытием в письме от 7 июня 1973 г.: «В Вашу версию относительно портрета я верю и соглашаюсь с Вашими доводами, доказывающими, что на нем изображен именно И. И. Меллер-Закомельский. Сделаете большое дело, если докажете это читающей публике». Статью о портрете Телетова послала редактору «Пушкинского праздника» А. Латынниной. Материал был принят, однако через год «Пушкинский праздник» вышел без статьи Телетовой. Ей было сообщено, что редакция не сочла ее доводы убедительными. В декабре 1974 г. Г. А. Леец написал Телетовой, что он сделал в Таллинне доклад о портрете и собирается поместить публикацию на эту тему в центральной прессе. На категорическое возражение автора открытия Леец в письме от 15 января 1975 г. ответил, что уже написал свой вариант статьи и удивлен ее несогласием. В мае 1975 г. он поделился с Н. Я. Эйдельманом сведениями о портрете и стал готовить на эстонском языке сообщение о нем для журнала «Язык и литература». 25 сентября 1975 г. Телетова выступила с докладом, посвященным атрибуции портрета, в Пушкинском Доме. Ее горячо поддержали В. М. Глинка, Н. В. Измайлов, Н. А. Малеванов. А через месяц вышел журнал «Язык и литература» со статьей Лееца, содержащей лишь те аргументы Телетовой, которые она успела ему сообщить. Ее собственная статья, включающая в себя всю полноту аргументации, была предложена в 1976 г. редакцией издания «Памятники культуры. Новые открытия». В апреле 1978 г. Н. Я. Эйдельман в журнале «Знание — сила» с его полуторамиллионным тиражом опубликовал со ссылкой на Лееца вариацию той же темы. Редакция «Памятников культуры» тотчас вернула Телетовой пролежавшую там более двух лет статью, сославшись на вторичность материала. И только альманах «Белые ночи», появившийся в июле 1978 г., опубликовал ее сокращенный, почти популярный вариант. В 1980, затем в 1984 гг. в Таллинне издается и переиздается книга уже покойного Г. А. Лееца «Абрам Петрович Ганнибал». В приложении к книге издатели дали русский перевод статьи, напечатанной в октябре 1975 г. В 1985 г. в № 8 «Панорамы искусств» была опубликована статья В. М. Глинки, где он резюмировал все соображения о портрете, высказанные в печати к тому времени, добавив к ним собственные доводы; авторство открытия он закрепил за обоими исследователями, якобы работавшими параллельно. В настоящем сборнике статья Н. К. Телетовой, написанная в 1976 г. и дополненная некоторыми новациями, публикуется впервые. (Примеч. ред.)

получили новые контуры, не соответствующие авторскому рисунку. Губы утолщены, нос расширен, что изменило первоначальный облик. Ордена на мундире не переписывались.

Обсуждение — столь же бурное, сколь и длительное — завершилось голосованием. Большинство сочло доказательства весомыми и высказалось за то, чтобы портрет был снят с экспозиции.

Однако тогдашний директор музея М. Н. Петай пошла по пути компромисса: не разрешать впредь фотографировать портрет для его воспроизведения в разного рода пушкинских изданиях, но сохранить в экспозиции, поставив знак вопроса на табличке с именем.

Легенды — явление живучее. Двое пушкинovedов — на заседании они отсутствовали — оказались в однажды усвоенном особенно стойкими. Н. И. Грановская в 1985 г. выпустила книжку «Всесоюзный музей А. С. Пушкина», где, невзирая на замечание рецензента Я. Л. Левкович относительно невозможности представлять далее постороннего человека в качестве прадеда поэта, опубликовала портрет И. И. Меллера как «предполагаемый» портрет А. П. Ганнибала, а затем представила ту же версию в статье 1988 г. «Загадочный портрет А. П. Ганнибала», выступив противницей Т. Г. Александровой, напечатавшей в том же сборнике основные положения своего устного доклада на заседании 21 февраля 1986 г. в статье «О портрете А. П. Ганнибала»²⁶.

Вторым упорным противником новой атрибуции портрета оказался А. М. Гордин. Прислав длинное, эмоциональное, но вовсе лишённое каких-либо доказательств письмо на заседание 21 февраля 1986 г., он, не приняв резолюции музея, напечатал 12 сентября того же года в газете «Ленинградский рабочий», рассчитанной на массового несведущего читателя, большую статью с утверждением, что на портрете, хранящемся в музее Пушкина, изображен А. П. Ганнибал.

А. Г. Тартаковский, публикатор статьи В. М. Глинки и его сторонник, в десятом номере «Панорамы искусств» за 1987 г. в письме в редакцию, озаглавленном «Еще о „Загадке старого портрета“», снова попытался доказать оппоненту ошибочность и натянутость всех его доводов.

Но апологет традиционализма остался равнодушным к истине. В 1989 г. А. М. Гордин выпустил новое, дополненное, издание своей книги «Пушкин в Михайловском», первый вариант

²⁶ Т. Г. Александрова опубликовала заключение экспертизы 1986 г., где анализируется история потемнения портрета. См.: Из пушкинианы Всесоюзного Музея А. С. Пушкина. Л., 1988. С. 85—93.

которой появился еще в 1939 г., где снова, без всяких сомнений и знаков вопроса, поместил пресловутый портрет артиллерийского генерала, выдаваемого за предка поэта.

Так для кого-то сохраняются все устраненные ныне несообразности относительно этого портрета, вызывавшего сомнения более ста лет назад. Реальность побеждает, но и легенда не растворяется в ней до конца.

Добавим, что в последние годы стал известен тот, кого следовало бы назвать первым, еще в 1962 г. в статье «Пушкин и Ганнибал», поднявшим вопрос о портрете. Им был В. В. Набоков, написавший тогда: «Достоверного портрета Абрама Ганнибала нет. На портрете маслом конца XVIII века, по мнению некоторых, его изображающем, есть награды, которых он не получал, и в любом случае картина безнадежно подделана бездарным живописцем»²⁷.

²⁷ *Nabokov V. Pushkin and Gannibal. P. 25.*

2

**ТВОРЧЕСТВО
БИОГРАФИЯ
СУДЬБА.**



О. С. Муравьева

ОБРАЗ ПУШКИНА: ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ

Наиболее трудное здесь — обозначить самый предмет исследования. Черты мифологизации Пушкина присутствуют во всяком знании о нем, имеющем свою традицию. История русской критики предложит нам свой миф о Пушкине, история русской литературы — свой. Существует и обыденное восприятие, массовое сознание, в котором рождаются свои мифы. Необходимо уберечься и от опасности оказаться во власти какой-то одной традиции, и от того, чтобы скомпоновать на их основе некий искусственный эклектический миф о Пушкине. Нас будут интересовать те мифы о нем, которые возникали и достаточно долго удерживались в общественном сознании той или иной эпохи. Понятны недоумения: авторы каких отзывов и свидетельств могут претендовать на роль выразителей общественного

сознания? Какие факты и события безусловно презентативны в этом отношении? Этот отбор не может не быть в значительной степени интуитивным, но ориентир здесь — определенная устойчивость образа, его воспроизводимость в различных вариантах.

Судьба Пушкина сложилась так, что буквально с первых его шагов на поэтическом поприще вокруг него начал формироваться некий миф; миф о чудо-ребенке, юном гении, призванном прославить отечественную литературу. Вспомним восторженные пророчества В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, Н. М. Карамзина, знаменитое «благословение» Г. Р. Державина. Можно ли все это квалифицировать как миф, ведь все эти оценки оказались справедливы и пророчества осуществились? Да, но это стало ясно лишь потом, годы спустя. Тогда же, в 1810-х, Пушкину еще 14, 15, 16 лет, он еще скучает на уроках, играет в мяч, ссорится и мирится с одноклассниками; а рядом с ним существует образ, творимый его старшими друзьями: «будущий гигант, который всех нас перерастет» (Жуковский)¹, он «нас всех заест, нас и отцов наших» (Вяземский)². И вот уже сам юный поэт шутя примеривается к обещанному высокому жребию: «Великим быть желаю, /Люблю России честь,/ Я много обещаю — /Исполню ли? Бог весть!» (II, 491). Почти сразу же намечилось известное расхождение между этим образом юного гения и реальным подростком — в самом деле гениальным, но и озорным, беспечным и неуправляемым. Разумеется, все это еще легко укладывается в чисто житейскую ситуацию: взрослые и заботливые друзья стремятся направить в нужное русло таланты своего подопечного, огорчаясь его легкомыслием и леностью. Но в контексте всей поэтической судьбы Пушкина здесь угадывается первый проблеск будущей трагической коллизии: в Пушкине хотят видеть некий умозрительный идеал, и несоответствие ему воспринимается с досадой и огорчением (пока только лишь с досадой и огорчением).

За годы южной и михайловской ссылки Пушкина у столичных читателей сложился образ романтического поэта-изгнанника, всегда влюбленного и вдохновенного. Долгожданная встреча поклонников поэта со своим кумиром вызвала у многих из них острое разочарование³. В 1830-е годы в русском обществе постепенно складываются разные образы, соотносимые

¹ См.: Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951. С. 81.

² Вяземский П. П. А. С. Пушкин. 1816—1825: По документам Остафьевского архива. СПб., 1880. С. 27.

³ См.: Вацуро В. Э. Пушкин в сознании современников//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 1. С. 18—19.

с именем Пушкина. Один — достаточно абстрактный образ «знаменитости», признанного гения, прославленного поэта⁴. Другой — образ писателя-аристократа, высокомерного барина. Ф. В. Булгарин в своих статьях последовательно проводил мысль о том, что Пушкин не заботится об интересах публики и считает своих читателей «стадом»⁵. К. А. Полевой на всю жизнь сохранил представление о Пушкине как о надменном аристократе и именно так изобразил его в своих мемуарах⁶. Этот образ, при всей его очевидной пристрастности, имел серьезные шансы на то, чтобы отложиться в сознании общества. Прежде всего он в искаженном, превратном виде демонстрировал некоторые черты, в самом деле присущие Пушкину. Нетрудно привести много цитат из его произведений и эпизодов из воспоминаний его современников, которые вполне могут быть интерпретированы в таком духе. Разумеется, все эти факты не являются доказательством для приведенных выше характеристик. Но для их осмысления необходимы достаточно сложные контексты и нетривиальные подходы. Так, скажем, декларации Пушкина о равнодушии к требованиям публики направлены, в сущности, на утверждение независимости искусства, права художника следовать лишь «веленью Божию». Холодность и надменность, видимо действительно присущие Пушкину в определенных ситуациях, можно понять как нежелание смешивать профессиональные и личные отношения, объясняющееся в свою очередь иными, нежели у его оппонентов, представлениями о роли писателя в обществе. Но подобные рассуждения (позднее затрагиваемые в той или иной связи в научной литературе о Пушкине) не имели и не имеют никакой привлекательности для широкой публики, ибо не содержат ничего, возбуждающего общественные страсти. Что же касается образа высокомерного эстета, поэта-аристократа, то он бередил душу не одного поколения, ибо находился в разительном и возмутительном противоречии с тем представлением о писательстве как служении, которое прочно укоренилось в русском общественном сознании. Важную роль сыграло и то, что этот образ навязывался со стороны демократических, а во второй половине века и оппозиционных властей литературных партий. Таким образом, еще при жизни Пушкина его противники нащупали и использовали

⁴ См.: Гончаров И. А. Из университетских воспоминаний//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 2. С. 215.

⁵ См.: Столянский П. Н. Пушкин и «Северная пчела»//Пушкин и его современники. Пг., 1914. Вып. XIX—XX. С. 156—157.

⁶ Полевой К. А. Из «Записок»//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 53—54, 57—58.

в полемических целях одну из наиболее уязвимых сторон его писательского облика.

Внезапная трагическая смерть Пушкина стала для современников потрясением небывалым и неожиданным для них самих. Откликом на нее явилось несколько поэтических шедевров: «Смерть поэта» М. Ю. Лермонтова, «Лес» А. В. Кольцова, «29-е января 1837» Ф. И. Тютчева; по справедливости можно отнести к ним и знаменитый некролог В. Ф. Одоевского. «Невольник чести», «первая любовь» России, «солнце русской поэзии» — эти образы навсегда вошли в пушкинскую мифологию, но ни один из них не стал источником, первообразом развивающегося мифа. Поэтические же отклики третьего ряда не дают никаких определенных и повторяющихся характеристик, представляя собой, вероятно, искренние, но достаточно безликие излияния по поводу смерти гения. Существенное значение для дальнейшей мифологизации Пушкина имело известное письмо В. А. Жуковского отцу Пушкина от 15 февраля 1837 г. В письме, в частности, последовательно развивался мотив духовной связи умирающего поэта с царем и связанный с ним мотив народной скорби. Письмо Жуковского — документ сложный и по своей концепции, и по психологической подоплеке. Но отмеченные мотивы постепенно заслонили все остальное, и письмо стало одним из источников консервативно-официозного мифа о Пушкине, о котором еще пойдет речь. Письмо Жуковского, близкого друга Пушкина и непосредственного участника только что произошедших событий, уже носило несомненный характер мифологизации: конструирование образа осуществлялось согласно определенной концепции. Еще более явственно эта тенденция проявилась в воспоминаниях Н. В. Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Гоголь представил Пушкина как некий эталон национального характера: «русский человек в развитии, каким он, может быть, явится через двести лет». С точки зрения Гоголя, Пушкин «был дан миру на то, чтобы доказать собору, что такое сам поэт, и ничего больше, — что такое поэт, взятый не под влиянием какого-нибудь времени или обстоятельств и не под условием также собственного, личного характера, как человека, но в независимости от всего; чтобы, если захочет потом какой-нибудь высший анатомик душевный разъять и объяснить себе, что такое в существе своем поэт <...> то, чтобы он удовлетворен был, увидев это в Пушкине»⁷. Этот Пушкин — «русский человек в развитии» и одновременно «поэт — и больше ничего» — объявлялся Гоголем истинным «русским национальным поэтом». Кроме того, худо-

⁷ См.: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. [Л.], 1952. Т. VIII. С. 50, 381—382.

жественное воображение Гоголя, переакцентируя и домысливая факты, рисовало Пушкина в роли идеолога и пророка.

В. Г. Белинский, подводя итог своим размышлениям в цикле статей «Сочинения Александра Пушкина», заключал: «Пушкин был по преимуществу поэт, художник и больше ничем не мог быть по своей натуре». В то же время Белинский убежден, что Пушкин «был и глубоко сознавал себя национальным поэтом».

Однако, в отличие от гоголевских, представления Белинского о народном и национальном несли на себе печать революционно-демократических идеалов, антиславянофильских настроений. Критик враждебен по отношению к традициям и преданиям, ко всему патриархальному укладу жизни. Признавая Пушкина национальным поэтом, Белинский многократно упрекает его за выражение дворянских интересов. Критик решительно утверждает: «Везде видите вы в нем человека, душою и телом принадлежавшего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского помещика...»⁸

Концепции Гоголя и Белинского, совпадая в одном, резко расходятся в другом, доступный и непротиворечивый миф о Пушкине еще не предложен русскому обществу. Не смог предложить его и круг друзей и сподвижников Пушкина, безнадежно терявший ведущее положение в литературной и общественной жизни. Вплоть до середины 1850-х годов образ Пушкина не имел особенной социальной значимости, проблемы интерпретации его личности и судьбы волновали лишь узкий круг литераторов и интеллектуалов. Но настал день, когда это достаточно келейное знание попало в центр ожесточенной и непримиримой политической борьбы. Предлогом послужило появление книги П. В. Анненкова «Материалы для биографии А. С. Пушкина» (1855). Труд Анненкова был первой научной биографией поэта и содержал целостную характеристику творческой личности Пушкина. Анненков держался в основном в русле концепции Белинского (Пушкин — «художник по преимуществу»), но выделение именно этой идеи критика и выстраивание соответственно ей биографии Пушкина придавали известной концепции новое звучание. Книга вызвала восторженные отзывы людей, хорошо помнивших живого Пушкина (И. И. Пущина, С. А. Соболевского, М. Н. Погодина, Н. И. Павлищева), и была высоко оценена интеллектуальной элитой. Среди подписавших подарочный экземпляр «Материалов...», который был поднесен Анненкову на торжественном обеде, устроенном в его честь,

⁸ См.: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955. Т. VII. С. 440, 579, 502.

были И. С. Тургенев, И. И. Панаев, В. П. Боткин, Н. А. Некрасов, А. В. Дружинин, А. Ф. Писемский, А. Н. Майков, А. К. Толстой, Я. П. Полонский и другие. В то же время книга встретила неприкрыто враждебное отношение со стороны ведущих демократических критиков — Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Удар, нанесенный Писаревым, был ошеломляющ. Собственно, ничего принципиально нового Писарев не открыл. Он обыграл все тот же образ поэта-аристократа, блестящего, но поверхностного стихотворца, известный еще по полемическим выпадам 1830-х годов. Писарев этот образ высмеял и унизил, но сделал это остроумно и хлестко, в своем роде даже блестяще. Главная разрушительная сила этого образа Пушкина заключалась в том, что его фактическая основа была как бы бесспорна. «Чистым художником», служившим одному только искусству, считал Пушкина П. В. Анненков⁹. Эту точку зрения разделяли А. В. Дружинин и Н. Н. Страхов¹⁰. В. П. Гаевский утверждал, что Пушкин признавал «единственной целью своей жизни» наслаждение природой и искусством и пренебрегал «всеми другими целями, волнующими его современников»¹¹. В том же духе высказывались М. Н. Катков, А. Станкевич и другие¹². Показательно, что Писарев не делает попытки опровергнуть какие-либо положения эстетической критики, напротив, он охотно с ними соглашается. Но акцентируемые этой критикой черты творчества и личности Пушкина вызывают у него отнюдь не восхищение, а презрение и насмешку. Здесь столкнулись не два взгляда на Пушкина: столкнулись два мировоззрения, две идеологии, более того, две культуры, одна из которых отрицала другую и стремилась ее развенчать. Для нас сейчас важно, что в результате этой сшибки возник один из самых ярких образов Пушкина: образ-кариатура. «Так называемый великий поэт», «наш маленький и миленький Пушкин», «величайший представитель филистерского взгляда на жизнь», «легкомысленный версификатор», «ветхий кумир», «возвышенный кретин»¹³.

⁹ См.: Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984. С. 173—176.

¹⁰ См.: Дружинин А. В. Собр. соч. СПб., 1865. Т. VII. С. 214; Страхов Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб., 1888. С. 8—9.

¹¹ Гаевский В. П. Сочинения Пушкина. Изд. П. В. Анненкова//Отеч. зап. 1855. № 6. С. 62.

¹² См.: Катков М. Н. Пушкин//М. Н. Катков о Пушкине. М., 1900. С. 21—24, 37, 42; Станкевич А. Сочинения Пушкина//Атеней. 1858. № 2. С. 73.

¹³ См.: Писарев Д. И. Пушкин и Белинский//Соч. СПб., 1894. Т. V. С. 78, 102, 119.

Никто тогда не сумел заступиться за Пушкина, никто не смог предложить иной, но столь же яркий и, главное, общественно значимый образ поэта.

Следующий всплеск общественного интереса к Пушкину пришелся на 1880 г. В этот год Москва торжественно праздновала открытие первого в России памятника Пушкину. С расстояния в сто с лишним лет с сочувствием и горечью наблюдаем мы за отчаянной попыткой русской интеллигенции сплотиться вокруг Пушкина, обозначить в общественной жизни России некую заповедную область, недоступную для политической борьбы и идеологического противостояния. Если бы интеллигенция сумела тогда добиться этого и тем самым заявить о себе как о самостоятельной и влиятельной общественной силе, быть может, вся история нашей страны пошла бы иным путем. Но история шла так, как шла, и братство независимых интеллектуалов распалось, не успев сложиться. Неудача кажется тем более трагически нелепой, что символ объединения — Пушкин — был выбран поразительно точно. И личность Пушкина, и его общественная позиция, и весь пафос его творчества как нельзя лучше подходили для того, чтобы родился миф о поэте мудром и терпимом, но и непреклонном в своем нежелании зависеть как от «властей», так и от «народа». Миф, в котором так нуждалось вечно раздраженное, разделенное на враждующие лагеря и жаждущее справедливости русское общество. Но это чисто теоретический, так сказать, нормативный подход. В реальности же из интеллектуальных споров, литературных дебатов, блестящих речей и банальных сентенций родились совсем другие мифы. Реконструировать их нам будет проще всего на материале посвященных Пушкину стихотворений, поток которых хлынул в периоду 1880—1890 годов. Они не могут, конечно, претендовать на полное и адекватное отражение процесса активной мифологизации Пушкина, толчок которому дали пушкинские празднества 1880 г., но мы и не ставим перед собой такой задачи. Масовая однодневная лирика репрезентативна по-своему: она дает срез наиболее расхожих штампов и представлений; она скользит по поверхности, но и вбирает все то, что на поверхности задерживается. Поэтому наиболее интересны с этой точки зрения не шедевры, не создания великих и выдающихся поэтов — выражение их ни на кого не похожего видения, а именно стихотворная беллетристика, непосредственно и незатейливо откликающаяся на злобу дня.

Прежде всего обращает на себя внимание усиленное педалировать национально-патриотической тематики. Например:

Он понял — прозорливый гений,
 Ложь иноземных заблуждений,
 Пути родные отыскал,
 Он верил в русскую державу,
 Нам уготовил нашу славу. . .

(А. Гангелин. «Памяти Пушкина»)

Как славен и велик народ,
 Среди которого явился
 Великий, истинный поэт,
 И с ним впервые засветился
 В окошке русском *русский* свет!

(Д. Минаев. «Поминок»)

Постоянны декларации типа:

Твой всеобъемлющий и чисто русский гений
 Свообразен и велик,
 Как Русь сама!

(О. Чюмина. «К пятидесятилетней годовщине смерти А. С. Пушкина»)

Как Пушкиным прославлена Россия,
 Так Пушкина прославит и она.

(В. Мазуркевич. «К столетию дня рождения А. С. Пушкина»)

Нужно сказать, что за всем этим барабанным боем было и некое живое чувство: величие Пушкина воспринималось как залог возможного величия России и поэтому становилось моральной опорой для интеллигенции, не уверенной в будущем своей страны. Показательно, что в этом духе высказывались и такие поэты, как А. Н. Майков:

Мы приветствуем тебя —
 Нашу гордость — как задаток
 Тех чудес, что, может быть,
 Нам в расцвете нашем полном
 Суждено еще явить!

Характерный для поэтических обращений к Пушкину патристический пафос очень часто сочетается с официозными декларациями. Вот характерные образцы:

Ты пел народы и царей, —
 Всем доброе внушал,
 < >
 Любил ты наш простой народ —
 И сам любовь снискал.

(И. Румянцев. «Пушкину»)

И в час последний, в час свободы,
 Кончая жизненный урок,
 Он «символ» произнес народа:
 Россия, царь земной и Бог!¹⁴

(М. «У подножия памятника»)

Следует отметить, что Пушкин настойчиво именуется «учителем». Постоянны обращения: «учитель дорогой», «великий наш учитель» и т. п. Пушкин, как известно, всегда решительно возражал против навязывания литературе «учительских» функций и тем более отказывался принимать их на себя. Но инерция общественного сознания, воспринимающего великих поэтов и писателей как «учителей» и «идейных вождей», пересиливала, заглушала его совершенно недвусмысленные заявления и поэтические декларации. Наперекор им потомки уверенно заявляют: «Ты знал, что в будущем тот славный день придет,/Когда учителя найдет в тебе народ»¹⁵. Некоторые разногласия имели место лишь по поводу того, пришел ли уже этот день, или он еще в будущем и является желанной целью. С этим связана и весьма прагматическая интерпретация понятия «поэт-пророк». Пророк понимается, в сущности, как предсказатель будущего, вплоть до конкретных событий. Здесь богатый материал давала авторам отмена крепостного права по инициативе Александра II, что явилось как бы исполнением пушкинского пророчества: «...и рабство, падшее по манию царя». В отношении дальнейшего осуществления пророчеств мнения авторов находятся в прямой зависимости от их собственных упований и политической ориентации. Если одни убеждены, что «славянские ручьи сольются в русском море», то другие верят, что недаром поэт «прославил свободу».

Таким образом, в 1880—1890-е годы формируется миф о Пушкине, имеющий небывало широкую доселе социальную базу. В нем отозвались идеи Гоголя и Белинского о национальном поэте и бравурность патриотической пропаганды, пророческий характер русской литературы и прагматичность просветительского сознания, жажда идеала и идеологические догмы. Пушкин начинает осознаваться как центральная фигура русской культуры, что усиливает тенденцию к его мифологизации и одновременно увеличивает притязания на него со стороны различных

¹⁴ Стихотворение Мазуркевича цитируется по кн.: Памяти А. С. Пушкина/Сост. А. В. Колчин. СПб., 1900. С. 71; все остальные стихотворения цитируются по кн.: Русские поэты о Пушкине/Сост. В. Каллаш. М., 1899. С. 168—169, 198, 210, 247, 315—316, 328.

¹⁵ Маркярон. Ты памятник себе воздвигнул превосходный...//Русские поэты о Пушкине. С. 188.

политических и общественных сил. Неудивительно, что власть предрержащие проявили крайнюю заинтересованность в создании и популяризации удобного для них мифа о поэте. Этапным в этом смысле стал пушкинский юбилей 1899 г. Российское государство предприняло попытку сделать с Пушкиным то, чего не удалось сделать с ним при его жизни, а именно превратить его в официального классика, образцового поэта империи. В печати началось безудержное эксплуатирование того мифа о Пушкине, выдержанного в духе требований официальной идеологии, который уже вполне выкристаллизовался в стихотворной беллетристике и публицистике двух предшествующих десятилетий. Согласно этому мифу, Пушкина отличали любовь к простому народу, преданность царю, верность православной вере, русский патриотизм. В 1899 г. заметно усилился, соответственно вкусам власти, мотив религиозности Пушкина, толкуемой в самом ортодоксальном плане; невиданно активное участие в пушкинских торжествах приняли священнослужители. Широко развернулась спекуляция именем Пушкина в самых далеких от литературы сферах. Выпускались папиросы «В память Пушкина», спички «Пушкин», чернильницы в виде бюста Пушкина и т. п.¹⁶ (Не тогда ли родилась присказка: «А уроки кто будет делать? Пушкин?»)

В бесчисленных речах, приветствиях и юбилейных статьях навязывался обществу образ верноподданного, правоверного и благоприсойного поэта. «Поразительное и умиленное зрелище представляет собою единение Царя с народом в лице Пушкина как верного и цельного его представителя»¹⁷; «В дивных поэтических глаголах он высказал заветные верования русского народа, его глубокую привязанность к своим вековым учреждениям, его высокую веру в идеал царя»¹⁸; «Как государи, собиратели Руси, он собирал Русь чудесными произведениями своего гения, он создавал памятник не только себе, но памятник русскому духу...»¹⁹

Этот официальный миф был, однако, не единственным; можно сказать, что в эти годы боролись за влияние на умы несколько мифов о Пушкине. Согласно одному из них, Пушкин всегда был и оставался «другом декабристов», в душе которого всегда жила идея «гражданского протеста». Заметные изменения в поведении и высказываниях Пушкина в 1830-е годы объяснялись

¹⁶ См.: Берков П. Н. Из материалов пушкинского юбилея 1899 г. // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1937. Т. 3. С. 411—412.

¹⁷ Остроумов И. И. Речь преподавателя <...> в день чествования 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Гродна, 1899. С. 17.

¹⁸ Никольский В. В. Идеалы Пушкина. СПб., 1899. С. 93.

¹⁹ Устинов И. Е. О значении поэзии Пушкина. Харьков, 1900. С. 35.

вынужденной маскировкой, необходимым в сложившейся ситуации лавированием. Активным творцом и пропагандистом этого мифа был В. Е. Якушкин. Его речь на торжественном заседании в Московском обществе любителей российской словесности, в которой он отстаивал такую легенду о Пушкине²⁰, подверглась ожесточенной критике в консервативных изданиях. В частности, «Московские ведомости» из номера в номер печатали статьи и письма в редакцию под характерными заголовками: «Клевета на Пушкина», «Клеветникам Пушкина» и пр. Авторы их с жаром доказывали, что Якушкин оскорбил память «верноподданного» поэта. Нужно сказать, что эта точка зрения критиковалась и с позиций радикальных. Якушкина и его единомышленников упрекали в том, что они выдают желаемое за действительное²¹. В дальнейшем не раз объявлялось, что Пушкин вполне засвидетельствовал свою «беззаветную преданность общественному консерватизму» и сегодня наверняка «явился бы противником либеральных движений»²². В дни пушкинского юбилея 1899 г. этот образ поэта был доведен почти до карикатуры в нелегальной брошюре саратовских социал-демократов: «Пушкин не был никогда другом народа, а был другом царя, дворянства и буржуазии: он льстил им, угождал их развратным вкусам, а о народе отзывался с высокомерием потомственного дворянина»²³.

В 1890-е годы получил широкое распространение эстетический миф о Пушкине, восходящий еще к В. Г. Белинскому и парадоксально подтвержденный Н. Г. Чернышевским и Д. И. Писаревым. Это был миф об «абсолютном художнике», «художнике по существу и по преимуществу», который противостоял не только сильно политизированным и идеологизированным мифам о Пушкине, но и самой демократической тенденции в осмыслении роли поэта в обществе. Авторы статей, посвященных пушкинскому юбилею, в журнале «Мир искусства» (Н. Минский, Ф. Соллогуб, В. В. Розанов, Д. С. Мережковский) так или иначе проводили мысль о том, что истинный поэт непонятен толпе, что пышные празднества фальшивы и лишь оскорбительны для его памяти и т. д. Эстетический миф о Пушкине получил развитие в интерпретации символистов, для которых Пушкин был одной из ключевых фигур. Анализ многочисленных и противо-

²⁰ См.: Якушкин В. Е. Радищев и Пушкин//Якушкин В. Е. О Пушкине. М., 1899. С. 3—69.

²¹ См.: Мякотин В. Из пушкинской эпохи//Сборник журнала «Русское богатство». СПб., 1900. Ч. 2. С. 236—237.

²² См.: Городецкий Б. П. Проблема Пушкина в 1890-е годы//Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. М. Н. Покровского. 1940. Т. IV, вып. 2. С. 80.

²³ Лит. наследство. М., 1934. Т. 16—18. С. 1048.

речивых символистских истолкований Пушкина не входит в наши задачи, выделим лишь то, что имеет непосредственное отношение к нашей теме. Так, сформулированная Брюсовым антитеза: классическая поэзия, с ее пластичностью и зримостью, и романтическая, с ее порывами в «невыразимое», — имела важнейшее значение для пушкинской мифологии²⁴. Миф об «абсолютном» поэте трансформируется в миф об «аполлоническом» поэте, т. е. поэте, чей гений ограничен сферой внешнего, зримого мира; чей блестящий художественный дар сочетается с отсутствием философской глубины, религиозной идеи²⁵. Отсюда образы: «Ничто, водруженное на Олимп» (А. Белый), «Блистательный, но лживый гений» (Ф. Соллогуб). Отметим особо концепцию Мережковского о «символическом Пушкине» как о «тайне» всей русской культуры²⁶. Опираясь на идеи Гоголя и Достоевского и открывая возможности для самых неожиданных интерпретаций, эта концепция обладала большим мифотворческим потенциалом.

Философско-эстетические мифы о Пушкине при всей их значимости для развития литературы и эстетической мысли функционировали лишь в достаточно узком элитарном кругу и в этом смысле не могли соперничать с более примитивными, но общедоступными мифами. В целом к середине 10-х годов XX столетия русское общество обладало несколькими мифами о Пушкине, спорящими друг с другом, но сосуществующими в одном культурном пространстве. «Национальный гений», «легкомысленный версификатор», «пророк и учитель», «певец царя и Отечества», «друг декабристов», «глава мирового охранения», «абсолютный поэт», «тайна», «провозвестник свободы», «ничто» — какой из этих образов обнаружит большую значимость, какой из мифов получит дальнейшее развитие в обществе, основанном на других началах и новых ценностях?

Советский миф о Пушкине — не самый значительный, но весьма выразительный результат тех глобальных изменений, которые произошли в стране после революции и гражданской войны.

Однако прежде скажем о том образе, к которому разом потянулись русские поэты и интеллигенты, безошибочно почувствовавшие «холод и мрак грядущих дней». Это новое и острое

²⁴ См.: Брюсов В. Я. Вл. Соловьев: Смысл его поэзии//Соч. М., 1987. С. 242—243.

²⁵ Мусатов В. В. Пушкин в эстетическом самосознании русского символизма//Художественная традиция в историко-литературном процессе. Л., 1988. С. 50—52.

²⁶ См.: Мережковский Д. С. Лев Толстой и Достоевский//Полн. собр. соч. М., 1914. Т. IX. С. 115.

чувство, возникшее у них к Пушкину, прозвучало в стихах Блока:

Пушкин! Тайную свободу
 Пели мы вслед тебе!
 Дай нам руку в непогоду,
 Помоги в немой борьбе!²⁷
 (1921)

В. Ходасевич говорил о «страстном желании» ощутить близость Пушкина, «потому что мы переживаем последние часы этой близости перед разлукой <...> Это мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке»²⁸. Ходасевич, возможно, и не предполагал, насколько пророческими окажутся эти его слова. Те, кто сохранил верность духовным ценностям, отвергнутым и запрещенным официальной идеологией, именно через отношение к Пушкину выражали порой свои представления об истинном поэте, о подлинном значении поэзии.

А. А. Ахматова не называет и не оценивает ни одного качества Пушкина, ее восхищает загадочность, необъяснимость гения:

Кто знает, что такое слава!
 Какой ценой купил он право,
 Возможность или благодать
 Над всем так мудро и лукаво
 Шутить, таинственно молчать
 И ногу ножкой называть?..²⁹

Пушкин Ахматовой — это воплощение божественного дара. Сама Муза у Ахматовой непременно «смуглая», конечно, по ассоциации с Пушкиным, «смуглым отроком», бродившим когда-то по аллеям Царского Села. В поэзии Ахматовой всемерно поддерживается связанная с Пушкиным мифологизация Царского Села — отчества поэтов, обители дорогих призраков.

Совсем иной Пушкин у М. И. Цветаевой; это бунтарь, бунт и насмешник, это «бич жандармов, бог студентов, / Желчь мужей, услада жен». Этот Пушкин — «негр», «скалозубый, наглозорый», «африканский самовол». Он — «заморская птица», страдающая от русских холодов и русской косности. Но он же — и «правнук» Петра I, наследник смелости и духовной мощи великого реформатора России³⁰.

²⁷ Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 377.

²⁸ Ходасевич В. Колеблемый треножник//Пушкин. — Достоевский. Пг., 1921. С. 45.

²⁹ Ахматова А. Пушкин//Ахматова А. Стихи и проза. Л., 1976. С. 317.

³⁰ См.: Цветаева М. Соч.: В 2 т. М., 1988. С. 273, 274, 276, 277.

С Петром I неявно соотносит Пушкина и Б. Л. Пастернак, адресуя поэту его же строки о Петре: «На берегу пустынных волн/Стоял он, дум великих полн». Пушкин Пастернака — олицетворение самой поэзии, но поэзия здесь — не божественная Муза, а могучая, неукротимая стихия, столь же реальная, как и другие стихии природы:

Два бога прощались до завтра,
 Два моря менялись в лице:
 Стихия свободной стихии
 С свободной стихией стиха...³¹

Для Пастернака Пушкин — явление, выходящее за пределы обыденного сознания, это тайна, «сфинкс»:

Скала и — Пушкин. Тот, кто и сейчас,
 Закрыв глаза, стоит и видит в сфинксе
 Не нашу дичь: не помыслы в тупик
 Поставленного грека, не загадку,
 Но предка³².

Как видим, все эти столь разные образы Пушкина существуют в рамках старого мифа о «поэте по существу и по преимуществу», но раскрывают это понятие в нетрадиционных, подчас неожиданных аспектах.

Обращает на себя внимание тот факт, что 1920—1940-е годы стали подлинным расцветом пушкиноведения. В эти годы выдвинулась целая плеяда пушкинистов: Б. В. Томашевский, М. А. Цявловский, Т. Г. Цявловская, Г. А. Гуковский, Д. Д. Благой, С. М. Бонди, Н. В. Измайлов, В. В. Виноградов и другие. Развиваются до высокого совершенства почти все дисциплины пушкиноведения: текстология, стиховедение и стилистика, историко-литературное изучение и реальный комментарий. В то время ученые не спорили с фальсификаторами и конъюнктурщиками, не возражали против тенденциозных и попросту неверных толкований, но эти труды решительно выбивались из массы примитивных и тенденциозных сочинений по истории нашей литературы. Не будем гадать насчет политических мотивов властей, пошедших на такое непонятное попустительство. Но мотивы, по которым увлекались Пушкининым блестящие ученые, думается, достаточно ясны. В принципе это те же причины, по которым Пушкин занимал такое значительное место в художественном мире упоминавшихся нами поэтов. (Характерно, что пушкиноведением, причем весьма успешно,

³¹ Пастернак Б. Л. Тема с вариациями//Пастернак Б. Л. Избранное: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 123.

³² Там же. С. 121.

занималась А. А. Ахматова.) Я. А. Гордин справедливо заметил, что характерной чертой времени было «обращение к Пушкину как опоре и ориентиру в хаосе политическом и духовном», что в Пушкине увидели «эталон абсолютной независимости от беснования общественной стихии»³³. Этот факт приобретает особое значение в контексте нашего сюжета: спасительными и эталонными предстали вдруг именно те черты Пушкина, которые обычно или перетолковывались, или ставились ему в вину: непричастность к политическим схваткам, одиночество и подчеркнутая независимость. Этот миф о Пушкине был, быть может, одним из самых плодотворных, ибо давал тем, кто в него веровал, внутреннюю опору, некий нравственный ориентир в страшном и неприемлемом для них мире. Однако он оставался как бы в подтексте культуры, в подсознании общества, одурманенного совсем иными мифами.

Перед идеологами новой эпохи стояла проблема, которая условно может быть обозначена как выбор между двумя легендами: «Пушкин — друг самодержавия» и «Пушкин — жертва самодержавия». Наверное, отчасти стихийно, отчасти сознательно был избран второй вариант, который вскоре был уже официально узаконен. Мифологизация Пушкина пошла под знаком провозглашения его «самым современным из современников» (Д. Бедный), «нашим», народным поэтом, страдавшим и непризнанным в царской России и лишь теперь понятым и оцененным по заслугам. В русле этой концепции борьба со старым миром и едва ли не самая гражданская война интерпретировались как своеобразная месть за Пушкина: «Я мстил за Пушкина под Перекопом» (Э. Багрицкий). Поддерживалась легенда о том, что произведения Пушкина были любимым чтением бойцов Красной армии. У нас нет оснований подвергать сомнению свидетельства Артема Веселого: «Том пушкинских стихов я таскал с собой в вещевом мешке в годы гражданской войны по всем фронтам»³⁴ — или Э. Багрицкого: «Я с Пушкиным шатался по окопам». Однако их обоих вряд ли можно считать типичными красноармейцами, и образ Пушкина — «поэта походного политотдела» (Багрицкий) — является чисто мифологическим³⁵. В 1920-е годы миф о Пушкине кажется еще не окончательно сложившимся, подчас внутренне противоречивым. В этом смысле характерна одна из классических формул того времени: «Пушкин — певец быта и нравов дворянского сословия и его разоб-

³³ См.: Гордин Я. Распад, или Перекличка во мраке//Знание — сила. 1990. № 12. С. 43, 45.

³⁴ См.: Литературное наследство. М., 1965. Т. 74. С. 521.

³⁵ См.: Багрицкий Э. Избранное. М., 1964. С. 317, 336—337.

лачитель»³⁶. Конец сомнениям положил пушкинский юбилей 1937 г., заявленный и организованный как общенародный и государственный праздник. Отныне Пушкин безоговорочно провозглашается лучшим, величайшим русским поэтом, а также любимейшим поэтом советского народа. Пушкинский миф образца 1937 г. сводится, в сущности, к двум идеям: «Творчество Пушкина — лучшее, что создала литература под гнетом помещичьего общества» и «Пушкин — участник нашей жизни, нашей культурной стройки»³⁷. Идеи, кажется, небогатые, но эксплуатировались они с таким невиданным усердием, что новый миф быстро завоевал все сферы культурной жизни общества. От литературоведческих штудий до школьных сочинений, от Колонного зала до сельского клуба, от знаменитого поэта до безвестного рабочего — все, всегда и всюду восхищались «величайшим в мире поэтом действительности», «певцом свободы» и «врагом религиозных предрассудков», проклинали «светскую чернь» и «феодално-крепостнический гнет» и клялись, что гениальный поэт, непонятый при жизни, необыкновенно близок «людям свободной социалистической страны». Всенародная любовь к Пушкину — одна из важных составляющих мифа — получала все новые неслыханные подтверждения. Огромные тиражи пушкинских изданий, пушкинские спектакли в заводских драмкружках, десятки тысяч паломников в пушкинские места и отзывы, бесконечные отзывы о поэте рабочих, колхозников и комсомольских вожаков. Казалось, каждый советский человек стремился сообщить в газету, что у Пушкина все «ясно и понятно изложено» или что «больно он хорошо пишет»³⁸. Неизвестный колхозник трогательно мечтал: «Как бы лелеяли и берегли Александра Сергеевича, если бы он жил в наше время»³⁹, а безымянный автор задорно восклицал: «Александр Сергееч Пушкин,/Жаль, что с нами не живешь,/Написал бы ты частушки,/Чтобы пела молодежь!»⁴⁰

Примечательно, что советский миф о Пушкине создавался отнюдь не на пустом месте, а развивался в русле традиции. В этом есть некий парадокс: теперь, когда жизнь России во всех ее сферах изменилась столь резко и кардинально, шаблоны и стереотипы в представлениях о Пушкине, тесно связанные

³⁶ См., например: *Войтоволский Л.* Пушкин и его современность//Красная новь. 1925. № 6. С. 228—259.

³⁷ См.: *Якубович Д.* Почему нам близок Пушкин?//Сов. студенчество. 1937. № 2. С. 43.

³⁸ См.: *Дурылин С.* Два юбилея//Смена. 1937. № 1. С. 11.

³⁹ См.: *Якубович Д.* Почему нам близок Пушкин? С. 45.

⁴⁰ См.: *Мануйлов В. А.* Любимый поэт советского народа//Портреты любимых писателей. Петрозаводск, 1937. С. 28.

с общественной ситуацией конца XIX в., должны были бы безвозвратно уйти в прошлое. Они же, напротив, как будто обрели новую жизнь, оказавшись удивительно хорошо пригодными для воплощения идеологических догм новой эпохи. И снова яркие образцы мифологизированных представлений о Пушкине предлагает нам стихотворная беллетристика. По очень многим позициям она явственно перекликается с соответствующими произведениями 1880—1890-х годов.

В обязательном наборе качеств, приписываемых Пушкину официальной доктриной, одно — «любовь к простому народу» — осталось неизменным, два других — «преданность царю» и «верность православию» — были заменены на прямо противоположные — «ненависть к царю» и «непреклонный атеизм». Надо ли говорить, что степень приближения к истине в обоих случаях примерно одинаковая. Задача состояла в другом — сделать из Пушкина эталон добродетели во вкусе эпохи. Что касается судьбы Пушкина в потомстве и претворения в жизнь заветов «учителя», то здесь мы не встречаем решительно никаких новых поворотов темы. Только если в прошлую эпоху были некоторые неясности относительно того, пришел ли тот «светлый день», когда Пушкин обрел полное понимание и любовь народную, то в 30-е годы XX в. в этом уже нет никаких сомнений:

Мы пришли
 Со всех сторон отчины,
 Чтоб ему поведать напрямик,
 Как чудесно
 В нашей бурной жизни
 Бьет его поэзии родник.
 Рассказать,
 Что краше год от года
 Новизною расцветает Русь,
 Как читают
 С гордостью народы
 Пушкинские строфы наизусть⁴¹.

Пушкинские «пророчества» толкуются столь же прямолинейно, хотя сами пророчества изменились. Теперь большой популярностью в этом смысле пользуются строки: «Россия вспрыгнет ото сна,/И на обломках самовластья/Напишут наши имена», а также: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой/И назовет меня всяк сущий в ней язык». Порой авторы уже не удовлетворяются цитированием, а вкладывают в уста Пушкина пророчества собственного сочинения. Так, во время воображаемой

⁴¹ Горюнов А. В доме на Мойке//Горюнов А. Простыми словами. Великие Луки, 1949. С. 62—63.

встречи одного из поэтов с Пушкиным Пушкин раздражается восторженной тирадой:

О, я знаю, ты счастлив, мой друг дорогой,
 Что живешь в Советской стране!
 < >

Это светлое утро когда-то во мгле,
 В злое время предчувствовал я.
 Не за этот ли нынешний праздник в петле
 Задыхались друзья? ⁴²

Так же как прежде, усиленно обыгрывается в связи с Пушкиным национально-патриотическая тематика:

Нет равного Пушкину в мире поэта
 И песен, которые так бы цвели,
 Как нету на свете прекраснее этой,
 Родившей нам Пушкина, русской земли ⁴³.

Правда, теперь наряду с великим русским народом с уютной обстоятельностью перечисляются все другие народы Советского Союза. Авторы бесконечных юбилейных статей и выступлений на митингах и торжественных собраниях следовали тем же канонам: «Он верил, что придет время, когда у его могилы „младая будет жизнь играть“. Это время пришло, ибо наша страна — страна молодости, отечество людей, создающих в героической борьбе, свободным радостным трудом ту жизнь разума и свободы, о которой мечтал великий русский поэт» ⁴⁴; «Пушкин завещал нам смотреть на литературную деятельность как на деятельность государственную, направленную на благо народа. И мы верны этому завету. Пушкин завещал нам борьбу за высокие передовые идеи. Мы выполняем его завет» ⁴⁵; «Так раскрывается в наши дни подлинный облик Пушкина — поэта-патриота, решавшего коренные вопросы русской жизни, великого деятеля передовой русской национальной литературы, друга и учителя наших братских литератур, одного из величайших мировых художников слова. <...> Недаром <...> так часто говорилось о том, что Пушкин не только наш предшественник, но и наш современник, сверстник, наш боевой соратник» ⁴⁶.

⁴² Гукасян А. Нет, весь я не умру. // Новый мир. 1949. № 6. С. 13.

⁴³ Бекхожин Х. Голос России/Пер. Я. Смелякова//Бекхожин Х. Избранное. Алма-Ата, 1958. С. 71.

⁴⁴ Десницкий В. А. Пушкин и его время//Пушкин: Материалы юбилейных торжеств. М.; Л., 1951. С. 260.

⁴⁵ Первенцев А. Выступление на митинге памяти Пушкина//Там же. С. 372.

⁴⁶ Паперный З. М. В борьбе за подлинного Пушкина//Пушкин в школе. М., 1951. С. 200.

Сила воздействия этого мифа о Пушкине заключалась и в том, что среди его творцов и пропагандистов были люди знаменитые и выдающиеся. Пушкинисты Д. Д. Благой, В. Б. Шкловский, Д. П. Якубович, В. А. Десницкий; поэты Н. С. Тихонов, М. А. Светлов, Я. В. Смеляков, К. М. Симонов; писатель К. Г. Паустовский и академик С. И. Вавилов — все они (и можно назвать еще много известных имен) в своих речах, статьях, стихах и пьесах рассуждали соответственно общим установкам, и рассуждения эти — увы! — не очень отличались от сентенций дежурных стихоплетов и борзописцев. Но, наверное, не только на страхе и принуждении держался этот миф, не только инерция мышления питала его. Как и все сколько-нибудь влиятельные и популярные мифы, он опирался и на реальные запросы общества, затрагивал и живые струны в душах людей. В нем отозвались и действительная, непритворная любовь к Пушкину, и редкая по тем временам возможность адресовать восхищение тому, кто в самом деле его заслуживает, и национальная гордость, и затаенный интерес к прошлому своей страны. В общем, этот мифический Пушкин, видимо, вполне соответствовал представлениям общества о великом национальном поэте. Неудивительно, что этот миф в целом оказался очень живучим: влияние его ощутимо и в наши дни. Однако с середины 1950-х годов господствующая идеология постепенно теряла свою силу: все меньше энтузиазма она вызывала, все менее ревностно насаждалась. Слабел, размывался, терял былую жесткость и определенность и советский миф о Пушкине. Отдельные образы, утрачивая способность воплотить сколько-нибудь живое содержание, годились лишь для пародии. Так, образ поэта-пророка незаметно стал моделью для анекдотов (Пушкин первым возгласил: «Октябрь уж наступил!», Пушкин завещал: «Души прекрасные порывы!» и т. п.).

Процесс медленного высвобождения общественного сознания вылился, в частности, в новую мифологическую модель, получившую название «Мой Пушкин». Она имела даже некую традицию, восходившую к известным книгам В. Я. Брюсова и М. И. Цветаевой⁴⁷, и обладала свойствами, необходимыми для выживания в шатком равновесии общественной ситуации 1960-х годов. Формула «Мой Пушкин», заведомо предполагая известную необязательность создаваемого образа, как бы не покушалась на образ официальный и узаконенный, но в то же время давала простор для нетривиальных подходов и концепций. Характерно, что она широко использовалась на самых раз-

⁴⁷ Брюсов В. Мой Пушкин: Статьи, исследования, наблюдения. М.; Л., 1929; Цветаева М. Мой Пушкин. М., 1967.

ных уровнях: от стихов и деклараций известных поэтов и писателей до школьных сочинений. Этот новый миф был, естественно, разноречив и неоднороден. Интимное «мой», заменившее прежнее «наш», оборачивалось то проникновенным лиризмом, то бесцеремонной фамильярностью. О «своем» Пушкине заявили не только Б. Ахмадулина, А. Кушнер, Д. Самойлов, но и бесчисленные графоманы, давшие богатый материал пародисту А. Иванову для сборника «С Пушкиным на дружеской ноге» (Л., 1981).

Если же попытаться обозначить главное, что привлекало в Пушкине поэтов 1960—1970-х годов, то скорее всего получится несколько смутный образ гармонической личности, многогранного гения, легко совмещавшего в себе художника и гражданина⁴⁸. Как и другие мифы, этот миф о Пушкине опирался на реальность и все же с реальностью не совпадал. Но если другие мифы, о которых у нас шла речь, отличались неким смещением масштабов, гипертрофированием тех или иных сторон творчества и личности Пушкина, очевидным упрощением его образа, то этот миф был абстрактен и расплывчат. Он не смог породить ярких, доступных и привлекательных для общества образов. А в это время в массовом сознании активно формировался достаточно неожиданный для российской традиции миф о Пушкине — «хорошем человеке». С поразительной последовательностью из всего богатства противоречивой личности Пушкина и бурной его жизни отбирались те черты и факты, из которых складывался образ доброго веселого человека, верного товарища, любящего отца и заботливого мужа. Каждая из этих черт в отдельности не была вымышленной, но образ, сконструированный исключительно из них, не очень соответствовал своему реальному прототипу. Между тем многие люди так искренно обожали этого мифического Пушкина, что не на шутку гневались, встречая в пушкиноведческих работах не соответствующие такому образу факты и гипотезы. Зато огромным читательским успехом пользовались сочинения, поддерживавшие и развивавшие новый миф⁴⁹. Интересно, что на первый план все более активно выдвигался образ жены поэта, интересующий публику едва ли не более, чем он сам.

⁴⁸ См.: Михайлов Ал. «Что в имени тебе моем?»: (Пушкин и современная поэзия)//Вопр. лит. 1973. № 2. С. 51.

⁴⁹ Например: Кузнецова А. «А душу твою люблю...» Повесть о Доризо Н. 1) Мой Пушкин//Октябрь. 1972. № 8. С. 85—88; 2) Жена поэта: (Пolemические раздумья)//Молодая гвардия. 1983. № 10. С. 185—216; Ободовская И., Дементьев М. Вокруг Пушкина. М., 1975.

Наталье Николаевне Пушкиной: Подлинные письма и факты. Предположения. Раздумья//Октябрь. 1982. № 2. С. 3—71;

Бывший пророк, учитель и основоположник стремительно превращался в мужа красавицы Натальи Николаевны и рисовался воображению не иначе, как в окружении кудрявых малышей.

Таким образом, к концу 1980-х годов мифологизация Пушкина как будто зашла в тупик, придя к такому мифу, который почти не нуждается, как в своей основе, в фигуре такого масштаба, как Пушкин. Однако уже очевидно, что в бурных дебатах наших дней мы по-прежнему не можем обойтись без Пушкина. Вокруг его имени закипают споры потомков западников и славянофилов, современных революционных демократов и приверженцев «чистого искусства»⁵⁰. Из этих споров, стычек, раздумий и фантазий наверняка родится новый миф. Миф о Пушкине развивается вместе с обществом, выражая в опосредованной форме его явные или скрытые идеалы. Потому невозможно сказать, каким будет Пушкин XXI в. — это зависит от того, какими будем мы.

⁵⁰ См.: Глушкова Т. Пушкинский словарь//Москва. 1990. № 6. С. 180—196; Непомнящий В. С. Наш Пушкин//Лит. газ. 1990. 5, 9 сент.; Сарнов Б. Уроки Розанова//Огонек. 1991. № 8. С. 24—25; Скатов Н. Н. «Но есть у нас Пушкин...»: (Полемические заметки)//Правда. 1991. 8 июня. № 137 и др.



и граи' Радн' АР

Г. Е. Потапова

«ВСЁ ПРИЯТЕЛИ КРИЧАЛИ, КРИЧАЛИ...»

**(Литературная репутация Пушкина
и эволюция представлений о славе
в 1820—1830-е годы)**

1830-е годы были во многом переломной эпохой в развитии русской литературы. Отвергались многие старые ценности и утверждались новые, пересматривались прежние литературные репутации. Не случайно в эту переломную эпоху интенсивнее, чем когда-либо, задумывались над факторами, определяющими читательский успех, славу писателя. Ведь представления о том, что такое литературная слава, каковы механизмы ее возникновения и распространения¹, — это немаловажная составляющая представлений о месте писателя в культуре и в обществе в це-

¹ Некоторые аспекты этой проблемы были рассмотрены в 1920-е годы Л. Шюккингом (рус. пер.: Шюккинг Л. Социология литературного вкуса/Ред. В. М. Жирмунский. Л., 1928).

лом, и исследование того, как эволюционировали представления о славе в ту или иную эпоху, могло бы оказаться любопытным во многих отношениях.

В литературной полемике тех лет нередко возникали своего рода легенды о причинах славы того или иного писателя. Так, у Н. В. Гоголя в «Театральном разезде после представления новой комедии» один персонаж, обозначенный как «литератор», следующим образом рассуждает о только что кончившейся комедии, в которой угадывается «Ревизор»: «...да ведь это все вздор, это всё приятели, приятели хвалят, всё приятели! Я уже слышал, что его чуть не в Фонвизины суют, а пиеса просто недостойна даже быть названа комедиею. <...> Просто друзья и приятели захвалили его не в меру, так вот он уж теперь, чай, думает о себе, что он чуть-чуть не Шекспир. У нас всегда приятели захвалят. Вот, например, и Пушкин. Отчего вся Россия теперь говорит о нем? Всё приятели кричали, кричали, и потом вслед за ними и вся Россия стала кричать»². В этом монологе по-гоголевски гротескно преломилась одна из своеобразных легенд о Пушкине, пущенных в ход враждебной поэту критикой 1830-х годов. Отчасти эта легенда о славе, созданной приятелями, была перенесена и на Гоголя, который воспринимался петербургскими журналистами во многом как писатель пушкинского круга³.

Разоблачать эту легенду сегодня уже ни к чему: время расставило все по своим местам. Но стоит повнимательнее при-

² Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. V. С. 141.

³ Еще Н. С. Тихонравовым отмечено, что слова о приятельских похвалах пародируют суждения Ф. В. Булгарина и О. И. Сенковского, относящиеся к 1836 г. (см.: Гоголь Н. В. Соч. 10-е изд. СПб., 1889. Т. II. С. 781—785). Очевидно, сюда надо добавить еще и рецензию Н. А. Полевого на второе издание «Ревизора» (Рус. вестн. 1842. № 1. Отд. III. С. 60—62). Хотя документальных свидетельств о знакомстве Гоголя с этой статьей не имеется, трудно все же допустить, что, находясь в Москве, он не читал статью Полевого: ведь даже из-за границы Гоголь настойчиво просил присылать ему все отзывы о его произведениях. К тому же весь монолог «литератора» отсутствует в первой редакции «Театрального разезда...» и появляется именно во второй редакции, написанной в июле — октябре 1842 г. Мысль о том, что Гоголя захвалили друзья, звучит у Полевого еще отчетливее, чем у Булгарина и Сенковского. Собственно, вся его рецензия от начала до конца строится как развитие именно этой мысли. Знакомство Гоголя со статьей Полевого подтверждается еще и тем, что «литератор» упоминает имя Шекспира, не упоминавшееся в рецензиях Булгарина и Сенковского («...он уж теперь, чай, думает о себе, что он чуть-чуть не Шекспир...»). О притязаниях Гоголя на славу Шекспира говорил именно Полевой: «...мнимые друзья автора увидели в „Ревизоре“ что-то шекспировское, превознесли его, прославили. <...> Разве Шекспир только мог бы так писать о себе и о своих творениях и так говорить о характере своего Гамлета, как г. Гоголь говорит о характере Хлестакова» (Полевой Н. А., Полевой Кс. А. Литературная критика. Л., 1990. С. 337).

смотреться к ее глубинному смыслу, связанному, в конечном итоге, с той сменой представлений о писателе и его месте в обществе, которая происходила в русской культуре в 1820—1830-е годы. Для этого проследим сначала, как и кем создавалась легенда, пародированная Гоголем в «Театральном разъезде...».

Чрезвычайно часто встречаются обвинения такого рода в разгоревшейся в 1830 г. полемике о «литературной аристократии» (так именовали пушкинский круг, сплотившийся около «Литературной газеты»). Например, Булгарин в «Северной пчеле» обвинял П. А. Вяземского в том, что он пишет «только панегирики своим друзьям и филиппики против несогласных с ним во мнениях»⁴. В «Сыне отечества и Северном архиве» высмеивались приятели-литераторы Ряпушкин, П. Коврыжкин и барон Шнапс фон Габенихтс, в которых читатели легко угадывали Пушкина, Вяземского и Дельвига⁵. Другой противник «Литературной газеты», М. А. Бестужев-Рюмин, изобразил на страницах «Северного Меркурия» некую Аделаиду Антоновну Габенихтсину, владелицу нового магазина (под которым подразумевалась «Литературная газета»): «Если теперь поступает в продажу что-нибудь из рукоделья ее приятельниц, то Аделаида Антоновна так и рассыпается мелким бесом и не знает, как бы лучше расхвалить мастерство дорогой кумушки»⁶. Подобные выпады против пушкинского круга нередко встречаются и в «Московском телеграфе»⁷.

Упрек в расхваливании друг друга предъявляли еще писателям-«арзамасцам». Так, в комедии А. С. Грибоедова и П. А. Катенина «Студент» (1817) литератор Беневольский мечтает: «Тут же встретятся мне авторы, стихотворцы, которые уже стяжали себе громкую славу, признаны бессмертными — в двадцати, в тридцати из лучших домов, я к ним буду писать послания, они ко мне, мы будем хвалить друг друга. О, бесподобно!»⁸

Представление о приятелях, расхваливающих друг друга, было самым расхожим и в борьбе «Благонамеренного» с так называемым союзом поэтов (А. А. Дельвиг, Е. А. Баратынский, В. К. Кюхельбекер). Об их «самохвальстве» и «кругохвальстве»

⁴ Сев. пчела. 1830. № 13. 30 янв.

⁵ Коврыжкин П. Запоздалое предисловие к «Альдебарану»//Сын отеч. и Сев. арх. 1830. Т. XI. № 16. С. 244—246.

⁶ VI.XI. <Бестужев-Рюмин М. А.> Сплетница//Сев. Меркурий. 1830. № 49. С. 195.

⁷ См., например, рецензию: <Полевой Н. А.> «Монастырка». Соч. А. Погорельского; «Федора» <...>. Соч. П. Сумарокова//Моск. телеграф. 1830. № 5. С. 93—95.

⁸ Грибоедов А. С. Соч. М., 1988. С. 179.

говорил на страницах «Благонамеренного» Б. М. Федоров в своих статьях и пародийных стихотворениях⁹. Аналогичные обвинения выдвигал против «союза поэтов» Булгарин в статье «Литературные призраки», помещенной в «Литературных листках»¹⁰.

Применяемая к «литературной аристократии» памфлетная кличка «знаменитые друзья» заставляет вспомнить о литературных полемиках десятилетней давности, когда часто шло в ход это выражение, заимствованное журналистами из заметки А. Ф. Воейкова в № 13 «Сына отечества» за 1821 г.¹¹ Особенно часто такая кличка использовалась в статьях, направленных против Вяземского¹². Сочинители этих статей обычно старались подчеркнуть, нападая на «авторов, которые обвинялись, как плющ, около великих талантов и под сенью их наслаждаются славой, ничем не заслуженною»¹³, дарование ведущего поэта «новой школы» — Жуковского — они почитают. Но нередко за этими уверениями было ошутимо неприятие «школы Жуковского» в целом.

В 1829 г. Н. И. Надеждин в статье о «Полтаве» применил к Пушкину слова из басни И. А. Крылова, в которой говорится о муравье, воображавшем себя великим, а на самом деле дивившем своими «подвигами» лишь свой муравейник¹⁴. Подобные толки возбудил и вышедший в 1829 г. сборник стихотворений Дельвига¹⁵.

В 1830 г. пушкинский круг, включавший в себя и «арзамасцев», и членов «союза поэтов», объединился в «Литературной газете». Вполне естественно, что прежние упреки в «кругохвальстве» с удвоенной силой возобновляются врагами нового издания. Но в нападках начала 1830-х годов появляется и нечто новое по сравнению с первой половиной 1820-х годов.

⁹ Письма в Тамбов о новостях русской словесности//Благонамеренный. 1824. № 7. С. 54—55; Союз поэтов//Благонамеренный. 1822. № 39. С. 512—514; Сознание//Благонамеренный. 1823. № 11. С. 342—344. Ср. также: *И. <Яковлев П. Л.> Средства распространять круг своих читателей//Благонамеренный. 1824. № 15. С. 213.*

¹⁰ Лит. листки. 1824. № 16. С. 93—94.

¹¹ См.: *Полевой Кс. А.* Записки. СПб., 1888. С. 98—99.

¹² См., например: *Дмитриев М. А.* Отрывок из Кодекса знаменитости//Вестн. Европы. 1824. № 9. С. 58—62; *А. А. А. <Писарев А. И.>* Нечто о Словах//Вестн. Европы. 1824. № 12. С. 290; *<Булгарин Ф. В.>* Маленький разговор о новостях литературы//Лит. листки. 1824. № 8. С. 323.

¹³ *Писарев А. И.* Еще разговор между двумя читателями «Вестника Европы»//Вестн. Европы. 1824. № 8. С. 309.

¹⁴ См.: Вестн. Европы. 1829. № 8. С. 289.

¹⁵ Так, о «неумеренных похвалах писателя своим друзьям» говорил рецензент «Галатеи» (1829. № 19. С. 187).

Конечно, сам по себе упрек в том, что какого-либо писателя не в меру расхвалили его друзья и сторонники, не имеет в себе ничего особенно характерного: этот упрек вечен. Однако к началу 1830-х годов во многом изменились сами представления русских критиков о норме отношений между писателем и публикой. Причину этого следует искать в постепенной демократизации литературы, во вхождении в русскую культуру массового читателя. Период салонного и кружкового бытования литературы кончается, и в свои права вступают законы книжного рынка¹⁶. В этих условиях утверждения журналистов о том, что слава Пушкина была сильно преувеличена его друзьями и потому нуждается в пересмотре, становятся одним из моментов борьбы против традиций «салонной», «аристократической» литературы вообще¹⁷. Демократизация литературы приводит к тому, что меняются сами представления о месте писателя в обществе — и не в последнюю очередь представления о том, что такое литературная слава, как и кем должна она создаваться.

Прежде отношения между писателем и его читателями строились в представлении критиков иерархически. Писатель должен был ориентироваться на суд немногих беспристрастных знатоков, обладающих просвещенным вкусом. «Ищи людей, которые способнее других ценить твои работы: их суд есть голос современников и приговор потомства. Имей друзей, согласных с тобою в образе чувства, в желании действовать и в выборе цели», — советовал писателям В. А. Жуковский в 1808 г. и продолжал: «Непристрастная заслуженная похвала избранных, которых великое мнение управляет общим и может его заметить, вот слава истинная, продолжительная, достойная иска-

¹⁶ См.: Гриц Т., Тренин В., Никитин М. Словесность и коммерция. М., 1929; Эйхенбаум Б. М.: 1) Мой современник. Л., 1929. С. 56—57, 62—70; 2) О литературе. М., 1987. С. 434—435.

¹⁷ Следует подчеркнуть, что отвержение «салонной» литературы было тесно связано с тем процессом демократической переоценки ценностей, который происходил в общественном сознании 1830-х годов. Вообще отношение публики к тому или иному писателю все в большей мере определялось той политической позицией, которой придерживался этот писатель. Так, Булгарин нападает на Пушкина во многом именно с «третьесловных» позиций. Охранительное содержание булгаринских нападок этому не противоречит: дело в том, что охранительные взгляды были в то время присущи весьма значительной части разночинной публики. Но упреки Пушкину могли предъявляться и с радикально-демократических позиций. Например, Белинский в своем знаменитом зальцбрунском письме к Гоголю утверждал, что Пушкину «стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви» (Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1982. Т. 8. С. 286).

ния!»¹⁸ Суждение знатоков противопоставляется суждению публики, врожденный вкус которой еще не отшлифован воспитанием. «Публика, милостивый государь, дама: она любит, чтобы ее водили под руку. Имеет вкус, но не отягощает его трудом сравнивать, избирать и потому часто бывает эхом любимого журнала. Сим расположением публики должно пользоваться, направляя его ко всему изящному посредством благоразумной критики», — писал в 1820 г. А. А. Бестужев¹⁹. Толпа склонна к предубеждениям, затмевающим ясность разума и вкуса. Жуковский в цитированной выше статье говорит, что рукоплескания толпы «повинуются внезапному побуждению», и называет некоторые причины этих «случайных похвал»: «... один хвалит из дружбы, другой из жалости, третий из противоречия, четвертый в надежде подкупить, пятый от равнодушия (<...>) шестой из зависти, желая оскорбить или унижить соперника»²⁰. Известность, основанная на суждениях толпы, — это лишь мнимая слава, или мода. Она преходяща, как преходящи по природе своей сами человеческие эмоции и заблуждения: «Слава, которой человек обязан заблуждению, есть иллюзия славы, которая разрушается при первых же лучах разума и истины»²¹. Истинная же слава основывается на суждениях ценителей, обладающих образованным вкусом. Она непреходяща, и время лишь способствует ее утверждению: «Слава как река, которая делается все более многоводной по мере удаления от истоков (<...>) и как родники, которые бьют все сильнее по мере того, как проходят века»²².

Следует подчеркнуть, что ориентация на поэзию «для немногих» не являлась собственно элитарной или эстетской. Ведь она совсем не исключала мысли о широкой славе, время для которой настанет тогда, когда уйдут в прошлое сиюминутные заблуждения публики.

Правда, в первой половине 1820-х годов критики-декабристы (и не только они) упрекали поэтов школы Жуковского в отсутствии общезначимого содержания, высоких гражданских идей и требовали от литературы «непритворного изложения чувств высоких и к добру увлекающих»²³. Однако и самому Жуковскому вовсе не было чуждо убеждение в том, что поэзия

¹⁸ Жуковский В. А. Письмо из уезда к издателю // Жуковский В. А. Эстетика и критика. М., 1985. С. 165—166.

¹⁹ Декабристы: Эстетика и критика. М., 1991. С. 59.

²⁰ Жуковский В. А. Письмо из уезда к издателю. С. 166.

²¹ Гельвеций К. А. Соч. М., 1973. Т. 2. С. 285—286.

²² Там же. М., 1973. Т. 1. С. 88.

²³ Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951. Т. 1. С. 270.

должна пробуждать в человеке высокие чувства (конечно, не в декабристском понимании). В цитированной выше статье Жуковский говорит, что писатель, увлекшийся минутным успехом и забывший о требованиях истинного вкуса, «никогда не достигнет благородной цели писателя — пользы, распространения идей, благодетельных для человечества, наслаждений, совершенствующих душу»²⁴.

С другой стороны, самим декабристам не чужд критерий «образованного вкуса», а также представление о руководящей роли «ценителей» в восприятии литературных произведений массой «публики» (это доказывают приведенные выше слова из статьи Бестужева). Таким образом, в принципе схема соотношений между писателем и публикой здесь остается такой же, как у Жуковского.

Не нарушают этой иерархической схемы и те критики, которые нападают на «кругохвальство» в среде «знаменитых» и в «союзе поэтов». Они по-прежнему апеллируют к просвещенному вкусу как к высшему авторитету в литературных вопросах. «Дружеские похвалы» вызывают их протест именно потому, что они якобы основываются на личных привязанностях, заставляющих пренебрегать беспристрастностью образованного вкуса.

К 1830-м годам сама иерархичность прежней схемы соотношений между писателем, ценителями и публикой ставится под сомнение. Кс. А. Полевой замечал в 1829 г., что «в русской публике давно слышны жалобы на безотчетные похвалы сочинениям Пушкина»²⁵. О том, что публика восстает против магии имен и хочет произвести определенную переоценку ценностей, свидетельствует хотя бы напечатанная в том же году в «Дамском журнале» эпиграмма по поводу издания Баратынским и Пушкиным «Бала» и «Графа Нулина»:

Два друга, сообщась, две повести издали;
Точили балы в них и все нули писали;
Но слава добрая об авторах прошла,
И книжка вдруг раскуплена была.
Ах! часто вздор плетут известные нам лица,
И часто к их нулям мы ставим единицы...²⁶

Эту тенденцию использует враждебная Пушкину журналистика. Булгарин, Надеждин, Полевой начинают говорить о ложности той репутации, которая прежде создавалась немногими «ценителями», а публикой принималась на веру.

²⁴ Жуковский В. А. Письмо из уезда к издателю. С. 167.

²⁵ Полевой Н. А., Полевой Кс. А. Литературная критика. С. 370.

²⁶ Л. Авторы//Русская эпиграмма (XVIII — начало XX века). Л., 1988. С. 363.

Глубина осмысления этих вопросов могла быть очень различной. Так, Булгарин, апеллируя к широкой публике и отвергая суд «немногих», заботился в первую очередь о коммерческом успехе собственных сочинений, а уж попутно предъявлял «литературным аристократам» якобы принципиальные упреки с демократических позиций. «Дух литературных партий (существовавший и существующий везде) и положение г. Булгарина как журналиста и читаемого автора лишают его удовольствия выслушать в России печатный справедливый приговор своим трудам. Кроме того, автор „Димитрия Самозванца“ не употребляет никаких известных мер для приуготовления мнения общества большого света в свою пользу: не читает предварительно своих сочинений в рукописи в собраниях, не задобривает суждения тех, которые имеют вес в обществе, но трудится в тишине кабинета, печатает и отдает свои сочинения на суд беспристрастной публики», — говорится в «Северной пчеле» по поводу нового романа Булгарина «Димитрий Самозванец»²⁷. Чтение сочинений в рукописи «в собраниях», в «большом свете» — все это приметы периода «салонного» бытования литературы, конец которого предвещает «Северная пчела». Впрочем, говорить в таком духе о суде публики Булгарин начал гораздо раньше. В 1824 г. он писал о Вяземском как об одном из «сочинителей, которые смотрят на вещи чрез цельные стекла гостиных и по слухам пишут о России и русских сочинениях», и восклицал: «Гораздо легче прослыть великим писателем в кругу друзей и родных, под покровом журнальных примечаний, нежели на литературном поприще в лавках хладных книгопродавцев и в публике»²⁸. То, что Булгарин столь рано заговорил о коммерческом успехе как о едва ли не высшем критерии ценности художественных произведений, во многом объясняется его собственной литературной практикой.

Что же касается Надеждина, то он возмущается торгашеством в литературе, однако отчасти вторит Булгарину, осуждая с демократических позиций «литературную аристократию». То, что «литературные аристократы» именуют славой, для Надеждина всего лишь «молва, скитающаяся по гостиным и будуарам на крыльях журнальных листков, вместе с модами и известиями о *Лебедянских скачках*»²⁹. Позднее, в 1832 г., Надеждин, говоря о Пушкине, повторит, что «его народность ограничивалась тесным кругом наших гостиных, где русская богатая при-

²⁷ Сев. пчела. 1830. № 22. 20 февр.

²⁸ <Булгарин Ф. В.> Литературные новости, замечания и прочее//Лит. листки. 1824. № 7. С. 281—282.

²⁹ <Надеждин Н. И.> «Евгений Онегин», роман в стихах. Глава VII, сочинение Александра Пушкина//Вестн. Европы. 1830. № 7. С. 197.

рода вылощена подражательностью до совершенного безличия и бездушия. Отсюда непрочность его успехов и славы»³⁰.

Н. А. Полевой, тоже одушевленный стремлением к демократизму и народности, подкрепляет представление о публике как о высшем суде для писателя, ссылаясь на романтическую концепцию искусства как высшего выражения народного духа. Для романтической критики значение поэта определяется уже не тем, насколько его произведения отвечают вневременным требованиям «образованного вкуса», а тем, насколько творчество поэта созвучно с духом его эпохи и его народа. На смену вневременным представлениям классиков о вечных законах искусства приходит романтический историзм. Крепнет убеждение в том, что то содержание, которое сумел запечатлеть автор в своем произведении, имеет для всех его современников (или соотечественников) непосредственно жизненное значение. А потому естественно представление Полевого, что «венок лавровый в наше время дается <...> с приговора народов»³¹. *Здесь и сейчас* надо обращаться к публике и ждать ее справедливого суда: «Смело передавайте публике высокие тайны души вашей: она оценит и поймет их; ни одна прекрасная мысль, ни одно изящное слово не ускользнет от ее внимания»³².

Новые представления о норме отношений между писателем и публикой остаются в общем-то чуждыми пушкинскому кругу. «В других землях писатели пишут или для толпы, или для малого числа. У нас последнее невозможно, должно писать для самого себя» (XII, 180), — эти строки написаны Пушкиным в 1833 г., причем к словам «для малого числа» он делает следующее примечание: «Сии, с любовью изучив новое творение, изрекают ему суд, и таким образом творение, не подлежащее суду публики, получает в ее мнении цену и место, ему принадлежащие» (XII, 180). Здесь место писателя в цивилизованном обществе характеризуется практически в тех же категориях, что и в цитированной выше статье Жуковского (ср.: «...похвала избранных, которых великое мнение управляет общим и может его заменить»). Разве что в словах о «творении, не подлежащем суду публики», звучит горечь, которой не было у Жуковского, — горечь навеянная одиночеством поэта в годы торжества «торгового направления» в литературе.

Такие представления отнюдь не исключают признания высокой общественной роли писателя: «...дружина ученых и писателей, какого б <рода> <?> они ни были, всегда впереди во всех

³⁰ <Надеждин Н. И.> Летопись отечественной литературы//Телескоп. 1832. Ч. IX. № 9. С. 122.

³¹ Полевой Н. А., Полевой Кс. А. Литературная критика. С. 30.

³² Там же. С. 91.

набегах просвещения, на всех приступах образованности» (XI, 163). Но дело в том, что эту роль писатели выполняют не непосредственно своими художественными произведениями, а участвуя в качестве «общественных лиц» (XI, 162) в разного рода прениях и т. д. Такое представление об общественной роли писателя является по сути своей просветительским, далеким от романтических мессианских идей.

Конечно, тут невольно вспоминаются хрестоматийные строки:

И долго буду тем любезен я народу,
 Что чувства добрые я лирой пробуждал...
 (III, 424)

Но, как уже говорилось выше, мысль о пробуждении поэтом добрых чувств в человеческих сердцах была не чужда и предшественникам Пушкина — Жуковскому, например. Чрезвычайно важно и то, что в этом стихотворении Пушкин отчетливее, чем где-либо, противопоставляет величие *посмертной славы* современным порицаниям, которые можно и должно презирать. «Чувства добрые», пробужденные лирой поэта в «жестокий век», будут иметь все то же значение по прошествии многих веков, — более того, по-настоящему раскроется этот высокий человеческий смысл поэзии только в потомстве. Вопрос о *современной славе* как бы снимается, оказывается не столь уж важным — и поэт обращается к Музе с исполненными спокойного достоинства словами:

Хвалу и клевету приемли равнодушно
 И не оспаривай глупца.
 (III, 424)

А вокруг кипела уже совершенно иная эпоха с иными представлениями о поэзии, о славе, о месте литературы в обществе. Эти новые веяния были ощутимы на всех уровнях культуры — от самых пошлых журнальных толков до самых высоких порывов творческого духа. Ведь даже Гоголь, на которого петербургские журналисты обрушились с теми же упреками, что на писателей пушкинского круга, и который сам осознавал себя причастным к этому кругу, — даже он был в своих взглядах на отношения писателя и публики человеком совершенно иной, не пушкинской эпохи.

Как нельзя более четко проявляется это различие между Пушкиным и Гоголем уже в их отношении к журнальным отзывам. Когда-то Пушкин писал Вяземскому: «Читая рецензии Воейкова, Каченовского и проч. — мне казалось, что подслушиваю у калитки литературные толки приятельниц Варюшки и Буянова» (XIII, 57). В гоголевском отношении к подобным отзы-

вам нет и следа пушкинской легкости. «Критики я прочел также все с большим аппетитом. Жаль только, что ты не исполнил вполне моей просьбы и не прислал их всех. Зачем ты не велел скорописцу списать критик Сенковского? Их бы можно было уписистым почерком вместить на двух-трех листах почтовой бумаги и прислать прямо по почте. Нам следует все знать, что ни говорят о нас, и не пренебрегать никаким мнением, какие бы причины их ни внушили. Кто этого не делает, тот просто глуп и никогда не будет умным человеком. Мы, люди, вообще подлецы и не любим или позабываем оглядываться на себя»³³, — пишет Гоголь Н. Я. Прокоповичу в 1843 г. Да и «Театральный развезд...» начинается таким монологом Автора: «Нет, не рукоплесканий я бы теперь желал: я бы желал теперь вдруг переселиться в ложи, в галереи, в кресла, в раек, проникнуть всюду, услышать всех меня и впечатленья, пока они еще девственны и свежи. <...> Мне это нужно: я комик. Все другие произведения и роды подлежат суду немногих, один комик подлежит суду всех; над ним всякий зритель имеет уже право, всякого звания человек уже становится судьей его. О, как бы хотел я, чтобы каждый указал мне мои недостатки и порски! Пусть даже посмеется надо мной, пусть недоброжелательство правит устами его, пристрастие, негодование, ненависть — все что угодно, но пусть только произнесутся эти толки. Не может без причины произвестись слово, и везде может зарониться искра правды. Тот, кто решился указать смешные стороны другим, тот должен разумно принять указанья слабых и смешных собственных сторон»³⁴.

Любопытно, что, говоря о специфике комедии как произведения, о котором могут судить *все*, Гоголь явно повторяет некоторые суждения из статьи Вяземского о «Ревизоре»: «Драматическое произведение, а в особенности комедия народная, или отечественная, принадлежит к сему разряду явлений, которые должны преимущественно обратить на себя общее внимание. О комедии каждый вправе судить; голоса о ней собираются не в тишине кабинета, не пред зеркалом искусства, не по окончании медленной процедуры и применения всех законов литературного кодекса. <...> Нет, голоса собираются по горячим следам в шумном партере, где каждый, кто внес законную долю установленного сбора, допускается к судейским креслам и рядит и судит за свои деньги о деле, подлежащем общему суждению»³⁵. Но то, что у Вяземского было сказано тоном спокойной

³³ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1952. Т. XII. С. 215.

³⁴ Там же. Т. V. С. 137—138.

³⁵ Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 142—143.

констатации, у Гоголя приобретает почти экзотическую эмоциональную напряженность. У Вяземского не было и речи о том, что автор, слушая разнообразные суждения публики, должен извлечь из них нравственный урок для себя, пережить своего рода катарсис. Он просто констатировал, что сама природа театральной постановки дает возможность в одно и то же время услышать суждения, исходящие от двух принципиально различных разрядов читателей, — отзывы образованного общества, которое наделено настоящим литературным вкусом, и отзывы из «классов читателей, нуждающихся в пище простой, но сытой и здоровой»³⁶. Для Гоголя же услышать отзывы *всех* зрителей становится жизненной необходимостью, и то, что «Ревизор» не произвел ожидавшегося писателем живительного воздействия на всю публику, оказывается для него причиной мучительных переживаний, причиной бегства из России, а также и причиной полной эстетической переориентации, поиска новых выразительных средств.

В пушкинском кругу драма, происшедшая в душе Гоголя из-за «Ревизора», была не вполне понята, и это характерно. «Слава — нас учили — дым; / Свет — судья лукавый»³⁷, — в этих строчках Жуковского (1812) выражена важная сторона писательского самосознания, которое было свойственно уходящей в прошлое «пушкинской» эпохе. Современная слава не имела для писателей пушкинского круга решающего значения. Воспитанные в духе просветительских представлений о конечном торжестве образованного вкуса над всеми преходящими заблуждениями публики, они могли найти утешение в понимании узкого кружка ценителей и спокойно и мудро ожидать, что время когда-нибудь воздаст каждому по заслугам его. Им свойственно было и мудрое примирение с тем, что искусство не может воздействовать в равной мере на всех, — вспомним слова пушкинского Моцарта:

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству.
Нас мало избранных, счастливых праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.

(VII, 133)

А в представлении Гоголя искусство должно быть потрясением *для всех*, иначе оно не достигает своей цели. Отзывы це-

³⁶ Там же. С. 142.

³⁷ Жуковский В. А. Стихотворения. Л., 1956. С. 298.

нителей не утешают Гоголя, даже теоретически. «Рассмотри положение бедного автора, любящего между тем сильно свое отечество и своих же соотечественников, и скажи ему, что есть небольшой круг, понимающий его, глядящий на него другими глазами, утешит ли это его?»³⁸ — пишет он М. П. Погодину в 1836 г.

Гоголь стремился к непосредственному диалогу со всей массой своих современников, без различия их сословного положения и образованности³⁹. Именно поэтому он будет требовать, чтобы ему сообщали все отзывы о «Мертвых душах» и о «Выбранных местах из переписки с друзьями». И даже более, он будет «искать в неопределенном множестве русских людей как бы (...) соавторов при создании „Мертвых душ“»⁴⁰. В отличие от писателей пушкинской эпохи, для Гоголя будет иметь решающее значение именно современная слава — точнее, *суд* современников, их приговор, определяющий жизненную значимость созданий автора. Такое изменение писательского самосознания оказалось важным для судеб всей последующей русской классики XIX в., для которой, по выражению Н. А. Бердяева, будет характерна «жажда перейти от творчества художественных произведений к творчеству совершенной жизни»⁴¹.

Итак, в 1830-х годах взгляды на литературную славу во многом становятся иными, чем прежде. Этим новым представлениям суждено было сыграть немаловажную роль в дальнейшем развитии русской культуры. Однако, как нередко случается с самыми серьезными идеями, новые представления о литературной славе легко поддавались вульгаризации и подчас проявлялись в таких формах, которые сегодня кажутся совершенно абсурдными. Так, легенда о том, что пушкинская слава была создана усилиями приятелей, воспринимается сегодня как глупая шутка: настолько естественным кажется нам то поистине уникальное положение, которое ныне занимает Пушкин в русской культуре. И все же эта легенда возникает далеко не случайно. Как мы старались показать выше, процесс борьбы за утверждение новых отношений между писателем и публикой делал возникновение такой легенды вполне закономерным. Ведь в ней в карикатурном виде отразились некоторые реальные аспекты тех взглядов на норму отношений между писателем и публикой, которые были свойственны пушкинскому кругу.

³⁸ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1952. Т. XI. С. 46.

³⁹ См.: Кривонос В. Ш. Проблема читателя в творчестве Гоголя. Воронеж, 1981. С. 16—21.

⁴⁰ Гукровский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959. С. 527.

⁴¹ Бердяев Н. А. Русская идея//О России и русской философской культуре: Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. С. 115.

В заключение же хочется отметить еще один момент. Легенда о Пушкине, захваленном приятелями, представляет интерес не только потому, что в ней отразилась смена некоторых ценностных ориентиров, важных для русской культуры XIX в. Эта легенда любопытна и в несколько ином плане.

Дело в том, что на рубеже 1820—1830-х годов, когда всеобщее преклонение перед Пушкиным сменилось едва ли не столь же всеобщим разочарованием, широкая публика испытывала нужду хоть в каком-то оправдании своего прошедшего «заблуждения». Прежнюю славу Пушкина надо было хоть как-то объяснить. В этих условиях сознание массового читателя с благодарностью **ухватилось** за легенду о том, что на Пушкина просто была «мода», что мода эта возникла благодаря усилиям его приятелей и т. д. В самом деле, такие объяснения избавляли обывателя от внутреннего дискомфорта и даже позволяли ему ощутить себя человеком рассудительным, сумевшим вовремя увидеть обман.

Таким образом, интересующая нас легенда оказалась своего рода спасительным якорем для обывательского сознания, в котором происходила смена одного стереотипа другим: от безотчетного преклонения перед Пушкиным читатели переходили к во многом столь же безотчетному развенчанию прежнего кумира. В этом плане легенда о славе, созданной приятелями, представляет интерес для уяснения закономерностей, определяющих восприятие литературы массовым читателем,— закономерностей, действие которых отнюдь не ограничивается XIX в.⁴²

⁴² О представлениях самого Пушкина о славе см. также: *Погопова Г. Е. А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь о феномене литературной славы*//«Внимая звуку струн твоих...»: Сб. ст. Калининград, 1993. Вып. 2. С. 19—39.

Les Grands-Croix, Commandeurs et
Chevaliers du sérénissime ordre des
Cocus, réunis en grand chapitre sous la
présidence du vénérable grand maître
de l'Ordre, S. E. D. L. Narvichine, ont nommé
à l'unanimité Mr Alexandre Pouchine
coadjuteur du grand-Maître de l'Ordre
des Cocus et historiographe de l'Ordre.

Le secrétaire perpétuel. L^e J. Pouch

С. А. Фомичев

ПУШКИН И МАСОНЫ

«Когда в Петербурге было основано мальтийское приорство, выступавший на процессе с показаниями против Калиостро отец Казимир вновь назначается провинциалом в Россию, где папа легализовал упраздненный в 1773 году, но тайно продолжавший существовать иезуитский орден. В том же году из Парижа приезжает в Петербург и поступает на русскую службу гвардии поручик Жорж-Антуан Паркуа де Кальве. Потомки его принимают русское подданство. Один из них, Петр Иванович Паркуа, впоследствии был выслан в Сибирь якобы за сочувствие к декабристам, другой, Теодор Иванович, получил смертельную рану на дуэли с другом Жоржа Дантеса, приемного сына посла барона Геккерна. По свидетельству Чаадаева, поводом для дуэли послужило публичное обвинение барона

Геккерна в том, что он будто бы состоит тайным шпионом незритов»¹.

«...Тютчев создает стихотворение „29-е января 1837“:

Из чьей руки свинец смертельный
Поэту сердце растерзал?
Кто сей божественный фиал
Разрушил, как сосуд скудельный?

Таким образом, Тютчев усматривает *загадку* в совершенно очевидном, казалось бы, факте: Пушкин погиб от руки Дантеса. <...> Но ничего странного в этом нет. <...> К сожалению, и до сего дня большинство людей — в том числе даже и людей начитанных — имеют об этой истории примитивное, ложное и в конечном счете даже оскорбительное для памяти Пушкина представление...»²

Мы намеренно обратились к цитатам из книг, в которых речь идет вовсе не о Пушкине. Он вспоминается лишь попутно, для оживления читательского интереса, а в первом случае даже прямо не называется, хотя, конечно, появившееся в контексте сложного пассажа имя Дантеса невольно рождает предусмотренную автором ассоциацию: .. Пушкин.

Гибель поэта в русском общественном сознании, особенно на протяжении нашего века, остро переживалась как актуальная проблема. Книга П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» (1916), первый солидный, академический труд, переиздавалась неоднократно, но чем дальше, тем меньше удовлетворяла заинтересованного читателя. Здесь на основании свидетельств современников, документов, дипломатической переписки была воссоздана трагическая семейная история, в которой ревность затравленного поэта, вызванная легкомысленным поведением его жены, привела к роковой дуэли. Понятно было желание найти истинного виновника этой катастрофы, заподозрив в ничтожном Дантесе лишь исполнителя некой злобной воли. В фильме В. Гардина «Поэт и царь» (1925) вина за убийство Пушкина возлагалась непосредственно на императора. Со временем в общественном сознании была «реабилитирована» жена поэта, а главного интригана начали искать в высших эшелонах светской черни, называя различные конкретные имена. С другой стороны, была выдвинута идея саможертвенности поэта, который отчаянным вызовом судьбе перечеркнул свою жизнь, исчерпанную в ее творческих живительных истоках до конца. В последние десятилетия почитателям Пушкина все настойчивее внуша-

¹ Парнов Е. Ларец Марии Медичи. М., 1972. С. 410—411

² Кожин В. Тютчев. М., 1988. С. 190. См. также его статью «Из чьей руки...» (Правда. 1989. 6 февр.).

ется мысль, наиболее четко сформулированная в рецензии на книгу В. Кожина о Тютчеве: «Заговор против Пушкина, организованный космополитической кликой, сама гибель русского гения предстают в книге В. Кожина как национальная трагедия...»³

Каждая из подобных версий может быть рассмотрена как отражение мифологизированных современных воззрений.

Т. Манн справедливо сводил все многообразие вновь и вновь возникающих мифов к двум разновидностям: «химерам» и «кошмарам», в которых концентрируются надежда и страх современного человека, рай и ад его души. «Химера» воссоздает образ благодетеля и покровителя, «кошмар» рисует заговор враждебных сил⁴.

К «кошмарным» концепциям в мире современной культуры принадлежит миф о масонском заговоре. В начале нашего века в России миф этот постоянно пропагандировался правыми, реакционными, черносотенными кругами. Приведем типичный образчик подобных рассуждений: «Однородные явления вызываются однородными причинами. И если в разных государствах народам навязывается совершенно чуждый им политический строй, то надо искать общей причины, а не совпадений. И вот этой общей причиной является настойчивая, упорная работа маэсонов, направляемая умелой рукой из одного центра»⁵.

В 1970—1980 годах этот миф возродился в советской печати, с некоторым опозданием отреагировавшей на появившиеся за рубежом статьи и книги о масонском заговоре, который привел к февральской революции в России⁶. Миф этот был актуализи-

³ Зуев Н. Служение России//Молодая гвардия. 1990. № 1. С. 286.

⁴ Ср. также: «Мы можем сказать, что миф (...) есть запечатленное в образах познание мира во всем великолепии, ужасе и двусмыслии его тайн» (Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М., 1987. С. 14).

⁵ Земщина. 1909. 10 янв. Об антимасонской литературе начала XX в. см.: Базанов В. Вольное общество любителей российской словесности. Петро-заводск, 1949. С. 77—81; Рак В. Д. «Умбакул, распахнутый звездами...»// Рус. лит. 1972. № 4. С. 165—174.

⁶ Первым «откровением» о масонском заговоре, якобы приведшем к падению русского самодержавия, в нашей стране стала книга Н. Н. Яковлева «1 августа 1914» (М., 1974). Позже появилось несколько таких работ и в их числе сборник «За кулисами видимой власти», выпущенный издательством «Молодая гвардия». В советской историографии эти публикации были восприняты как малопочтенный курьез, но в научной печати они не были в достаточной мере проанализированы. Наиболее энергично подверг их критике академик И. И. Минц в статье «Метаморфозы масонской легенды» (История СССР. 1980. № 4) и в своих интервью (Правда. 1986. 3 февр.; Огонек. 1987. № 1), но одиозность этой фигуры, о которой открыто заговорили в годы перестройки, позволила пренебречь критикой И. И. Минца. Лишь в последнее время появилась книга А. Я. Авреха «Масоны и революция» (М., 1990), в которой содержится убедительный анализ возникновения и бытования мифа о масонском характере февральской революции.

рован сенсационным разоблачением масонской ложи «Пропанда-2» («П-2») в Италии, списки которой, включающие высшие чины итальянской гражданской и военной власти, попали в 1981 г. в руки полиции.

Идея масонского заговора, тяготеющего над судьбами России, в исторической ретроспективе захватывала события XIX в. Проникла она и в популярное пушкиноведение.

Первой развернутой публикацией этого рода стала статья В. Пигалева «Пушкин и масоны», напечатанная в газете «Литературная Россия» (1979. 9 февр.) под рубрикой «Гипотезы. Догадки. Предположения». Имеет смысл остановиться на этой статье подробно, проследив механизм подобных фальсификаций.

«Таинственна смерть поэта». Обстоятельства ее не были прояснены, потому что большинство исследователей не придавали значения причастности Пушкина к масонской ложе «Овидий». А зря. Ибо ложа «Овидий» подчинялась великой ложе «Астрея», та в свою очередь — «Великой провинциальной ложе», управляемой зарубежными мастерами. Именно по повелению зарубежного масонского центра отступника-поэта, чей «неподкупный голос (...) был эхо русского народа», примерно наказали. Орудием международного масонства стал француз Жорж Дантес — и не случайно: его дядя, оказывается, был командором ордена Тамплиеров. Руководствуясь масонским правилом: «Всего более можно влиять на мировые события посредством женщин» — и исполняя инструкции зарубежного центра, Дантес затевает интригу с женой поэта. Пушкин получает последнее предупреждение: пасквиль о посвящении его в кавалеры ордена рогоносцев, иезуитски составленный с применением масонской терминологии. Пасквиль этот попадает в полицию, которая, однако, на него не реагирует, так как она возглавляется масоном гр. А. Х. Бенкендорфом, а поэт между тем выходит к роковому барьеру. После гибели Пушкина Бенкендорф и его помощник Л. В. Дубельт (тоже масон!) уничтожают все компрометирующие мировой масонский синдикат документы, а Дантес, выполнив задание, возвращается на родину и в награду получает звание сенатора.

Таково краткое содержание «исторической хроники» В. Пигалева, основанной, как выясняется, на единственном малодостоверном источнике, давно известном в пушкиноведении и передающем ряд сплетен о кишиневском периоде жизни Пушкина. «В парижской газете „Temps“, — сообщает В. Пигалев, — 5 марта 1837 года (по новому стилю), через три недели

после гибели Пушкина, была опубликована статья, посвященная жизни и творчеству русского поэта в период его пребывания в Кишиневе (<...> автор статьи свидетельствует: „Несколько французов, находившихся тогда в Кишиневе, основали масонскую ложу. Пушкин вступил в нее...“. Статья характеризуется такими мелкими подробностями, о которых мог знать либо постоянный член кишиневского тайного масонского кружка, либо один из верховных вожаков, „мастеров“ ложи. Последний, пусть даже далеко находящийся, согласно масонскому уставу, регулярно получал подробную информацию о поведении „братьев“...».

Прервем цитату и проанализируем приемы, с помощью которых В. Пигалев жонглирует фактами.

Полный перевод на русский язык и научный анализ статьи из французской газеты содержатся в публикации Т. Г. Цявловской⁷. Конечно, из альманаха «Прометей», а не непосредственно из французской газеты заимствует нужные ему цитаты (в точном соответствии с переводом на русский язык, выполненным Т. Г. Цявловской) автор «исторической хроники», «забывая» при этом указать заинтересованному читателю доступный ему источник.

Прочитываем полностью тот абзац французской статьи, где речь идет о масонской ложе «Овидий»: «Несколько французов, находившихся тогда в Кишиневе, основали там масонскую ложу. Пушкин вступил в нее, и множество русских различного положения в обществе последовали его примеру. Правительство закрывало на это глаза, но однажды крестьяне заметили архимандрита (епископа) в тот момент, когда его вели в комнату для размышлений, они вообразили, что над ним совершается насилие, и стали звать на помощь, чтобы спасти своего любимого пастыря. Произошел своего рода бунт, и правительство, поставленное об этом в известность, приказало закрыть ложи на всем протяжении империи. Эта мера получила отклик в Европе, где не знали о вызвавшей ее причине».

«О том, что „за кишиневскую ложу были уничтожены в России все ложи“, — комментирует этот эпизод Т. Г. Цявловская, — говорит и Пушкин в письме к Жуковскому от 20-х чисел января 1826 года, хотя документально это сведение не подтверждается (см.: А. С. Пушкин. Письма. Под редакцией и с примечаниями Б. Л. Модзалевского. Т. II. М.; Л., 1928. С. 123). Однако утверждение иностранца, что закрытие ложи „Овидий“ произошло из-за эпизода с архимандритом (болгарским архи-

⁷ Прометей. М., 1974. Т. 10. С. 293—301.

мандритом Ефремом.— С. Ф.), наивно. Кишиневская ложа была, по-видимому, политической организацией; об этом почти прозрачно говорит Пушкин в названном письме к Жуковскому; свое участие в масонской ложе Пушкин называет среди обстоятельств, которые могут компрометировать его в глазах правительства»⁸.

Так обстоит дело с «мелкими подробностями» во французской статье, исходившей, конечно, от лица, непосредственно не знакомого с поэтом и судившего о нем по кишиневским слухам.

В. Пигалев вычитывает в этой статье сведения, которых в ней и вовсе нет: «Упомянутая нами статья заканчивается тем, что русский поэт был вызван в Петербург; „но с этого времени мы его потеряли из виду“. Скорее всего (!) анонимные авторы⁹ статьи, будучи несомненно (??) масонами, „потеряли“ Пушкина не визуально, а в более широком смысле <...> Для Братства стало ясно, что поэт выходит из их контроля, перестает почитать орденские интересы и ритуалы (!!!)...».

Предваряя это отчаянно смелое предположение, В. Пигалев сообщает ряд фантастических сведений о ложе «Овидий», о системе российских масонских лож, об истории масонства вообще.

Характерно одно мелкое, но, видимо, не случайное передергивание фактов. Двоюродный дед Дантеса по материнской линии (а вовсе не дядя) был командором не ордена Тамплиеров, упраздненного папой Климентом V еще в 1312 г., а Тевтонского ордена, потерявшего к началу XIX в. всякое значение¹⁰.

Почему же В. Пигалеву понадобился именно орден Тамплиеров?

Это связано с сознательно насаждавшейся масонами еще с XVIII в. легендой о глубокой древности своей организации, которая в течение тысячелетий претерпела множество организационных метаморфоз, сохраняя общий характер замкнутых корпораций, оберегающих и передающих посвященным некую масонскую тайну. Возникшее в начале XVIII в. из цеховых организаций строителей храмов и замков масонское движение вскоре стало насыщаться тайными организационными формами и мистической символикой средневековых христианских орденов, как, впрочем, и древнего языческого жречества. Некоторые критики масонства принимают эту легендарную историю

⁸ Там же. С. 296, 299.

⁹ Статья, напечатанная во французской газете, написана, конечно же, одним автором, пользующимся обычным литературным приемом называния себя во множественном числе.

¹⁰ См.: Раевский Н. А. Портреты заговорили. Алма-Ата, 1976. С. 330.

всерьез, видя в нем орудие политических интриг, действующее в течение тысячелетия по крайней мере¹¹.

Сенсационность «откровений» В. Пигалева объясняется тем, что в условиях негласного запрета на масонскую тему научные исследования данной проблемы в советской пушкинистике были долгое время невозможны, хотя до революции успели появиться серьезные работы, оснащенные архивными документами¹².

Нельзя не согласиться с М. Осоргиным, считавшим, что «эпизод с масонством Пушкина много значительнее и интереснее десятков любовных эпизодов, на изучение которых во всех нескромных деталях пушкинисты тратят столько сил»¹³. Масонство в культуре пушкинского времени составляло достаточно мощное течение¹⁴, а потому уже в силу универсальности пушкинского гения не могло не получить разнообразного отражения в его жизни и творчестве.

¹¹ Любопытно, что среди этих критиков часто оказываются идеологи тайных, заговорщицких корпораций, не чуждающихся мистики. Так, безуспешно попытавшись овладеть ширившимся во всем мире масонским движением, иезуиты впоследствии превратились в наиболее ожесточенных противников масонства, ревнуя к его успехам. Известна ненависть к масонству гитлеровского режима, во многом использовавшего аналогичные ритуалы и идеологию. В годы правления Сталина, сравнивавшего партию большевиков с орденом меченосцев, масонство было под запретом даже как тема исторического исследования, о нем лишь позволялось упоминать с обязательной резкой негативной оценкой, в том числе и применительно к Пушкину. Ср.: «Атеизм и свободолюбие А. С. Пушкина сказались в его критике масонства. А. С. Пушкин резко порицает „мистическую набожность“ и политическое бессилие масонства, ограничившегося „брюзгливым порицанием настоящего“» (Малинин В. А. Философские взгляды А. С. Пушкина: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 1954. С. 3). Достаточно развернуть (что мы сделаем несколько ниже) пушкинскую цитату, воспроизведенную здесь маловразумительными клочками, чтобы убедиться в предвзятости данного безапелляционного утверждения.

¹² См.: Кульман Н. К. К истории масонства в России. Кишиневская ложа//Журн. М-ва народного просв. 1907. Ч. XI. № 10. Отд. отд.; Щеголев П. Е. К истории пушкинской масонской ложи//Щеголев П. Е. Первенцы русской свободы. М., 1987. С. 231—235. В библиографии работ о русском масонстве мы находим около двух десятков статей, касающихся Пушкина (см.: Bourichkine P. Bibliographie sur la Franc-maçonnerie en Russie. Paris, 1967).

¹³ Осоргин М. Пушкин — вольный каменщик//Последние новости. 1937. 10 февр.

¹⁴ См.: Пылин А. Н.: 1) Общественное движение в России при Александре I. СПб., 1900; 2) Религиозное движение при Александре I. Пг., 1916; 3) Русское масонство: XVIII и первая четверть XIX в. Пг., 1916. Характерно, что в современном учебном пособии (Яковкина Н. И. Очерки русской культуры первой половины XIX века. Л., 1989) о масонстве даже не упоминается.

*
* * *

Намечая в 1830 г. программу автобиографических записок, Пушкин под 1811 г. записывает: «*Лицей*. Открытие. Малино(вский). Гос(ударь). Куницын, Аракчеев.— Начальники наши.— Мое положение.— Философич(еские) мысли.— Мартинизм.— Мы прогоняем Пилецк(ого)» (XII, 308)¹⁵.

Обычно, комментируя пункт «Мартинизм», вспоминают о лицейских профессорах-масонах Ф. М. Гауеншильде и Н. Ф. Кошанском,— между тем речь в записках Пушкина, очевидно, должна идти о некоторых идейных основах лицейского воспитания. Позже в записке «Исторический взгляд на Сперанского» (1826) Гауеншильд «поведал Меттерниху и о плане Сперанского, разработка которого якобы ему была поручена с целью преобразования русского духовенства. Сперанский предлагал основать масонскую ложу и обязать наиболее способных из духовенства участвовать в ней. По словам Гауеншильда, первым мастером ложи должен был быть сам Гауеншильд, на обязанности которого должна была лежать цензура трудов этих духовных братьев. Безусловно, не все может вызвать доверие в подобных сообщениях, но несомненно, что он был весьма осведомлен о деятельности Сперанского в ту пору. Впоследствии, уже после возвращения из ссылки, Сперанский продолжал поддерживать сношения с Гауеншильдом»¹⁶.

Если вспомнить об участии Сперанского в составлении первоначального проекта Лицея, предназначенного, по его мысли, для воспитания высшего звена государственных чиновников в России, то в наметках пушкинских записок следует увидеть нечто большее, нежели воспоминание об учителях-масонах. Речь должна была, видимо, идти об общей духовной атмосфере, с самого начала утвердившейся в Лицее. Отражением ее, вероятно, стали (ср. предыдущий пункт пушкинского плана «Философические мысли») ранние произведения Пушкина, известные нам только по названиям: романы «Цыган» и «Фатам, или Разум человеческий», комедия «Философ».

Мы имеем возможность отчасти расшифровать пушкинскую помету о мартинизме в плане автобиографических записок, об-

¹⁵ Возможно, к этим страницам автобиографии тяготеет и другой пункт программы, записанный выше. Собираясь рассказать о французах, учителях своего отца, Пушкин помечает «[Мг.] Вонт. (?) секретарь Mr. Martin» (XII, 307). Может быть, в семейных преданиях сохранилось воспоминание о некоем сподвижнике видного теоретика масонства Л. К. Сен-Мартена (1743—1803), волею судеб оказавшемся в конце XVIII в. в Москве?

¹⁶ Руденская М., Руденская С. «Наставникам за благо воздадим». Л., 1986. С. 297.

ратившись к его статье «Александр Радищев» (1836): «В то время существовали в России люди, известные под именем *мартинистов*. Мы еще застали несколько стариков, принадлежавших этому полуполитическому, полурелигиозному обществу. Странная смесь мистической набожности и философического вольнодумства, бескорыстная любовь к просвещению, практическая филантропия ярко отличали их от поколения, которому они принадлежали. Люди, находившие свою выгоду в коварном злословии, старались представить мартинистов заговорщиками и приписывали им преступные политические виды. Императрица, долго смотревшая на усилия французских философов как на игры искусных бойцов и сама их ободрявшая своим царским рукоплесканием, с беспокойством видела их торжество и с подозрением обратила внимание на русских мартинистов, которых считала проповедниками безначалия и адептами энциклопедистов. Нельзя отрицать, чтобы многие из них не принадлежали к числу недовольных; но их недоброжелательство ограничивалось брюзгливым порицанием настоящего, невинными надеждами на будущее и двусмысленными тостами на фран-масонских ужинах. Радищев попал в их общество. Таинственность их бесед воспламенила его воображение. Он написал свое „Путешествие из Петербурга в Москву“, сатирическое воззвание к возмущению, напечатал в домашней типографии и спокойно пустил его в продажу» (XII, 31—32)¹⁷.

Вполне понятно, что «мистическая набожность» мартинистов с самого начала не привилась к Пушкину, чего нельзя сказать о «философическом вольнодумстве, бескорыстной любви к просвещению, практической филантропии», ставших отправными заветами его духовного развития.

Масонское влияние, определившее лицейское воспитание, достаточно пронизательно было отмечено в доносах.

«Что скажем о нынешнем воспитании <...>, — писал 31 марта 1820 г. В. Н. Каразин министру внутренних дел гр. В. П. Кочубею, — натверживание молодым людям сумасбродных книг под именем божественной философии и пр., навязывание Библии несколько не сделало их лучшими, а заставляло смеяться над религией или на нее досадовать. <...> В самом лицее Царскосельском государь воспитывает себе в отечестве недоброжелателей <...> из воспитанников более или менее есть почти

¹⁷ Ниже в той же статье Пушкин приводит оценку книги Радищева, высказанную Екатериной II (в нынешней литературе эта оценка всегда приводится в существенно усеченном виде): «Он мартинист, говорила она Храповицкому (см. его записки), он хуже Пугачева; он хвалит Франклина» (XII, 33).

всякий Пушкин, и все они связаны каким-то подозрительным союзом, похожим на масонство, некоторые же и в действительные ложи поступили...»¹⁸

Позже в записке для Третьего отделения «Нечто о Царско-сельском лицее и духе оного» Ф. В. Булгарин, давая политический портрет лицеиста («...он должен толковаться о конституциях, палатах, выборах, парламентах; казаться не верующим христианским догматам и более всего представляться филантропом и русским патриотом»), самые истоки лицейского духа видит в мартинизме новиковской школы, определившей «первое начало либерализма и всех вольных идей»¹⁹. Масонскую закуску усматривал Булгарин и в деятельности Арзамасского общества, которое столь много значило в духовной и творческой биографии Пушкина: «Оно было ни литературное, ни политическое в тесном значении сих слов, но в настоящем своем существовании клонилось само собой и к той, и к другой цели. Оно сперва имело в намерении пресечь интриги в словесности и в драматургии, поддерживать истинные таланты и язвить самозванцев-словесников. <...> Оно было шуточное, забавное и во всяком случае принесло бы более пользы, нежели вреда, если бы было направляемо кем-нибудь к своей настоящей цели. <...> Сие общество составляли люди, из коих почти все, за исключением двух или трех, были отличного образования, шли в свете по блестящему пути и почти все были или дети членов новиковской мартинистской секты, или воспитанники ее членов, или товарищи и друзья и родственники сих воспитанников. Дух времени истребил мистику, но либерализм цвел во всей красе! Вскоре это общество сообщило свой дух большей части юношества и, покровительствуя *Пушкина* и других лицейских юношей, раздуло без умысла искры и превратило их в пламень»²⁰.

Обычно это обвинение Булгарина расценивается как злобный навет. Но любое тайное или полутайное организационное образование в России невольно заимствовало какие-то формы именно от масонских организаций, ибо других общественных союзов просто не было в ее культурной жизни.

След масонских ритуалов и обрядов, шутивно переосмысленных, мы обнаруживаем и в деятельности «Арзамаса». Как нам представляется, необходимо при этом иметь в виду ту реформу русского масонства, которая осуществлялась в первые годы после войны с Наполеоном.

¹⁸ Цит. по: *Базанов В.* Вольное общество любителей российской словесности. С. 176—177.

¹⁹ См.: *Модзалевский Б. Л.* Пушкин под тайным надзором. 3-е изд. [Л.], 1925. С. 36—37.

²⁰ Там же. С. 42—43.

Тогда, в отличие от XVIII в., масонство в России перестало быть тайным и подвергаться правительственным преследованиям. Ложи множилось, в них вступали люди разных сословий, и это отражало либеральные стремления времени, поиски организационных форм влияния на общество. Мистические устремления, усложненность ритуалов и системы, пришедших в прошлом веке на смену первоначальному английскому (иоанновскому) масонству, в том числе и в России (шведская и шотландская системы, розенкрейцерство, иллюминатство, тамплиерство), ныне кажутся излишними, отступающими от целей и задач подлинных «свободных каменщиков».

14 июля 1814 г. мастер ложи «Петра к правде» доктор Е. Е. Элизен обращается с письмом к великому мастеру Директориальной ложи Бёберу, где, в частности, пишет: «Долголетнее учение и чрезвычайные отношения удостоверили меня, что так называемые высшие степени нимало не состоят в связи с первоначальным чистым свободным каменщицеством, что они не только что в высочайшей степени излишни суть, но даже и вредны; что они, вместо облагораживания человеческого сердца, имеют последствием явное развращение нравов и легко могут сделаться вредными для государства <...> в Англии, а особливо в Шотландии было Свободное Каменщицество злоупотребляемо иезуитами для составления себе партии. Но они скрывали намерения свои под разными формами, распускали в Англии и во Франции, что Свободное Каменщицество есть продолжение Тамплиерского ордена, коего начальники из духовенства имели великие таинства и сокровища...»²¹

Прямым результатом этого манифеста, с одобрением принятого большинством российских масонов, было образование в 1815 г. новой верховной ложи «Астрея», отложившейся от «Великой Провинциальной ложи» (8-й), которая в соответствии с решением Вильгельмсбадского конгресса масонов (1772) руководила всеми масонами в России и была организована по усложненной шведской системе. Новое уложение «устанавливало выборное начало в управлении масонского сообщества и клало в основу этого управления ответственность всех без исключения должностных лиц, их выборность, терпимость ко всем принятым масонским системам и равноправность всех представителей лож в великой ложе»²².

²¹ Пыпин А. Н. Русское масонство: XVIII и первая четверть XIX в. С. 400—401.

²² Соколовская Т. Русское масонство и его значение в истории общественного движения (XVIII и первая четверть XIX столетия). СПб., 1908. С. 58.

Ложь, входившие в новый союз под верховенством «Астреи», работали обычно по системе раннего английского масонства трех степеней (ученик, товарищ, мастер). Согласно тому же уложению, союзные ложи обязывались «не иметь никаких тайнств перед правительством», признавая «целью своих работ — усовершенствование благополучия человека исправлением нравственности, распространением добродетели, благочестия и непоколебимой верности к государю и отечеству и строгим исполнением существующих в государстве законов»²³. Между тем в поисках активных мер по революционному преобразованию российского общества в недрах некоторых масонских лож крепнут идейные контакты между будущими членами тайных декабристских организаций. Первая из них, «Союз спасения», возникла в ложе «Трех добродетелей», а ложа «Избранного Михаила» под влиянием ее «оратора» Ф. Н. Глиники постепенно превратилась в полулегальный орган «Союза благоденствия»²⁴.

Возникшее в год масонской реформы Общество арзамасских литераторов носило, конечно, вполне светский, литературный характер. Но, по-видимому, его организаторы, действительно хорошо знакомые с масонскими обрядами и начитанные в масонской литературе, кое-что из них почерпнули. Известно, что неперменной принадлежностью арзамасских застолий был гусь. Пытаясь объяснить подобное пристрастие, обычно считают: «Город Арзамас издавна славился гусями; вот и стал гусь символом „Арзамаса“; его изобразили на печати общества; его же обычно подавали на ужин в конце заседания»²⁵.

Впервые гусь был упомянут на втором заседании «Арзамаса» во вступительной речи С. П. Жихарева: «Друзья! Помните ли предание древнего времени о Фениксе бессмертном? В нашем брате возобновилось чудо перерождения сей баснословной птицы! В едином токмо не сходствует он с нею — Феникс умирал Фениксом и воскресал Фениксом! Брат наш умер сердитою совою Беседы и воскрес горделивым гусем Арзамаса!»²⁶

Феникс, сова — все это шло от масонской атрибутики (как и обращение «брат», и сам ритуал «воскрешения» в ходе прие-

²³ Там же. С. 61.

²⁴ См.: *Семевский В. И.* Декабристы-масоны // *Минувшие годы.* 1908. № 2. С. 1—50; № 3. С. 128—170; *Дружинин Н. М.* Масонские знаки П. И. Пестеля. М., 1929; *Базанов В.* Вольное общество любителей российской словесности. С. 77—100.

²⁵ *Гиллельсон М. И.* Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., 1974. С. 59.

²⁶ Там же.

ма в общество). Оказывается, и гусь был небезызвестен в истории масонства: «Первые Великие ложи возникли в Англии <...> когда огромное большинство людей высшего и среднего класса не помышляло уже ни о чем, кроме отдыха от бесконечных смут. <...> С водворением новой династии жизнь страны входила в мирное русло: все нужное для ее спокойствия казалось достигнутым. От былого увлечения политикой теперь осталась простая склонность к обществу, привычка сходиться среди людей; развилась страсть к кружкам и клубам. Сатирический листок „Зритель“ („Spectator“), выходивший в Лондоне в начале десятых годов (XVIII в. — С. Ф.), высмеивая эту страсть, приводил длинный список существовавших будто бы в Лондоне обществ, среди которых фигурируют и клубы красавцев и уродов, „вечно существующее общество“, и „метафорические мертвецы“. <...> Андерсен, автор „Новой книги масонских конституций“, во втором издании ее, вышедшем в 1738 году, следующим образом рассказывает об основании „Великой Лондонской Ложы“: „после торжественного въезда в Лондон короля Георга I и усмирения в 1716 году восстания (якобитов, сторонников династии Стюартов.— С. Ф.) несколько Лондонских лож решили сплотиться вокруг одного Великого Мастера (Гроссмейстера) как центра единения и гармонии. Это были — ложа „Гуся и Противня“, ложа „Короны“, ложа „Яблони“ и ложа „Виноградной кисти“ (названия таверн, в которых они собирались). <...> В день Св. Иоанна Крестителя (в 1717 году) в таверне „Гуся и Противня“ состоялся первый банкет фракмасонов»²⁷.

В данном описании общественной атмосферы, обусловившей возникновение первых масонских лож, угадывается определенная типологическая общность с настроениями русского общества послевоенной поры. Организационная реформа русского масонства, на которую мы обращали выше внимание, в деятельности «Арзамаса» приобретала откровенно пародийные, игровые черты. Пушкин, несомненно знакомый с самого начала деятельности «Арзамаса» с его протоколами, не мог не замечать в них шутивно инструментированной масонской стилистики и обрядности²⁸.

Трудно представить, что, вступая 4 мая 1821 г. (как отмечено в его дневнике) в ученики кишиневской ложи «Овидий»,

²⁷ Херасков И. М. Происхождение масонства и его развитие в Англии XVIII и XIX в. // Масонство в его прошлом и настоящем. [М.], 1914. Т. 1. С. 16—17.

²⁸ Гиллельсон М. И. Молодой Пушкин и арзамасское братство. С. 60, 64, 81—87.

Пушкин был движим идеалами нравственно-религиозного возрождения: ничто в его творчестве этого не подтверждает.

В исследованиях Н. К. Кульмана и П. Е. Щеголева распутаны некоторые противоречивые сведения, относящиеся к недолгому существованию ложи «Овидий». Согласно имеющимся документам, она официально была организована лишь 7 июля 1821 г. (два месяца спустя после принятия в нее Пушкина) под главенством генерала П. С. Пущина, имевшего третью масонскую степень (мастера), которую он получил в петербургской ложе «Соединенных друзей». 17 сентября, на основании соответствующего обращения, ложа «Овидий» была занесена под номером 25 в списки верховной ложи «Астрея», но 13 октября великий секретарь последней Вевель напоминал кишиневским братьям: «Прежде нежели которая ложа будет таким образом принята, производимые ее работы считаются временными и недействительными, если принятие не совершится, согласно параграфа 154». Указанный параграф устава предполагал инсталляцию (утверждение) вновь образованной ложи в присутствии особого доверенного от «Астреи» лица. Уже в декабре правительство обратило внимание на деятельность кишиневской ложи и предписало И. Н. Инзову разобраться в нарушениях установленных правил.

Если в начале своего царствования Александр I воспринимал деятельность масонов терпимо и даже заинтересованно, то после бунта Семеновского полка в 1820 г., предполагая участие в нем масонов-офицеров (так и не доказанное следствием), император начал с подозрением относиться к «свободным каменщикам», особенно к состоящим в армии. В 1821 г. А. Х. Бенкендорфом была передана царю составленная, как считают, М. Грибовским «Записка о тайных обществах в России», где говорилось, в частности: «В 1814 году, когда войска русские вступили в Париж, множество офицеров приняты были в масоны и свели связи с приверженцами разных тайных обществ. Последствием сего было, что они напитались гибельным духом партий, привыкли болтать то, чего не понимают, и из слепого подражания заводить подобные тайные общества у себя»²⁹.

Все это предопределило быструю расправу с кишиневской ложей, руководимой членом «Союза благоденствия» П. С. Пущиным и принявшей в нарушение правил (а по этим правилам

²⁹ Рус. арх. 1875. № 12. С. 423. А. Х. Бенкендорф, между прочим, сам был масоном и состоял в той же, что и П. С. Пущин, ложе «Соединенных друзей», но еще до официального запрещения лож, как видим, верноподданнически оценил их зловердность. Александр I не дал официального хода этой «Записке», но после восстания декабристов она в полной мере была использована Следственным комитетом.

информация о деятельности лож поступала в полицию) опального Пушкина и известных вольнолюбцев М. Ф. Орлова и В. Ф. Раевского.

Уже 9 декабря П. С. Пущин официально закрыл ложу³⁰, но тем не менее был уволен в отставку.

Со вступлением Пушкина в ложу «Овидий» связан один эпизод его творчества, до сих пор недостаточно проясненный. Мы имеем в виду его стихотворение, посвященное генералу П. С. Пущину:

В дыму, в крови, сквозь тучи стрел
Теперь твоя дорога;
Но ты предвидишь свой удел,
Грядущий наш Квируга!
И скоро, скоро смолкнет брань
Средь рабского народа,
Ты молоток возьмешь во длань
И воззовешь: свобода!
Хвалю тебя, о верный брат!
О каменщик почтенный!
О Кишинев, о темный град!
Ликуй, им просвещенный!

(II, 204)

Давно обращено внимание на нарочито экзальтированный тон этих строк, звучащих не всерьез. И. В. Немировский указал на пародируемый образец, воспроизведенный Пушкиным и стилистически, и строфически, — стихотворение В. А. Жуковского «Певец в стане русских воинов», некогда шутливо обыгранное в лицейском опусе «Пирующие студенты»³¹. Так, стало быть, Пушкин посмеивался над почтенным генералом (героем Отечественной войны), мастером своей ложи?

Недоразумение вполне разъясняется, если принять во внимание масонскую обрядность, в частности так называемые столовые ложи, с приличествующими речами братьев во время совместных ужинов. Уже говорилось о том, что П. С. Пущин состоял в петербургской масонской ложе «Соединенных друзей» и едва ли не привнес в деятельность кишиневских «свободных каменщиков» ее обычаи. Его «брат» по петербургской ложе, А. П. Степанов, сообщал в 1815 г. в письме к своему дяде,

³⁰ Согласно М. Осоргину — автору работы «Пушкин — вольный каменщик», «скорее можно предположить, что кишиневские масоны продолжали собираться до повсеместного закрытия в России масонских лож в августе 1822 года. Отчасти это подтверждается недавно опубликованными в Румынии документами о том, что ложа „Овидий“, ввиду начавшихся гонений, перенеслась в послушание великой румынской ложи» (Последние новости. 1937. 10 февр.).

³¹ Рус. лит. 1989. № 3. С. 166.

Р. С. Степанову, истому франкмасону: «Находя в [ложе] г. Жеребцова людей, смеющихся над всем, что их там окружает (...) **людей, предающихся буйству** в часы пиршества (...) я не мог найти между ними не только никакого разъяснения, но удалился совершенно от цели, с которою вступил к ним (...) смеялся с ними вместе игре больших детей, — так называл я мудрую аллегория...»³² Может быть, именно не слишком серьезное отношение к «мудрым аллегориям» и позволило П. С. Пушкину вольно обходиться с масонскими установлениями, что, в конечном счете, так дорого ему обошлось? Но эта игровая сторона («игра больших детей») масонства была особенно близка арамасцу-поэту. Отсюда шуточный тон стихотворного посвящения (масонского тоста) почтенному генералу, ни в коей степени не подрывающий его репутации, в военном деле и в нравственных качествах безупречной³³.

Масонский эпизод в жизни Пушкина, достаточно детально обследованный в специальной литературе, тем не менее нынешнему поколению читателей почти неизвестен. Характерно, что в популярных биографиях поэта, вышедших в 1970—1980 гг. (авторы — Б. С. Мейлах, Ю. М. Логман, В. И. Кулешов, Н. Н. Скатов), о вступлении поэта в ложу «Овидий» вообще не упоминается. Неудивительно поэтому, что в нынешней печати появляются совершенно вздорные сведения на этот счет, например: «...Карамзин порвал с масонством. Судьба Пушкина носит сходные черты. Поэт вступил в ложу „Овидий — 2“ (?) в Кишиневе 4 мая 1821 года, будучи в ссылке. Руководителем ложи был один из будущих декабристов — М. Ф. Орлов (?). Пушкин сблизился с декабристами настолько, что, по некоторым свидетельствам, хотел примкнуть к их выступлению. (...) К декабристам Пушкина влекли идеи свободы и братства. Но уже в Кишиневе, в той же ложе, он столкнулся (?) с иностранцами „братьями“ (французами), которые с презрением смотрели на все русское. Одного из них (?) Пушкин вызвал на дуэль, а когда тот отказался, поэт написал ему резкое письмо»; «Пушкина волновала судьба Моцарта, отравленного, согласно легенде, Сальери. Есть предположение, что Моцарта убили „братя“ в отместку за то, что в „Волшебной флейте“

³² Рус. старина. 1870. Февр. С. 155. Здесь же см. подробное описание обряда приема в ложу, который, вероятно, по тому же ритуалу прошел 4 мая 1821 г. и Пушкин.

³³ Важные новые сведения, уточняющие биографию П. С. Пушкина и разрушающие бытовавшую легенду о его позднейшем ренегатстве, выявлены в статье В. Г. Бортневского и Е. В. Анисимова «Новые материалы о П. С. Пушкине» (Временник Пушкинской комиссии. Л., 1989. Вып. 23. С. 157—161).

он высмеял некоторые тайны масонства. У Пушкина Моцарт отвергает слух о том, что Бомарше мог кого-то отравить. „Гений и злодейство — две вещи несовместные“, — говорил он. Увы, „братство“ и злодейство, или просто низость, нередко совместимы, причем в отношении собственных „братьев“. Их лучшие качества используются, когда это выгодно, а потом от них стараются „освободиться“. Так случилось и с лучшими представителями масонства, поднимавшимися до геронки...»³⁴

Масонский эпизод в биографии Пушкина был кратким. Но, как и все в его жизни, знакомство с масонскими обрядами и ритуалами отразилось в его творчестве — в лирике («Вакхическая песня», «Пророк», «Странник»), в драматических сценах «Скупой рыцарь» и «Моцарт и Сальери» и — в пародийном виде — в повести «Пиковая дама»³⁵. Вопрос этот заслуживает дополнительного исследования. Может быть, некоторые до сих пор загадочные произведения Пушкина тогда станут для нас яснее, например болдинское стихотворение «В начале жизни школу помню я», религиозная символика которого неортодоксальна и, возможно, восходит к какому-то масонскому трактату.

Пока же мы вынуждены возвратиться к версии о масонском заговоре против Пушкина.

В появившейся в 1983 г. статье Ю. Плашевского изложены два аргумента на этот счет. Первый выдвигался еще В. Пигалевым и с тех пор постоянно циркулирует в современной устной пушкиниане. Речь идет о стиле «диплома рогоносца», послужившего первопричиной дуэли. «При изучении фразеологических составных частей „диплома“, — сообщает Ю. Плашевский, — нами было обращено внимание на такие словосочетания, как „Кавалеры Большого Капитула“, „командоры и рыцари светлейшего ордена“, „сбравшись в Великом Капитуле“, „под председательством великого магистра ордена“, которые кажутся устойчивыми. Естественно, что каждому, занимавшемуся историей, становится ясно, что вся эта фразеология заимствована из лексикона средневековых орденов Европы (<...> Масоны?

³⁴ *Замойский Л.* За фасадом масонского храма: Взгляд на проблему. М., 1990. С. 158—159, 163. Бывший офицер французской службы Дегильи, которого поэт в июне 1821 г. вызывал на поединок, в ложе «Овидий» не состоял. Но сам факт готовности Пушкина к дуэли, когда он только-только стал масоном, по-своему интересен. Масонские правила, конечно же, дуэли осуждали. См.: *Соколовская Т.* Русское масонство и его значение в истории общественного движения (XVIII и первая четверть XIX столетия). С. 91.

³⁵ *Weber H. B.* Pikovaia dama: A Case for Freemasonry in Russian Literature//The Slavonic and East European Journal. 1968. Vol. XII. No 4; *Leighton L. G.* Pushkin and Freemasonry: „The Queen of Spades“//New Perspectives on Nineteenth-Century Russian Prose. Columbus (Ohio), 1982.

Да. Вот это, кажется, то, что требуется. Из русского масонства, пожалуй, могли выйти субъекты, которые бы удовлетворяли предъявляемым к авторам „диплома“ требованиям, выясняющимся в ходе детальных расследований: русский, пишущий на иностранном языке; привычный к западноевропейской орденской фразеологии. Ведь эта фразеология устойчиво употреблялась в масонской среде не только в первой половине XIX века, она так же устойчиво употребляется и поныне»³⁶.

Очевидно, Ю. Плашевскому осталось неизвестным свидетельство В. А. Соллогуба, на которое обратила внимание С. Л. Абрамович: «Анонимное письмо, полученное Пушкиным, не было специально сочиненным пасквилем, направленным против определенного лица. За исключением одной приписки (об историографе ордена).— С. Ф.), текст этого шутовского диплома, извещающего о принятии в члены „Ордена рогносцев“, представляет собою нечто совершенно безликое: это своего рода готовое клише, куда могли быть вставлены любые имена. Из воспоминаний Соллогуба нам известно, что в 1836 г. кто-то из иностранных дипломатов привез в Петербург из Вены печатные образцы подобных шутовских „дипломов“. Секретарь французского посольства д'Аршиак, встретившись с Соллогубом после ноябрьской дуэльной истории, показал ему несколько подобных дипломов „на разные нелепые звания“, среди которых находился печатный образец письма, присланного Пушкину»³⁷.

К этому следует добавить, что «каждому, занимавшемуся историей» пушкинской дуэли, надлежит знать заключение П. Е. Щеголева на этот счет, абсолютно точное: «По форме диплом пародирует грамоты на пожалование кавалерами орденов. Термины <...> взяты из орденской (т. е. наградной).— С. Ф.) практики и встречаются в статутах различных орденов»³⁸.

Другой довод Ю. Плашевского, на первый взгляд, серьезнее: он впервые обратил внимание на оттиск печати, сохранившийся на единственном конверте (в котором был послан «диплом»), который дошел до нас: «Оттиск печати отчетливый. В центре, в обрамлении—виднеется литера „А“; справа—птица; слева—циркуль; сверху—гребень или ограда; еще выше—две капли; внизу под литерой „А“—ветвь пальмы. <...>

³⁶ Плашевский Ю. О происхождении пасквильного «диплома»//Простор. 1983. № 4. С. 180.

³⁷ Абрамович С. Л. Пушкин в 1836 году: Предыстория последней дуэли. Л., 1989. С. 85—86.

³⁸ Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. 4-е изд. М., 1987. С. 368. Ср.: Шеллеп Л. Е. Отмененные истории: Чины, звания и титулы в Российской империи. Л., 1977. С. 19.

Таким образом <...> было установлено, что почти все детали на конверте „диплома“ — это масонская символика»³⁹.

Следовательно...

Вот тут-то и надо было задуматься.

Называя А. С. Пушкина «коадьютором» (заместителем) роносоца Д. Л. Нарышкина, пасквильянт, как это заметил еще П. Е. Щеголев, недвусмысленно направлял мстительное внимание поэта на императора, так как связь жены Нарышкина с покойным Александром I была общеизвестна; Николай I тоже, и в высшем свете об этом хорошо знали, имел романы «на стороне». Рассылая пасквиль по нескольким адресам⁴⁰, мог ли организатор интриги рассчитывать на то, что бдительная полиция останется в стороне? Николай I отнюдь не потакал масонам, и в 1826 г. потребовал от всех служащих новой подписки о непринадлежности к логам. Значит, масоны самой печатью рисковали обратить на себя подлинный гнев монарха.

Без версии о международном заговоре космополитической клики против русского гения (а заодно и русского императора) здесь действительно трудно обойтись.

Только с графа К. В. Нессельроде (В. В. Кожин его объявляет главным организатором заговора), по размышлению, всякое подозрение нужно снять. Конечно, у него не было оснований любить поэта. Но покушаться на честь государя императора этот царедворец никак не мог. А стало быть, заговор выступает в виде грозной анонимной силы, в образе некоего злобного мстительного божества. Типичный миф-кошмар.

Масонскую эмблематику печати (циркуль, во всяком случае) можно объяснить куда проще — в полном соответствии с текстом «диплома». Он послан «от имени» Д. Л. Нарышкина, который сам был масоном: мастером в петербургской ложе «Северных друзей» (19-й ложе «Астреи»), а позже в московской ложе «Сфинкс»⁴¹.

Для пущей «убедительности» пасквильянт и мог припечатать разосланные «дипломы» соответствующей печаткой.

³⁹ *Плашевский Ю.* О происхождении пасквильного «диплома». С. 182—183. «Старейший научный сотрудник Эрмитажа Иван Георгиевич Спасский, — сообщает Г. Хаит, — которому я в свое время показывал фотографии отисков этой печати, не признал здесь следов ни масонской, ни личной, ни служебной печати, настолько она перегружена символами. Итак, отводилась ли ей вообще какая-либо роль в задуманной травле поэта?» (*Хаит Г.* По следам предвестника гибели // *Огонек*. 1987. № 6. С. 20).

⁴⁰ Той же печаткой были запечатаны и конверты, и сами вложенные в них пасквили, два из которых донные сохранились в коллекции Института русской литературы РАН (ПД, оп. 2, № 3 и 4).

⁴¹ См.: *Bakounine T.* Le répertoire biographique des francs-maçons russes. Bruxelles, [S. a.]. P. 357.

Так кто же был главным интриганом дуэльной истории? Пушкин был убежден, что им являлся барон Геккерн. И эта уверенность была прочной и взвешенной. Если вызов Дантеса на дуэль после полученного 4 ноября 1836 г. пасквиля можно еще объяснить эмоциональным взрывом, то письмо барону, написанное спустя два с лишним месяца, так не объяснишь. Мы не знаем всех доводов Пушкина на этот счет. Нельзя сомневаться, однако, что они были достаточно серьезны. Выдвигая новые версии дуэльной истории, приведшей к гибели поэта, мы должны отдавать себе отчет, что каждая новая из них является по отношению к Пушкину версией обвинения (ведь тогда его вызов был не по адресу!). Это вовсе не значит, что поиски в этом направлении нужно навсегда прекратить. Но обнародовать можно только твердые результаты, а не зыбкие предположения.

И уж совсем противопоказана науке мифология, которая ищет не истину, а врагов и благодетелей, преимущественно призрачных.

как правило, давно сделанное Т. Г. Цявловской замечание, что вчерне написанное 18 января — 17 февраля 1829 г. (время возвращения Пушкина с Ал. Н. Вульфом в Петербург) стихотворение было переработано вновь в Тверской губернии осенью 1829 г. Стихи 5—10, в частности, написаны между 16 октября и концом ноября (III, 1177)².

Важное само по себе, это замечание помогает осмыслить одну существенную деталь текста. Пушкин сообщает:

Хоть вампиром именован
Я в губернии Тверской...
(III, 151)

Здесь следует особо комментировать слово «вампир», ибо трудно предположить, что оно использовано в своем прямом значении: кровопийца, вурдалак. Что же тогда значит это слово?

Приглядимся к сохранившимся черновым автографам этого места. Сначала было:

Хоть повесой имянован
В

Хоть меня повесой славит
Новоторжская молва —
(III, 719)

а потом Пушкин переделывает текст:

Хоть молва ловласом славит
В Новоторжке и в

Хоть ославлен <я> ловласом
В Новоторжке и в

Хоть лов<ласом> имянован
Я в губернии Тверской
(III, 720)

теньки Вельяшевой, а ее дядей, братом матери — Наталии Ивановны, урожденной Вульф.

² Очевидно, не будет большой натяжкой утверждать, что и последнее четверостишие:

Если ж нет... по прежнему следу
В ваши мирные края
Через год опять заеду
И влюблюсь до ноября. —
(III, 151)

создано также осенью 1829 г. в Павловском, ибо трудно предположить, что в начале 1829 г. Пушкин твердо планировал вторичную поездку в имения Вульфов, и именно «через год». Скорее всего это «предсказание» сделано задним числом.

Ловлас — герой романа С. Ричардсона «Кларисса». Это не просто повеса, это хитрый обольститель женщин, сердцевед и сердцеед. Родственным ему героем был и Вампир.

В главе третьей «Евгения Онегина» Пушкин уже упоминал этого героя:

Британской музы небылицы
Тревожат сон отроковицы,
И стал теперь ее кумир
Или задумчивый Вампир,
Или Мельмот, бродяга мрачный,
Иль вечный жид, или Корсар,
Или задумчивый Сбогар.
Лорд Байрон прихотью удачной
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм.

(VI, 56)

К этому месту Пушкин сделал примечание: «Вампир, повесть, неправильно приписанная лорду Байрону» (VI, 193). Однажды в дружеском кругу Байрон сочинил начало романа «Вампир» (1816), а его собеседник врач Дж. Полидори создал на основе этого фрагмента повесть «Вампир» (1819), приписанную Байрону. Байрон был возмущен этим и опубликовал начало своего незаконченного романа³. Вампир Байрона — Полидори и есть пожиратель женских сердец. Как сказано в тексте самой повести, он «питался жизнью прекрасной женщины, для того чтобы продлить свое существование на следующие месяцы»⁴.

Итак, молва в «губернии Тверской» называет Пушкина человеком, опасным для неопытных девушек: «повесой» — «ловласом» — «вампиром». Черновик свидетельствует, что Пушкин колебался в выборе имени: какой из созданных молвой мифов закрепить в собственной стихотворной строке? Попытаемся объяснить, что стояло за этим перебором имен. Для этого прежде всего обратимся к письмам Пушкина к А. Н. Вульфу.

27 октября 1828 г. Пушкин писал из Малинников: «Тверской Ловлас С.-Петербургскому Вальмону здравия и успехов желает» (XIV, 33). Итак, Вульф — Вальмон (обольститель из романа Шодерло де Лакло «Опасные связи»), Пушкин — Ловлас. Но в письме от 16 октября 1829 г. из тех же Малинников Пушкин именуется Вульфом иначе: «Как жаль, любезный Ловлас

³ См. об этом: *Лотман Ю. М.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. 2-е изд. Л., 1983. С. 212—213; ср. также: *Измайлов Н. В.* Тема «вампиризма» в литературе первых десятилетий XIX в. // Сравнительное изучение литературы. Л., 1976.

⁴ Вампир: Повесть, рассказанная лордом Байроном/С приложением отрывка из одного недоконченного сочинения Байрона; (С английского) П. К. М., 1828. С. 24.

Николаевич, что мы здесь не встретились!» (XIV, 49)⁵. Свой образ в 1829 г. Пушкин предпочитает связывать не с героем сентиментального моралистического романа Ричардсона, но с «романтическим и безнравственным» Вампиром. Вампир этот и в самом деле «задумчивый»: он «грустно очарован» красотой Катеньки — Гретхен и — более того — несмотря на свою репутацию, не смеет и не хочет тревожить ее. В образ же героини, напротив, проникают черты, разрушающие монолит «девственной красоты»: «хитрый смех и хитрый взор» (III, 151). Акценты явно смещаются.

В немалой степени причиной тому оказывается следующее обстоятельство. В 1828 г. (ценз. разр. — 15 октября) выходит в свет перевод повести Полидори с приложенным к нему наброском Байрона и со статьей о вампиризме. Перевод этот был сделан П. В. Киреевским и стал к осени 1829 г. модной книжной новинкой. Очевидно, повесть дошла и до Тверской губернии, до поместий Вульфов, — вот почему кто-то и прозвал Пушкина Вампиром.

В данной связи уместно напомнить и еще один текст, созданный также осенью 1829 г. в Павловском. Героиня «(Романа в письмах)» Лиза сообщает своей петербургской подруге Саше: «Чтение Ричардс. (она) дало мне повод к размышлениям. Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внуков. Что есть общего между Ловласом и Адольфом? между тем роль женщин не изменяется. Кларисса за исключением церемонн<ых> приседаний, все же походит на героиню новейших романов. Потому ли, что [способы] нравиться в мужчине зависят от моды, от минутного мнения ... а в женщинах — они основаны на чувстве и природе, которые вечны» (VIII, 47—48).

Пушкин, как видим, много думает над проблемой эпохальных ролей и масок — литературных по своему происхождению, но приживающихся в бытовой сфере, влияющих на человеческие отношения, на репутацию и даже судьбу. Вампир — вряд ли игровое прозвище Пушкина типа Red Rower (так называла его А. А. Оленина)⁶. Вампиром Пушкина скорее называли «за глаза».

К такого же типа легендам относится и сплетня, пущенная А. П. Полторацким, который, как писал сам Пушкин, «сбол<т>

⁵ Пушкин и в дальнейшем называл А. Н. Вульфа «тверским Ловласом» (XVI, 104). О характере маски Ловласа см. примечания в кн.: Пушкин. Письма. Т. II. С. 311—312.

⁶ Оленина А. А. Из «Дневника» // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 84. «Red Rew» («Красный пират») — роман Д. Ф. Кулера (1828), названный по имени главного героя, «благородного разбойника», борца за независимость Америки.

нул) в Твери (?), что я шпион, получаю за то 2500 в месяц (? (которые очень бы мнегодились благодаря крепсу) и ко мне уже являются трою(ро)дные братцы за местами (? и за милостями (? царскими (?» (XIV, 266). Легенда эта отразилась в черновиках «Евгения Онегина» в изображении главного героя:

Об нем толкует
Разноречивая Молва
Им занимается Москва
Его шпионом именуется
Слагает в честь его стихи
И производит в женихи.
(VI, 497) ⁷

Достоин, впрочем, внимания, что оба текста: онегинский и «Подъезжая под Ижоры...» — относятся к 1829 г., связаны с Тверским краем и сходны по своей конструкции («вампиром именован», «шпионом именуют»). Все это наводит на мысль о типологии не только самих текстов, но и стоящих за ними прототипических ситуаций. Возможно, в именовании героя «Евгения Онегина» шпионом заключен и намек на роман Д. Ф. Купера «Шпион» (1821, рус. пер. — 1825). В этом случае параллель между Вампиром и шпионом получается полной: оба прозвища имеют двойной смысл — бытовой и литературный. А для репутации того, кто получает такое прозвище, велика опасность, как бы бытовое его значение не заслонило собой и не отменило бы смысл игровой и литературный.

Характерным примером закрепления за Пушкиным посмертной репутации, полностью игнорирующей ролевой, игровой аспект поведения, может послужить письмо Михаила Алексеевича Бакунина, племянника знаменитого анархиста М. А. Бакунина, написанное 22 апреля 1946 г. из Брюсселя родственникам С. Н. и П. М. Любачинским, проживающим под Москвой. Отвечая на вопрос Любачинских, не бывал ли Пушкин в Прямухине, родовом имени Бакуниных, М. А. Бакунин писал: «Один из Вульфов (имеется в виду Алексей Николаевич. — М. С.) был близким товарищем и другом Пушкина, который жила у Вульфов и Панафидиновых в имени Старицкого уезда и через своего приятеля Вульфа предпринимал шаги к тому, чтобы познакомиться с семьей моего деда Александра Михайловича Бакунина и приехать в Прямухину. Дед домогательства Пушкина

⁷ См. об этом: *Лотман Ю. М.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. С. 380.

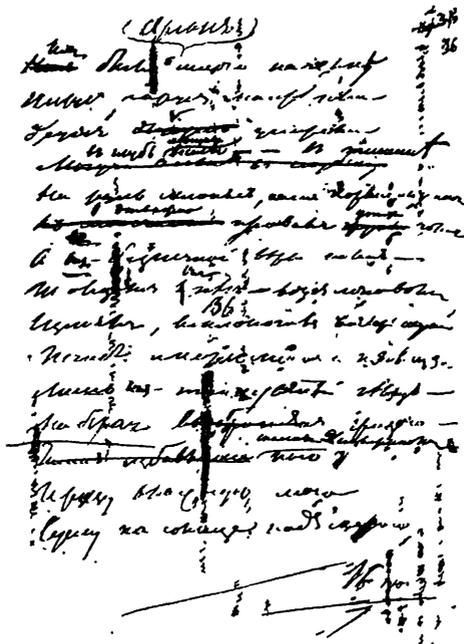
отклонил, полагая, что знакомство с неотразимым повесой Пушкиным может оказаться опасным для его четырех дочерей»⁸.

Бакунины состояли в родстве с Вульфами: Александра Александровна (род. 1816) была замужем за Гаврилой Петровичем Вульфом, но этот брак состоялся уже в послепушкинские времена. Несмотря на семейную близость к Вульфам, весьма расположенным к Пушкину, свидетельство М. А. Бакунина явно антипушкинское. Вряд ли такое настроение явилось следствием личной оценки описываемых событий отцом Михаила Алексеевича, Алексеем Александровичем Бакуниным, так как он родился только в 1823 г. и о событиях 1828—1829 гг. мог знать лишь из чужих уст. Однако версия об отказе Пушкину («домогательства <...> отклонил») от дома зародилась в его семье. Думается, причина этого в том, что Алексей Александрович женат на внучке И. Г. Полетика Марии Николаевне Мордвиновой, которая свято хранила портреты своей бабушки и матери⁹. Поскольку известно, что Полетика питала совершенно исключительное чувство ненависти к самой памяти Пушкина¹⁰, то естественно предположить, что она передала это чувство своей дочери и внучке. Так посмертно возвратился к Пушкину эпитет «повеса», замененный в стихотворении на литературное прозвище.

⁸ Оригинал письма хранится в семье С. Н. и П. М. Любашинских, копия его — в Тверском гос. областном музее. Благодарю Л. А. Казарскую и Г. М. Гречишкину за указание на это письмо и разрешение использовать его в своей работе. Сведения эти, кстати сказать, опровергают версию о посещении Пушкиным в 1826 г. Прямухина (см. об этом: *Вдовыкин-Чуриков Г.* Тверские маршруты поэта//Тверская жизнь. 1990. 15 сент.).

⁹ Впервые об этих трех портретах упомянул С. Ласкин (Дело Идалии Полетики)//Вопр. лит. 1980. № 6. С. 217), неверно указав место их хранения, которое уточняем: Тверской гос. областной музей. Портреты эти ранее принадлежали Илье Петровичу Циргу, внуку Алексея Александровича, сыну дочери последнего — Екатерины Алексеевны.

¹⁰ См.: Рус. арх. 1911. Т. 1. № 1. С. 176.



И. В. Немировский

ДЕКАБРИСТ ИЛИ СЕРВИЛИСТ?

(Биографический контекст стихотворения
«Арион»)

По своей устойчивости и распространенности миф о «Пушкине-декабристе» сравним только с противоположным по содержанию мифом о «Пушкине-сервилисте», или, как деликатно выразился А. Блок, «Пушкине — друге монархии»¹.

Естественно, что обе эти точки зрения на пушкинскую личность, при всей их взаимной враждебности, имеют в виду примерно одинаковый набор обстоятельств жизни поэта и его произведений. Ни одна из них не обходится без рассказа о свидании Пушкина с императором Николаем I в Петровском замке в сентябре 1826 г., без анализа осложнившихся взаимоотношений поэта с друзьями в 1827—1829 гг., без обращения к обстоя-

¹ Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 160.

тельствам путешествия на Кавказ в 1829 г., без изучения последних лет жизни Пушкина. Очень часто интерпретация пушкинских произведений существенным образом зависит от того, внутри какой биографической парадигмы они рассматриваются. Так, например, «Медный всадник» может быть оценен как «апофеоз Петра» и абсолютизма вообще в рамках мифа о «Пушкине — друге монархии» или же как аллегория декабрьского восстания в рамках мифа «Пушкин — несостоявшийся декабрист». «Медный всадник», пожалуй, один из наиболее ярких примеров того, насколько жестко оценка произведения зависит от характера приписываемого ему биографического контекста. Но лишь очень немногие пушкинские тексты определенно и долговечно относятся только к какому-нибудь одному мифу. Любопытно при этом, что миф о «Пушкине-сервилисте» характеризуется более устойчивым набором соответствующих ему произведений. Так, по крайней мере до сих пор, никому не удалось оспорить, что в стихотворениях «Стансы», «Друзьям», «Герой», «Бородинская годовщина» Пушкин выказал свои симпатии просвященному абсолютизму. Более сложно обстоит дело с произведениями, соответствующими альтернативному мифу о Пушкине как тайном декабристе. Здесь, в особенности в последние годы, пушкиноведы не оставили ничего бесспорно относящегося к этому и только к этому мифу. Даже «Послание в Сибирь», — казалось бы несомненное проявление декабристских симпатий Пушкина, — было недавно рассмотрено как призыв декабристам надеяться на царскую милость².

И только стихотворение «Арион», единственное до последнего времени, сохраняло репутацию своеобразного поэтического манифеста, в котором Пушкин выразил свою верность декабристам. Более того, это произведение традиционно рассматривается как обобщение размышлений поэта о собственном месте среди декабристов. Все в нем как будто дает основания именно для такого прочтения: написанное 16 июля 1827 г., три дня спустя после первой годовщины казни декабристов, стихотворение связано со многими декабристскими замыслами поэта. От этого общего положения некоторые исследователи делали следующий шаг и пытались рассмотреть «Арион» как аллегорическое изображение декабрьского восстания; даже всерьез поставлен вопрос, кого же Пушкин имел в виду под «кормщиком умным»: Пестеля или Рыльева?³

² См.: *Непомнящий В. С.* Поэзия и судьба. М., 1987. С. 88—127.

³ См., например: *Розанов И. Н.* Пушкин — певец свободы // *А. С. Пушкин: Материалы юбилейных торжеств.* М.; Л., 1951. С. 112; *Рождественский В. А.* Читая Пушкина. Л., 1962. С. 153—158.

Относительно недавно общий ход продекабристских интерпретаций стихотворения был нарушен скептическим замечанием В. В. Пугачева, исследователя, давно и плодотворно развивающего тему «Пушкин и общественное движение»: «Декабристы явно не узнали себя ни в „пловцах“, ни в „кормщике“. Анонимность „Ариона“ не могла обмануть сибирских мучеников. Публикация в „Литературной газете“ делала для них авторство совершенно прозрачным. Не узнать „таинственного певца“ они не могли. Никто из современников не увидел в стихотворении аллегорического изображения декабристов»⁴.

Утверждение В. В. Пугачева о «прозрачности» авторства «Ариона» не кажется нам бесспорным. Вопросы о том, почему Пушкин опубликовал стихотворение, во-первых, только три года спустя после его написания и, во-вторых, анонимно, не просты, и мы предполагаем вернуться к ним в конце нашей работы. В целом же мысль исследователя представляется совершенно справедливой: аллюзионное, узкоаллегорическое восприятие «Ариона» было чуждо современникам поэта.

Эта точка зрения не была доминирующей и в научном пушкиноведении до того момента, как в нем сложились те две альтернативные парадигмы, о которых речь уже шла. Однако уже в начале 1920-х годов утверждение Л. С. Гинзбурга о том, что «весьма возможно, что „Арион“ никакого отношения к декабристам не имеет и, создавая его, Пушкин думал только о поэте»⁵, вызвало энергичные возражения Ю. М. Соколова, Н. Н. Фатова, В. В. Леоновича-Ангарского, Н. К. Пиксанова и некоторых других советских литературоведов, присутствовавших на выступлении Л. С. Гинзбурга. Дело в том, что и приведенная выше, и многие другие интересные мысли Гинзбурга об «Арионе» были изложены им не в статье, а в устном сообщении, прочитанном на заседании Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности в 1924 г. Если бы доклад был опубликован, то, возможно, не было бы необходимости в настоящей статье. Однако выступление Гинзбурга было забыто и о его содержании можно только догадываться, причем не столько по крайне конспективному, скупому изложению его в «Хронике», сколько по гораздо более пространно представленным там замечаниям его оппонентов. Обратившись к рукописи стихотворения, хранившейся тогда в Румянцевском музее, ученый обратил внимание на «стремление поэта переделывать текст, напр., замена слов „нас“ словом „их“ <...> или замена „я“ на

⁴ Пугачев В. В. Из эволюции мировоззрения Пушкина конца 1820-х — начала 1830-х годов («Арион»)//Проблемы истории, взаимосвязей русской и мировой культуры. Саратов, 1983. С. 52—53.

⁵ См.: Хроника//Пушкин: Сб. 1/Ред. Н. К. Пиксанов. М., 1924. С. 291.

„он“. <...> Получается впечатление, — отмечал докладчик, — что поэт хотел затушевать свою связь с декабристами, если стихотворение имело их в виду»⁶.

К смыслу тех изменений, которые Пушкин вносил в употребление личных местоимений, мы еще вернемся. Здесь же хотелось бы подчеркнуть, что именно текстологические наблюдения над стихотворением менее всего укладываются в рамки «декабристской» интерпретации «Ариона». Помимо того, что уже сказано об этом Гинзбургом, нам бы хотелось обратить внимание на историю изменений строки 13 стихотворения.

Первоначально в беловом автографе (единственном сохранившемся) она звучала так: «Гимн избавления пою» (III, 593). Затем в первом слое правки строка приобрела следующий вид: «Я песни прежние пою» (III, 593), а при последующем исправлении изменилась еще раз: «Спасен Дельфином, я пою» (III, 593). В последнем, третьем, слое поправок Пушкин самым существенным образом переработал все стихотворение, повсюду, где это было необходимо, заменив форму первого лица на третье: «Их было много на челне...» (III, 593) вместо «Нас было много на челну»; «А он — беспечной веры полн» вместо «А я, беспечной веры полн»; «Пловцам он пел» вместо «Пловцам я пел»; «Лишь он — таинственный певец» вместо «Лишь я — таинственный певец». Любопытно, что и из тринадцатой строки «Спасен Дельфином, я пою» «я» было исключено, однако глагол сохранил личную форму первого лица, получилось: «Спасен Дельфином, пою». В окончательном варианте текста строка была снова изменена, приобретя привычное для нас звучание: «Я гимны прежние пою» (III, 58).

Колебания Пушкина в выборе строки 13 не прошли мимо внимания исследователей. Так, Т. Г. Цявловская, принадлежавшая к числу активнейших создателей мифа о «Пушкине-декабристе», писала об этом следующим образом: «Исследователь не может не остановить своего внимания на том, что самый ударный, выразительный стих „Ариона“ — „Я гимны прежние пою“ — появился в тексте далеко не сразу. Три известных нам варианта 13-го стиха, написанные в 1827 г., были заменены впоследствии тем стихом, ради которого, казалось бы, написано стихотворение. Когда? Быть может, только в 1830 г., перед публикацией стихотворения в „Литературной газете“ в том окончательном виде, который всегда и печатается? — Сказать трудно»⁷.

⁶ Там же.

⁷ Цявловская Т. Г. Отклики на судьбы декабристов в творчестве Пушкина // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 210.

Как видим, хотя Т. Г. Цявловская и признает ключевое значение строки 13 «Ариона» (стих, ради которого, казалось бы, написано стихотворение), она даже не пытается ответить на вопрос, чем определены колебания поэта в ее выборе.

Не дал объяснения этому обстоятельству и Ю. П. Суздальский, с методологической точки зрения безусловный протагонист Т. Г. Цявловской. В своем исследовании, посвященном реконструкции культурного фона стихотворения, он только констатировал, что Пушкин в работе над стихотворением постепенно удалялся от античного мифа об Арионе и что окончательный вариант, кроме мотива чудесного спасения поэта, не содержит ничего общего с историей о рапсode, спасенном чудесной силой своего искусства⁸. Это, может быть, чересчур категоричный вывод, поскольку и в своем окончательном виде пушкинское стихотворение содержит общий с мифом мотив «спасения из морской стихии», не говоря уже о том, что в обоих случаях речь идет о певцах, поэтах. Но, конечно, важно, что античный миф содержал не только мотив спасения (кстати, ни о какой буре речи в нем не идет), но и образ чудесного спасителя — Дельфина, — присутствующий в промежуточных вариантах стихотворения, но исключенный из окончательного текста.

Наиболее же содержательные отличия пушкинского «Ариона» от древнегреческого мифа таковы:

1. В мифе рапсод Арион, возвращаясь на корабле с поэтического состязания, на котором он выиграл крупный денежный приз, попадает к разбойникам. У Пушкина поэт на «чолне» находится среди друзей и единомышленников.

2. В мифе разбойники покушаются на имущество и жизнь Ариона. У Пушкина источником общей, а не только для поэта, опасности является внезапно налетевшая буря.

3. Арион спасается, получив от разбойников разрешение исполнить свой гимн. Пение рапсода привлекает дельфина. Таким образом, вся история обретает особое дидактическое звучание: оказывается, что поэт избавляется от опасности силой своего искусства. Именно здесь Пушкин проявляет наибольшие колебания, раздваиваясь между желанием объяснить спасение «таинственного певца» вмешательством чудесного спасителя («Спасен Дельфином, я пою») или же просто действием слепых сил судьбы, которые случайно пощадили его одного. Последнее объяснение находится в наиболее резком противоречии с содержанием античного мифа, поскольку элиминирует не только

⁸ Суздальский Ю. П. «Арион» Пушкина // Литература и мифология. Л., 1975. С. 7.

роль чудесного спасителя, но и мотив спасительной силы са-мого искусства.

4. В древнегреческой истории Арион, принесенный дельфином к берегам Коринфа, был радостно встречен здесь местным тираном Пелиандром. У Пушкина же этот мотив «радостной встречи» полностью отсутствует, и это значимо, поскольку стихотворение включает в себя описание берега.

5. И наконец, в пушкинском стихотворении «гроза» («вихорь шумный») является не только источником опасности, но одновременно и средством спасения («на берег выброшен грозою»). Таким образом, в стихотворении выстраивается некоторая цепь случайностей: неожиданны как сама буря, так и спасение от нее. Это совмещение неожиданностей парадоксально усложняет всю ситуацию, подчиняя ее каким-то таинственным законам (отсюда «таинственный певец»).

Нам представляется, что колебанием в решении вопроса о том, кому именно поэт обязан своим спасением, слепым силам судьбы, персонифицированным в образе «грозы», или же чудесному спасителю-«Дельфину», связано возникновение другой, столь же непростой проблемы выбора между «Гимном избавления» и «песнями (гимнами) прежними». «Избавление» предполагает более тесную связь с чудесным спасителем.

Чем же определены пушкинские колебания? Очевидный ответ: динамикой судьбы поэта, по крайней мере тех ее трех лет, которые отделили время написания стихотворения от времени его публикации. Между тем в многочисленных работах, посвященных «Ариону» и написанных в рамках биографического подхода, не дается сколько-нибудь убедительного объяснения этим колебаниям. И не только потому, что большинство советских исследователей, занимавшихся «Арионом», разделяли миф о «Пушкине-декабристе». Мы попробуем изложить свою версию биографического контекста, значимого для понимания «Ариона», но нам важно это не столько для новой интерпретации стихотворения, сколько для выявления того, что не поддается объяснению ни в рамках любого из двух мифов о Пушкине, ни в рамках узкобиографического подхода вообще.

*
* * *

Во второй половине июня 1826 г. поэт получает от П. А. Вяземского письмо, где впервые утверждается, что Пушкин «остался цел и невредим в общую бурю», — вывод, целиком определенный тем обстоятельством, что следствие по де-

лу декабристов практически закончено и Пушкин не был к нему привлечен. Значит, считает Вяземский, Пушкин *теперь* вправе обратиться с письмом к императору: «На твоём месте <...> я <...> сознался бы в шалостях языка и пера с указанием, однако же, что поступки твои не были сообщниками твоих слов, ибо ты остался цел и невредим в *общую бурю*; обещал бы впредь держать язык и перо на привязи» (письмо от 12 июня 1826 г.— XIII, 285; курсив мой.— И. Н.).

С того времени, когда Пушкин узнает о масштабах декабрьской катастрофы и правительственных репрессиях, с ней связанных, его постоянно преследуют два противоречивых чувства: негодование на правительство и желание обратиться к императору с просьбой о прекращении собственного изгнания. Сделать это впрямую мешает идущее по делу декабристов следствие. Поэт понимает, что обратиться к императору непосредственно можно будет только тогда, когда будет установлена его невиновность (или степень вины не будет признана большой). В письмах мотивы «опасения» и «оправдания» постоянно связаны. «Я человек мирный. Но я беспокоюсь — и дай Бог, чтобы было понапрасну» (А. А. Дельвигу — 20-е числа января 1826 г.— XIII, 256); «Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко, может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных...» (В. А. Жуковскому. 20-е числа января 1826 г.— XIII, 257).

Письмо к Жуковскому интересно, во-первых, выражением вызывающей независимости: «Теперь положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов условливаться (буде условия необходимы), но вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства...» (там же). При этом Пушкин прекрасно понимает, что читать его письмо будет отнюдь не только Жуковский (отсюда признание в «неблагоразумности» послания). Во-вторых, тем, что здесь впервые ясно выражается желание Пушкина рассчитывать на «счастье», т. е. на счастливый случай («Письмо это неблагоразумно конечно, но должно же доверять иногда и счастью» — там же).

В январе 1826 г., когда писалось это письмо, Пушкин весьма далек от того, чтобы идти на серьезные уступки по отношению к правительству. В дальнейшем эта позиция будет меняться, и поэт сначала попросит Жуковского показать цитированное выше письмо Н. М. Карамзину, а затем императору. Уже в начале февраля 1826 г. в письме к А. А. Дельвигу Пушкин сознается в том, что готов «*вполне и искренно* помириться с правительством» (XIII, 259).

При этом 12 апреля Жуковский пишет ему чрезвычайно резкое письмо, где прямо говорится: «В теперешних обстоятельствах нет никакой возможности ничего сделать [для тебя] в твою пользу <...> не просись в Петербург. Еще не время» (XIII, 271). Намерение Пушкина обратиться к правительству с письмом, формально адресованным Жуковскому, не вызвало никакого сочувствия последнего: «Я никак не умею изъяснить, для чего ты написал ко мне последнее письмо свое. Есть ли оно *только ко мне*, то оно странно. Есть ли ж для того, чтобы его *показать*, то безрассудно» (там же; курсив Жуковского).

Полученное через два месяца письмо Вяземского стало, таким образом, для Пушкина своеобразным сигналом от друзей, что время договариваться с правительством пришло. В повторном обращении к поэту от 31 июля 1826 г. Вяземский говорит об этом еще более определенно, снова объясняя, почему он так считает: «Ты имеешь права не сомнительные на внимание, ибо остался неприкосновен в общей буре» (XIII, 289).

Так образ морской бури из необязательного сравнения становится важнейшим мотивом переписки Пушкина — Вяземского, поскольку не просто повторяется, но и вписывается в поэтический контекст,— письмо Вяземского от 31 июля содержит стихотворение «Море», где говорится о волнах:

В вас нет следов житейских бурь,
Следов безумства и гордыни,
И вашей девственной святыни
Не опозорена лазурь.
Кровь братьев не дымится в ней!
На почве, смертным не послушной,
Нет мрачных знамений страстей,
Свирепых в злобе малодушной!

(XIII, 287)

Эта строфа, как известно, вызвала стихотворное возражение Пушкина:

Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.
Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун Земли союзник.
На всех стихиях человек
Тиран, предатель или узник.

(XIII, 290)

Важнейшей в переписке поэтов становится и тема судьбы. Так, узнав о смерти трехлетнего сына Вяземского, Пушкин отзывается на это: «Судьба не перестает с тобою проказить. Не

сердись на нее. <...> Представь себе ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит ее на цепь? не ты, не я, никто» (XIII, 278).

Мысль о возможности прямого обращения к правительству возникла у Пушкина еще до совета Вяземского. Во второй половине мая он писал императору: «Ныне с надеждой на Великодушие Вашего величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпискою и честным словом)...» (XIII, 283). Это полное внутреннего достоинства письмо остается без ответа, а Вяземский находит его «сухим и холодным» и советует написать другое, адресовав его в Москву, где должна была состояться коронация.

Этот совет доходит до поэта сразу же после потрясшего его известия о казни декабристов. «Ты находишь письмо мое холодным и сухим,— отвечает он Вяземскому 14 августа 1826 г.— Иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы» (XIII, 291).

Итак, второе письмо с предложением компромисса правительству принципиально не было написано. Более того, этот ответ Вяземскому от 14 августа и содержит в себе стихотворение «Так море, древний душегубец...», одно из самых горьких в пушкинском творчестве. А чтобы ни у Вяземского, ни у возможных перлюстраторов письма не оставалось сомнений, по какому поводу оно написано, Пушкин сопровождает стихотворение следующим комментарием: «Правда ли, что Николая Т.<ургенева> привезли на корабле в П.<етер> Б.<ург>? Вот какво море наше хваленое!» (XIII, 291).

Такое поведение, вопреки призывам друзей к скромности и раскаянию, являлось несомненным вызовом правительству. И Пушкин сознательно идет на него, несмотря на то что уже в середине июля молчание императора расценивается им как знак в высшей степени неблагоприятный: «Если б я был потребован комиссией, то я бы конечно оправдался, но меня оставили в покое, и, кажется, это не к добру» (XIII, 286). В этом же письме поэт горько пеняет Вяземскому за дурной отзыв о декабристах: «Кого ты называешь сорванцами и подлецами? Ах, милый... слышишь обвинение, не слыша оправдания, и решишь: это Шемакин суд» (там же). Пушкин прекрасно знает, что за ним следят, а уж в том, что письма его читают, имел случай убедиться не раз. Поэтому приезд фельдъегеря в Михайловское и поездку в Москву под конвоем он считает арестом. У Н. И. Лорера были основания утверждать (со слов Л. С. Пушкина): «Зная за

собой несколько либеральных выходов, Пушкин был убежден, что увезут его прямо в Сибирь»⁹.

Тем более неожиданным оказалось свидание с Николаем I, завершение ссылки, освобождение от цензуры. . .

«Исторический шквал, потрясший русское общество 14 декабря,— пишет В. Э. Вацуро,— в личной судьбе Пушкина обернулся сцеплением случайностей. Шесть лет никакие хлопоты друзей не могли освободить его, сосланного без прямого политического преступления и при отсутствии твердых улик. Сейчас, когда появилась несомненная улика — показания арестованных заговорщиков (<...> его освобождают и обещают покровительство. Все происходит в единый момент, неожиданно и чудовищно парадоксально»¹⁰.

О знаменитом свидании Пушкина с Николаем I, состоявшемся сразу по прибытии Пушкина в Москву, мы знаем из нескольких источников¹¹. Каждое свидетельство отличается от других теми или иными акцентами. Воспоминания, записанные со слов самого императора, свидетельствуют о том, что от него не ускользнули долгие колебания Пушкина по поводу предложенного ему компромисса: «На вопрос мой, переменится ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря, но очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку, с обещанием — сделаться другим»¹².

Несомненно, что колебания Пушкина не в последнюю очередь были вызваны желанием оценить реальный вес уступок, которых потребует от него «царская милость». Согласие же определялось надеждой, что их не потребуются слишком много, и убеждением, что *пока* ничем жертвовать не пришлось. Поэтому в первые сентябрьские недели 1826 г. освобождение представляется Пушкину неожиданным подарком судьбы. Тема судьбы, как уже отмечалось, занимает важнейшее место в его разговорах этого времени. «Теперь должно начаться счастье», — признается он Д. В. Веневитинову¹³.

Совсем иначе освобождение поэта и внешние проявления «царской милости» были восприняты определенной частью мос-

⁹ Лорер Н. И. Записки моего времени//Лорер Н. И. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 204.

¹⁰ Вацуро В. Э. Пушкин в сознании современников//Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 1. С. 12.

¹¹ Обзор их см.: Эйдельман Н. Я. Пушкин: Из биографии и творчества. М., 1987. С. 18—24.

¹² Корф М. А. Записки//Рус. старина. 1900. Т. 101. С. 574.

¹³ Погодин М. П. Из «Дневника»//Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 2. С. 19.

ковского общества: «Либералы, однако же,—вспоминал Вяземский,—смотрели с неудовольствием на сближение двух претендентов (Николая I и Пушкина.—И. Н.). Начали обвинять Пушкина в измене делу патриотическому; а как лета и опытность возродили в Пушкине обязанность быть воздержаннее в речах своих и осторожнее в действиях, то начали приписывать перемену эту расчетам честолюбия»¹⁴.

К апрелю 1827 г. слух об «измене делу патриотическому» разошелся настолько широко, что когда Михаил Критский предложил избрать поэта в члены создаваемого в Московском университете конспиративного кружка, другой участник этого совещания, Михаил Лушников, возразил: «Пушкин ныне предался большому свету и думает более о модах и остреньких стихах, нежели о благе отечества»¹⁵ Тесно общавшийся в это время с поэтом С. П. Шевырев даже был склонен объяснить отъезд Пушкина из первопрестольной в начале мая 1827 г. тем, что «Москва неблагоприятно поступила с ним. После умеренных похвал и лестных приемов охладели к нему, начали даже клеветать на него, возводить на него обвинения в ласкательстве и даже наущничестве перед государем. Это и было причиной того, что он оставил Москву»¹⁶.

Как видим, с точки зрения и Вяземского, и Шевырева, до лета 1827 г. единственным реальным основанием для «клеветы» было изменение поведения поэта. Это, в частности, может означать, что уже написанные «Стансы» еще ждут своего часа и не известны не только широкой публике, но и друзьям. Между тем люди, знавшие Пушкина коротко, осведомлены, что после внешнего улучшения реальные отношения поэта с властью с конца осени 1826 г. вновь становятся все хуже.

Уже в ноябре, почти сразу после возвращения, поэт почувствовал обратную сторону «царской милости» (Николай, как известно, принял на себя цензорские обязанности). Один за другим следуют выговоры от Бенкендорфа за попытки опубликовать некоторые произведения «обычным путем», без ведома Третьего отделения, и за публичные чтения «Бориса Годунова». 14 ноября трагедия была фактически запрещена к публикации; своим чередом идет уголовное дело об «Андрее Шенье»¹⁷; летом 1827 г. начнется еще одно жандармское следствие о подо-

¹⁴ Вяземский П. А. Биографическое и литературное известие о Пушкине//Там же. Т. 1. С. 127.

¹⁵ Цит. по: Лемке М. К. Тайное общество братьев Критских//Былое. 1906. Июнь. С. 46.

¹⁶ Цит. по: Майков Л. Н. Пушкин. СПб., 1900. С. 350.

¹⁷ См.: Дела III Отделения Собственной Его императорского величества канцелярии об Александре Сергеевиче Пушкине. СПб., 1906. С. 15—17.

зрительной, с точки зрения Бенкендорфа, виньетке к поэме «Цыганы» (здесь был изображен кинжал, разрывающий цепи)¹⁸.

Тот факт, что шеф жандармов усмотрел в стандартном типографском оформлении злонамеренность Пушкина, свидетельствует о недоверчивом и подозрительном отношении властей к поэту. И Пушкин, конечно, это понимает и стремится нормализовать свои отношения с правительством, хотя молва значительно преувеличивает степень его усилий; сам он ни в коей мере не рассматривает как компромиссы ни составление записки «О воспитании», ни объяснения по делу об «Андрее Шенье», ни ответ Бенкендорфу на запрещение «Бориса Годунова» (все это пишется до лета 1827 г.). Правительство же явно усматривает в его действиях противостояние себе.

Видимо, переломным во многих отношениях стало свидание Пушкина с Бенкендорфом, состоявшееся 5 июля 1827 г. Сразу же после него следствие по делу о виньетке к «Цыганам» было прекращено, а «Стансы», лежавшие без движения более полугода, оказались у Бенкендорфа. Таким образом, примирение с правительством произошло, и вечером того же дня шеф жандармов писал императору: «Пушкин (<...>) после свиданья со мной, говорил в Английском клубе с восторгом о Вашем Величестве и заставил лиц, обедавших с ним, пить здоровье Вашего Величества. Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно»¹⁹.

Автограф «Ариона» имеет дату: 16 июля 1827 г. Несомненно, что этот день в первую очередь переживался поэтом как день, близкий к годовщине казни декабристов (13 июля 1826 г.) Но вместе с тем всего лишь за десять дней до того произошло свидание с Бенкендорфом, событие, давшее Пушкину лишний повод задуматься о своем спасении в «общей буре». М. К. Лемке высказал мнение, что «Арион» явился поэтическим откликом на это свидание («и слабохарактерный, доверчивый Пушкин, не допускаящий и мысли о веденной против него гнусной блокаде, в порыве чувств пишет через десять дней после свидания с Бенкендорфом своего „Ариона“») ²⁰. Можно не соглашаться с категоричностью и односторонностью подобного утверждения, но нельзя отрицать, что оно имеет основание: в процессе работы над стихотворением, после ряда сомнений и колебаний, поэт остановился на варианте «Спасен Дельфином, я пою». Уже относительно давно Ю. М. Соколов осторожно высказал точку зрения о том, что «образ дельфина, на котором спасся поэт, может

¹⁸ Там же. С. 259—261.

¹⁹ Старина и новизна. 1903. Т. 6. С. 6.

²⁰ Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 годов. СПб., 1909. С. 484.

быть, намек на Николая I»²¹. Осторожность явно нелишняя, поскольку в дальнейшем мнение Соколова будет приводиться как пример исследовательского аполитизма: «Это сближение неосновательно,— с пафосом восклицал Г. С. Глебов,— в атмосфере декабрьской трагедии у Пушкина не могла возникнуть мысль о Николае как спасителе»²².

Увы, вопреки утверждению Глебова, мысль о том, что именно Николаю он обязан своим спасением, не только приходила в голову Пушкину,— начиная со второй половины 1827 г. он неоднократно высказывал ее вслух. «Меня должно прозвать или Николаевым, или Николаевичем, ибо без него я бы не жил. Он дал мне жизнь и, что гораздо более, свободу: виват!» — так (по донесению секретного агента) Пушкин определил свое отношение к императору в октябре 1827 г.,²³ и это было не случайное высказывание.

20 июля «Стансы» переданы Бенкендорфу (шаг символический). Чуть позже началось их систематическое распространение в обществе. «За ужином,— доносит полицейский агент,— при рюмке вина, вспыхнула веселость, пели куплеты. <...> Барон Дельвиг подобрал музыку к стансам Пушкина, в коих государь сравнивался с Петром»²⁴. В «Записках» А. О. Смирновой-Россет приводится эпизод, на достоверности которого мы не настаиваем, но который характеризует определенный взгляд на биографию Пушкина 1827—1828 гг.: Пушкин читает Смирновой отрывок из стихотворения А. Шенье «Арион» («Юный Арион, прогони из сердца страх, Причаль к берегам Коринфа; Минерва любит этот тихий берег, Периандр достоин тебя; И глаза твои узрят там мудреца») и добавляет: «Тот, кто говорил со мной в Москве, как отец с сыном, в 1826 г., и есть этот мудрец. <...> Арион пристал к берегу Коринфа»²⁵.

Какой бы смысл Пушкин не вкладывал в стихотворение, распространяя «Стансы», он только усугублял наметившийся еще весной 1827 г. конфликт между ним и либеральной частью русского общества. Однако если тогда в него не были втянуты друзья, то сейчас поэт основательно испортил отношения именно с близкими людьми. Осудил написание «Стансов» и способствовал появлению слухов о том, что они были написаны «за

²¹ Изложение точки зрения Ю. М. Соколова см.: Хроника//Пушкин. М., 1924. С. 291.

²² Глебов Г. С. Об «Арионе»//Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Л., 1941. Вып. 6. С. 301.

²³ Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. Л., 1925. С. 73.

²⁴ Там же. С. 70.

²⁵ Смирнова-Россет А. О. Записки. Л., 1929. С. 176 (подлинник по-французски).

полчаса, в присутствии государя, в кабинете его величества», А. И. Тургенев²⁶; с упреками в сервиллизме выступил П. А. Катенин²⁷, прервалось общение Пушкина с П. Я. Чаадаевым. Даже отношения с верным Вяземским в начале 1828 г. явно переживают кризис, и дело здесь, как нам представляется, не только в нескольких не вполне благожелательных оценках, данных Вяземским поэме «Цыганы», а прежде всего в том, что рубеж 1827—1828 гг. — это пик оппозиционности Вяземского²⁸, а для Пушкина — период наиболее явных попыток прийти к компромиссу с властью.

Пушкин остро переживает разлад между ним и обществом и понимает, что обнародование «Ариона» со строкой «Спасен Дельфином, я пою», аллюзивный смысл которой не ускользнул бы от современников, только усугубило бы его. Видимо, в этом причина того, что поэт не делает попыток опубликовать стихотворение или же распространить его в копиях. Ситуация требовала от него более прямого ответа, и в начале 1828 г. появляется стихотворение «Друзьям», где отводится обвинение в том, что «Стансы» написаны «по заказу», и утверждается свободный характер творчества. Черновик стихотворения содержит размышления Пушкина на весьма волновавшую его в это время тему «клеветы»: «Я жертва мощной клеветы; Ты знаешь — жертва клеветы; Презрев — ты знаешь — клеветы» (III, 643).

Стихотворение «К друзьям» не способствовало примирению²⁹, однако к 1830 г. отношения поэта с большинством тех, кому оно было адресовано, наладились и окрепли. И только тогда, в июле 1830 г., в 43-м номере «Литературной газеты» был впервые опубликован «Арион», без подписи и с тринадцатой строкой, измененной в четвертый раз. Теперь она звучала так: «Я песни прежние пою».

Какие же обстоятельства сделали возможной публикацию и предопределили ее анонимный характер? Нам представляется, что в первую очередь — новая волна слухов о сервиллизме поэта, инспирированная литературными противниками Пушкина, которые использовали эти слухи как важнейшее средство газетно-журнальной полемики. В марте 1830 г. «Северная пчела» Ф. Булгарина опубликовала «Анекдот», явившийся грубым пасквилем на Пушкина («Бросает рифмами во все священное,

²⁶ Письмо А. И. Тургенева А. И. Михайловскому-Данилевскому от 10 января 1828 г. // Рус. старина. 1890. Дек. С. 747—748.

²⁷ См.: Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 74—77.

²⁸ См.: Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский: Жизнь и творчество. Л., 1969. С. 176—177.

²⁹ «Стихи Друзьям просто дрянь», — писал Н. М. Языков в письме А. М. Языкову (Ежегодник Рукописного отдела на 1976 г. Л., 1978. С. 160).

чванится пред чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан») ³⁰.

Так клевета сделалась достоянием толпы. Это произошло как раз в тот момент, когда отношения Пушкина с властью вновь испортились, а кризис во взаимоотношениях с друзьями был преодолен и сложилось то, что М. И. Гиллельсон назвал «пушкинским кругом писателей». Выпад Булгарина был мстью поэту за то, что тот не скрывал своего мнения о почтенном издателе «Северной пчелы» как о тайном агенте Третьего отделения; именно Булгарина Пушкин считал жандармским рецензентом «Бориса Годунова», из корыстных соображений отсрочившим публикацию трагедии более чем на год. В начале апреля «Литературная газета» опубликовала статью Пушкина о Видоке, агенте французской политической полиции; в последнем все без труда узнали Булгарина.

В мае журнальная война вступила в новую фазу в связи с публикацией стихотворения Пушкина «К вельможе» ³¹. «Все единогласно пожалели об унижении, какому подверг себя Пушкин», — вспоминал в связи с этим Кс. А. Полевой ³², понимая под «всеми» прежде всего своего брата, Н. А. Полевого, выступившего против Пушкина вместе с Булгариным.

43-й номер «Литературной газеты», в котором был помещен «Арион», почти целиком состоял из ответных реплик писателей пушкинского круга. Стихотворение, написанное тремя годами ранее, нашло здесь свое естественное место и воспринималось как обобщение опыта трудных лет. В нем больше не было и намека на «чудесного спасителя».

Двумя важнейшими мотивами оно перекликается с посланием «К вельможе», вызвавшим такую оживленную полемику. Прежде всего общим стал мотив неожиданной бури. В «Арионе»: «Вдруг лоно волн/Измял с налету вихорь шумный...» (III, 58). В послании «К вельможе» о французской революции: «Все изменилось. Ты видел вихорь бури,/Падение всего, союз ума и фурий...» (III, 219). Другое важное сходство — утверждение неизменной самоценности творческой личности, выключенной из исторического процесса. То, что в «Арионе» изображается Пушкиным как чудесное спасение, в послании «К вельможе» показано как сознательная позиция «героя» стихотворения.

Немаловажен вопрос о том, почему публикация «Ариона» была анонимной. Традиционная версия, объясняющая это об-

³⁰ Сев. пчела. 1830. 11 марта. № 30.

³¹ Лит. газ. 1830. 26 мая. № 30. См. об этом: Вацуро В. Э. «К вельможе»//Стихотворения Пушкина 1820—1830-х годов. Л., 1974. С. 177—213.

³² Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934. С. 304.

стоятельство цензурными причинами, не представляется нам убедительной, поскольку в 1831 г. Пушкин включил стихотворение в список для нового издания своих сочинений.

Анонимный характер публикации «Ариона», сам контекст, в котором стихотворение появилось в печати (в полемическом номере «Литературной газеты»), свидетельствуют о том, что Пушкин хотел избежать биографических «сближений». И дело здесь не только в том, что поэт боялся дать повод для очередных упреков в сервиллизме (хотя очень может быть, что мотив «чудесного спасителя» — Дельфина — исключен из стихотворения именно по этой причине). Представляется, что «Арион» призван был обобщить личный опыт не только Пушкина, но того относительно широкого круга лиц, который в 1830 г. был сплочен А. А. Дельвигом вокруг «Литературной газеты». Действительно, Ф. Н. Глинка, А. А. Бестужев, В. К. Кюхельбекер, П. А. Катенин, П. А. Вяземский, О. М. Сомов — почти каждый из постоянных авторов «Литературной газеты» пережил к этому времени «бурю», ставшую действительно «всеобщей», хотя порой, как это было в случае с Катениным и Вяземским, лишь косвенно связанную с событиями 14 декабря.

О стремлении Пушкина объективизировать смысл стихотворения свидетельствует характер последней правки, когда повсюду он заменил первое лицо («нас», «я») на третье («их», «он»). В этом проявилось, как кажется, желание не столько отстраниться от ситуации, сколько придать ей характер как можно более универсальный и символический. Несомненно, поэт предвидел опасность узкобиографического, а значит и аллегорического, прочтения. Напомним, что незадолго до публикации «Ариона» ему пришлось принять участие в полемике, развернувшейся вокруг «Демона». Большинство критиков увидели в этой пушкинской элегии отражение личного опыта поэта. «[Думаю, что критик ошибся], — отвечал на подобное предположение Пушкин. — Многие того же мнения, иные даже указывали на лицо, которое Пушкин будто бы хотел изобразить в своем странном стихотворении. Кажется, они неправы, по крайней мере вижу я в „Демоне“ цель иную, более нравственную» (1825 г. — XI, 30).

По мысли поэта, дело совсем не в том, отражает или нет стихотворение «Демон» конкретные обстоятельства его жизни, важно и нравственно то, что здесь поэт обобщил духовный опыт своего века: «И Пушкин не хотел ли в своем демоне олицетворить сей дух отрицания или сомнения? и в приятной картине начертал отличительные признаки и печальное влияние оного на нравственность нашего века» (там же). Привязка «Демона» к каким-то конкретным обстоятельствам жизни Пушкина лиша-

ла стихотворение этого обобщающего значения, делала его односторонней аллегорией, а не символом.

Было бы очень соблазнительно обвинить современников поэта в простом непонимании пушкинской поэзии, в неумении оценить универсальный характер его произведений. Однако несомненно, что причиной тому была некоторая инерция читательского восприятия, в значительной степени заданная самим Пушкиным, который в первой половине 1820-х годов стремился создать образ «романтического поэта». Достигалось это простым и действенным способом: например, в письмах поэт намекал издателю (А. А. Бестужеву) и брату (а значит, и всем общим знакомым: «скромность» Льва была хорошо известна), что напечатанные в «Полярной звезде» лирические стихотворения имеют своим адресатом реальную женщину. Подобные же намеки создавали впечатление, что и «Бахчисарайский фонтан» вдохновлен ее образом. По поводу большинства стихотворений Пушкина первой половины 1820-х годов у современников были основания предполагать, что в них заключено интимное признание поэта. Что же касается стихотворения «Демон», то дружеская переписка Пушкина (например, письмо к поэту С. Г. Волконского) бесспорно доказывает, что в узком дружеском кругу поэт действительно называл «демоном» А. Н. Раевского, что запечатлелось в памяти многочисленных мемуаристов и спровоцировало узкобиографическую трактовку произведения, заслонившую более глубокий его смысл.

Трудно сказать, с какого именно момента, но никак не позднее 1827 г., процесс объективизации лирики, всегда характерный для пушкинского творчества, стал доминировать. Это привело к тому, что в его стихотворениях стало маркироваться отражение опыта поколения, исторической эпохи, культуры, как ранее маркировался личный опыт.

Чем объяснить такой поворот в пушкинском творчестве? Возможно, например, тем, что после 14 декабря 1825 г. Пушкин перестал воспринимать свою судьбу как некоторое исключение на фоне относительно благополучных судеб своих современников. Ведь мало кто из них до 1825 г. подвергался таким настойчивым преследованиям правительства. Трагедия, которую пережило большинство пушкинских современников после 14 декабря, показала, что в общем «чолне» было немало людей со сходной судьбой. Несомненно, что это ощущение своей включенности в эпохальные процессы и сделалось важнейшим слагаемым пушкинского историзма, подобно тому как ранее ощущение исключенности (а не исключительности) было основой его романтического субъективизма.

Мифологизация пушкинского творчества подразумевала восприятие биографии и творчества как нерасторжимого единства. В этом проявлялся специфический для мифологического сознания синкретизм слова и действия. Написание каждого лирического стихотворения осмыслялось не просто как обобщение индивидуального опыта поэта, но и рассматривалось читающей публикой как поступок.

С середины 1827 г. такой подход перестал устраивать Пушкина еще и потому, что он противоречил осторожно выбираемой поэтом новой социальной роли. Идеалом здесь стал не Байрон, а Карамзин, для которого принципиальным было выделение «частной жизни» в непроницаемую для публики сферу.

Между тем читатели продолжали воспринимать пушкинские стихотворения в рамках того романтического мифа, который сам поэт фактически инспирировал в первой половине 1820-х годов.

Пушкин боролся с этой инерцией восприятия, стремясь закрыть для широкого читателя доступ к биографическому контексту своих произведений (поэтому «Арион» был опубликован анонимно). Так, наряду с образцами «чистой» лирики появляются такие произведения, как «Стансы» и «Бородинская годовщина», где значимым оказывается надличностное, в форме «национального» например. «Арион» в этом отношении произведение пограничное, любопытное в том отношении, что Пушкин пытался его «демифологизировать», так сказать, «задним числом».

И вот она, пророчество,
сладчайшее слово нас

Всё дружелюбнее ко мне

22 июля 1846

Вам. оф.

В. С. Листов

МИФ ОБ «ОСТРОВНОМ ПРОРОЧЕСТВЕ» В ТВОРЧЕСКОМ СОЗНАНИИ ПУШКИНА

Опора на культурные, мифологические традиции — несомненная особенность пушкинского творчества. Она надежно является во многих стихотворениях, на страницах прозы и драмы, в эпистолярном наследии. О том же свидетельствует обширный круг источников, отразивший — документально и мемуарно — весь жизненный путь поэта.

Нужны ли примеры? Каждый, кто внимательно читал Пушкина, знает их множество. Культ Богоматери или пророчество Исайи, сказание об Иосифе Египетском или драма блудного сына, страсти Иова многострадального или новозаветный эпизод ухода рыбаков-апостолов — список таких обращений Пушкина к священной истории можно продолжать без конца. Но нас занимает не только и даже не столько ориентация пушкинского

сознания на тот или иной текст великих Книг, сколько глубина и последовательность такой ориентации.

Часто один и тот же поэтический образ, восходящий к священному писанию или преданию, как бы преследует Пушкина от времен лицейской юности до самых последних дней жизни, разбивается, наполняется новыми смыслами, испытывается в разных контекстах.

Одному из таких образов, оставивших, по нашему мнению, след в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (1836), и посвящен предлагаемый очерк.

1

Начнем с двух простых утверждений, вовсе нынче не полемичных.

Во-первых, стихотворение «Памятник» итоговое. В нем завершаются раздумья Пушкина о судьбах России и ее поэта, раздумья, прошедшие через всю жизнь. Тут историко-философское и моральное резюме всего, что наполняло течение пушкинской мысли от ее истока почти до самого устья; тут магистрал творчества.

Во-вторых, стихи пророческие. Их мощные лучи проникают далеко за черту скорой гибели поэта, высвечивают грядущее, пока еще сокрытое от пушкинских современников.

Можно без конца множить высокие эпитеты и употреблять превосходные степени — в этом нет необходимости.

Поэтому скажем сразу: исходной точкой наших размышлений станет маленькая странность, по-видимому до сих пор не привлекавшая внимания истолкователей. Эта странность — кажущееся резкое масштабное несоответствие текста стихотворения его атрибуции в автографе. Под последней строкой белого автографа стихотворения Пушкин делает характерный завершающий прочерк и ставит:

«1836
авг. 21.
Кам. остр.»¹

Кажется, объяснить эту запись нетрудно. Совершенно ясно, что Пушкин написал стихотворение в августе 1836 г. на Камен-

¹ Перебеленный автограф основной редакции хранится в Институте русской литературы РАН (ПД, № 846). Его фотокопию см.: Алексеев М. П. Стихотворение А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг...» Л., 1967. С. 237.

ном острове, т. е. в дачной местности под Петербургом. Сомнений быть не может — именно свое последнее лето поэт проводит с семейством на каменноостровской даче.

Но так ли все просто?

Перечитайте мысленно «Памятник», снова — в который раз! — убедитесь, как высоко парит стихотворение над временем и пространством. Почти два тысячелетия, прошедшие от горациева «Ехегі топипепитум», сопряжены в нем с будущим, продленным едва ли не до конца времен, — «...доколь в подлунном мире/Жив будет хоть один пиит». В строфах «Памятника» слышны отголоски многих языков и культур, прощупываются живые связи России с Западом и Востоком — дух захватывает от шага этой поэзии.

И с этой-то высоты Пушкин почему-то различает дачную местность под Петербургом, ничем не примечательное течение жизни; все, что связано с записью, завершающей стихотворение, по первому впечатлению ведет к чисто бытовым реалиям. Размеренное дачное существование, глухой предосенний сезон; у Пушкина еще не кончился траур по недавно умершей матери; Наталья Николаевна уже начала помаленьку выезжать. Ее отлучки на «минеральные балы» — скромные полуофициальные приемы на водах у императрицы — вызывают легкую зависть сестер. Они изредка ездят в театр, но больше скучают. Иногда врываются шумные ватаги молодых Карамзиных — все некстати. Прибаливает дети; нет денег, долги. Семейственная жизнь не располагает к увеселениям.

Вот о чем должна была бы напоминать Пушкину строка о Каменном острове, будь она простой топографической формальностью. Но в этом случае Пушкин, может быть, просто не проставил бы место написания стихотворения, как не проставлено оно под многими его произведениями. Мы склонны видеть здесь не одно только топографическое указание, но преимущественно какой-то важный для автора намек, смысловой акцент.

Такое предположение, если бы оно подтвердилось, наполнило бы отмеченную пропасть между нерукотворной высотой пушкинского стиха и низкой истиной, «скукой загородных дач», как говорил потом А. А. Блок.

Можно привести немало примеров того, как Пушкин выставляет под стихами топоним не по простым фактическим соображениям, но движимый чисто художественными мотивами. Давно известно, скажем, что многие «южные» стихотворения 1820 г. помечены в автографах местами, явно противоречащими датам. Элегия «Погасло дневное светило...» завершена пометой «Черное море. 1820. Сентябрь», что не согласуется с письмом автора к брату Льву от 24 сентября того же года. Строго фактиче-

ски либо время, либо место, указанное здесь Пушкиным, ошибочно. То же самое в стихотворении «Увы, зачем она блистает...» — в одном его автографе сразу два равноправных топонима: «Киев» и «Гурзуф». Столь же сомнительный «Юрзуф, 20 октября» проставлен под стихотворением «Мне вас не жалко, года весны моей...» — в тот день Пушкин уже в Крыму не был.

Для нашей темы особенно важна условная топонимика в двух стихотворениях: «К чему холодные сомненья?..» и «Герой». Первое (оно же и послание к П. Я. Чаадаеву) Пушкин публикует в составе «Отрывка из письма к Д.» с пояснением, будто эти рифмы посетили его в Крыму на развалинах храма Дианы. Между тем стихотворение написано четырьмя годами позже и вдалеке от Крыма.

Стихотворение «Герой» создано в Болдино, но помечено: «Москва» — Пушкин связывал содержание стихов с приездом Николая I в Москву, охваченную холерой в сентябре 1830 г.² Этот случай самый показательный. Авторская атрибуция произведения выступает здесь как некая художественная условность, как элемент образной ткани стихотворения.

К этим стихам нам предстоит еще возвращаться; пока заметим только, что обе вещи — и «Герой», и «К чему холодные сомненья?..» — суть размышления поэта о двух истинах: истине высокой, поэтической, и истине низкой, приземленно-буквальной. А топоним в обоих стихах стоит как бы на границе двух миров — образного и буквального. И может читаться поэтому двойственно.

Что-то подобное происходит, по нашему мнению, и с топонимом «Каменный остров» в автографе «Памятника». Простой, так сказать, «рукотворный» смысл пометы понятен: пусть стихотворение действительно написано летом 1836 г. на Каменном острове, и это факт биографии поэта.

Но попробуем понять топоним и в другом, небытовом ряду, соотнести его с образным миром стихотворения.

Мы условились в начале, что будем принимать «Памятник» как произведение пророческое, обращенное в грядущее, за черту земной жизни поэта. Значит, можно описать положение вещей так: *некто, обладающий пророческим даром, находится на каменном острове, где ему приходит видение будущего*. Попытаемся исходя из этого проникнуть в символический смысл ситуации и назвать первоисточник, на который здесь очевидно ориентируется Пушкин.

² См.: Пушкин. Письма. М.; Л., 1928. Т. II. С. 474.

Образ пророка, которого на острове посещает видение, мог иметь в пушкинские времена одну и притом совершенно ясную аналогию: *Иоанн Богослов, автор Апокалипсиса*. Остров как место, где будущее открывается пророку, обозначен уже в первой, вводной главе этого знаменитого раннехристианского сочинения:

«Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа.

Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний;

То, что видишь, напиши в книгу...» (Апокалипсис. 1: 9—11).

И далее, на протяжении следующих 22-х глав, Иоанн описывает свои видения — страшный суд, борьбу сил небесных с дьявольскими, наказание грешников и возвышение праведных и, наконец, новое небо и новую землю как венец апокалиптической символики. Вот что является автору на острове Патмос (или Пафмос). Именно на ситуацию Апокалипсиса — пророк на острове — ориентируется Пушкин, когда ставит под своим пророческим «Памятником» весьма обязывающий в этом контексте топоним: «Каменный остров».

Такой вывод, разумеется, требует серьезных подтверждений.

Первое и главное из них мы найдем в письме Пушкина к А. И. Тургеневу от 7 мая 1821 г., отправленному из кишиневской ссылки в Петербург. Вот начало этого письма: «Не правда ли, что вы меня не забыли, хотя я ничего не писал и давно не получал об вас никакого известия? Мочи нет, почтенный Александр Иванович, как мне хочется недели две побывать в этом пакостном Петербурге: без Карамзиных, без вас двух да еще без некоторых избранных соскучишься и не в Кишиневе. <...> В руке твои предаюся, отче! Вы, который сближены с жителями Каменного острова, не можете ли вы меня вытребовать на несколько дней (однако ж не более) с моего острова Пафмоса? Я привезу вам за то сочинение во вкусе Апокалипсиса и посвящу вам, христоробивому пастырю поэтического нашего стада...» (XIII, 29).

Строки этого письма на полтора десятилетия старше стихотворения «Памятник». Они надежно свидетельствуют, что, во-первых, образ острова как места нахождения пророка прочен в сознании Пушкина и что, во-вторых, поэт уже явно соотносит, сближает в своих представлениях апокалиптический Патмос и петербургский Каменный остров. Конечно, Кишинев не буквально остров; конечно, под «жителями Каменного острова» здесь надо понимать царскую семью, проводящую лето за го-

родом. Но само столкновение Патмоса и Каменного острова в одной пушкинской фразе знаменательно; оно не должно быть упущено в предьстории «Памятника».

К тексту письма Тургеневу нам еще предстоит вернуться; пока же приведем доказательства того, что мотив островного пророчества не покидает Пушкина и в последующие годы.

Быть может, нигде и никогда до «Памятника» Пушкин не сознавал так ясно свой дар, как в Болдино осенью 1830 г. Сравнение уединенного, холерными карантинами отрезанного от мира селения с островом, конечно, напрашивалось и с полной ясностью выступило в переписке поэта.

«Я живу в деревне как в острове» (XIV, 121) — это из письма к А. А. Дельвигу от 4 ноября. И еще — это уже из письма к невесте от 11 октября: «Болдино имеет вид острова, окруженного скалами» (XIV, 115; подлинник по-французски). К середине болдинской осени Пушкин пишет диалогическое стихотворение «Герой» и отправляет его в Москву М. П. Погодину. В сопроводительном письме — знакомый образ: «Посылаю вам из моего Пафмоса Апокалиптическую песнь. Напечатайте, где хотите, хоть в Ведомостях — но прошу вас и требую именем нашей дружбы не объявлять *никому* моего имени. Если московская цензура не пропустит ее, то перешлите Дельвигу, но также без моего имени и не моей рукою переписанную...» (XIV, 121—122).

В следующем, 1831 г. Пушкин снова упомянет Патмос — на этот раз в письме к П. А. Плетневу. Именем знаменитого новозаветного острова будет названо место карантинного заточения Плетнева, спасавшегося от холеры в усадьбе под Петербургом (XIV, 193).

Достаточно.

Совершенно ясно, что в сознании Пушкина, хорошо знакомого со Священным писанием, ситуация видения на острове была осознанна и активна. Она прослеживается не только в письмах, но и во многих произведениях.

Островное видение присутствует и в «Медном всаднике» — ведь именно на острове стоит Тот, кто «дум великих полн», кто прозревает будущее. Близки по значению образы «острова малого» из заключения поэмы и «печальный остров — берег дикой» из таинственного стихотворного наброска «Когда порой вспоминаешь...» (III, 243—244)³.

³ Подробнее об этом см.: Ахматова А. О Пушкине. Л., 1977. С. 157; Клейман Н. И. О тексте пушкинского наброска «Когда порой вспоминаешь...» // Болдинские чтения. Горький, 1977. С. 62—79.

Прямой апокалиптический сюжет находим и в другом известном «островном» произведении Пушкина — устной повести «Уединенный домик на Васильевском». Записавший ее Владимир Титов позднее вспоминал, что «честь вымысла» именно апокалиптических мотивов, связанных с «числом зверя 666», игроками-чертями и всей главной нитью рассказа, принадлежит Пушкину⁴. Заметим и то, что, кажется, замечено не было: в кульминационный миг повести пожар охватывает уединенный домик, и старая грешница, быть может убийца, сгорает без покаяния — родственность этого эпизода на острове и детали апокалиптической картины «страшного суда» кажется довольно близкой: в Откровении Иоанновом «от огня, дыма и серы» гибнут среди других те, кто не раскаялись в убийствах своих (Апокалипсис. 9: 13—21).

Но вернемся из области видений к реальной строке, завершающей стихотворение «Памятник». Пушкин знает, конечно, не только канонический текст Иоаннова Откровения, но и простой географический факт: остров Патмос реально существовал и существует в Эгейском море — независимо от того, верно ли предание о том, что римский император Домициан изгнал сюда христианского проповедника. Вполне доступен Пушкину и другой географический факт: Патмос есть остров скалистый, каменный. Об этом можно было прочесть в любом энциклопедическом справочнике, в записках любого из многочисленных путешественников к святым местам.

Сошлемся, например, на выдержавший пять изданий к началу XIX в. путевой дневник русского монаха Василия Григоровича-Барского — одно из самых распространенных в пушкинское время сочинений. Подробнее мы скажем о нем в своем месте; сейчас же отметим описание Патмоса. То, что остров каменист, автор подчеркивает даже с некоторой назойливостью. Дома на Патмосе черны, утверждает Григорович-Барский, они выстроены из местного материала, «понеже весь остров черный раждает камень». И далее: «...есть пещера каменная от древле, в ней же святыи Иоанн Богослов Евангелие и Апокалипсис написа». В похвале одному из патмосских монахов, пробовавших заниматься на острове земледелием, путешественник замечает, что он «прежде неплоден и сух камень у плодоноси» и тем благообразил вид «убогаго и сухаго острова»⁵.

⁴ См.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1979. Т. IX. С. 383.

⁵ Пешехода Василия Григоровича-Барского — Плаки-Албова, уроженца киевского, монаха антиохийского путешествие к Святым Местам, в Европе, Азии и Африке находящимся, предпринятое в 1732, а оконченное в 1747 году, им самим писанное. 5-е изд./С предисл. В. Рубана. СПб., 1800. С. 372, 376, 378.

Таким образом, игра вокруг «Памятника» упрощенно сводится к такой формуле: новозаветный Патмос есть от природы каменный остров, а петербургский Каменный остров отвечает легендарному и своим названием, и как местонахождение провидца.

Подобное сближение двух островов, отмеченное в сознании поэта, было бы просто любопытным, если бы не два обстоятельства, такому сближению сопутствующих.

Во-первых, Пушкин как бы ставит себя на место одного из самых почитаемых святых, и ответ суда Божьего как бы падает на стихотворные строки.

Во-вторых, среди линий пушкинского творчества, завершаемых «Памятником», видится и линия, связанная с провидческим даром автора, даром высоким, а главное, вполне осозанным.

Оба эти обстоятельства заслуживают пристального изучения — *даже независимо от пометы «Каменный остров» под текстом итогового стихотворения.*

2

Если провидческую линию творчества, по которой Пушкин пришел к «Памятнику», представить себе в виде древесного ствола, то, вероятно, окажется, что мощные его ответвления будут подчас не менее важны, чем основная вертикаль, ведущая от корней к вершине. Поэтому, продолжая наблюдения над пушкинским текстом, мы поведем наш рассказ от лицейских опытов к «Пророку» и «Герою», но по мере необходимости будем свободно отвлекаться в стороны. Ибо в мире пушкинского стиха, по нашему мнению, нет и быть не может закосневших, статических понятий «важное» и «второстепенное».

Предчувствие пророческого дара посещало Пушкина уже очень рано, в юности, — творчество лицейской поры надежно доказывает это. Но тут далеко не все еще понято. И вот пример.

В своей работе «Строфика Пушкина»⁶ Б. В. Томашевский открыл странную, труднообъяснимую переключку. Во всем стихотворчестве Пушкина больше нет, оказывается, строфы «Памятника» — нет этого шестистопного ямба с перекрестными рифмами, где последняя, четвертая, строка усечена до четырех стоп и завершена мужским окончанием. Из этого правила есть

⁶ Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1958. Т. II. С. 76.

только одно исключение: завершающая строфа лицейского стихотворения 1815 г. «Наполеон на Эльбе»:

Простерлась тишина над бездною седою,
 Мрачится неба свод, гроза во мгле висит,
 Все смолкло... трепещи! Погибель над тобою,
 И жребий твой еще сокрыт!

(I, 118)

Сокрыт, таким образом, не только жребий полководца, но и повод, по которому поэт написал итоговую вещь строфой, испробованной лишь однажды, в юности. М. П. Алексеев сопровождает эту ситуацию вопросительным комментарием: «Предстоит еще, следовательно, определить, чем вызвано было обращение Пушкина к этой строфе только дважды за всю жизнь — в начале и в конце литературного поприща»⁷.

Ответ, нам кажется, надо искать не только (или даже не столько) в развитии пушкинской метрики и строфики, сколько в смысловом сравнении обоих стихотворений.

Заметим, кстати, что постоянный оппонент Пушкина в Кишиневе Владимир Раевский в свое время не понял в стихотворении «Наполеон на Эльбе» именно те самые места, которые дают повод к сближению лицейского опыта с грядущим «Памятником». В своем мемуарном отрывке «Вечер в Кишиневе» Раевский так высмеивает пушкинские строки:

«Один во тьме ночной над дикою скалою
 Сидел Наполеон!

⟨...⟩Ну, любезный, высоко ж взмостился Наполеон! На скале сидеть можно, но над скалою... Слишком странная фигура! ⟨...⟩

И, к дальним берегам возведши взор угрюмый,
 Свирепо прошептал:
 „Вокруг меня все мертвым сном почило ⟨...⟩“

Ночью смотреть на другой берег! ⟨...⟩

И спящих вод прервется тишина?..
 Волнуйся, ночь, над эльбскими скалами!

⟨...⟩Ну, любезный друг ⟨...⟩ На Эльбе ни одной скалы нет! ⟨...⟩ Не у места, если б я сказал, что волны бурного моря скажутся о стены Кремля или Везувий пламя извергает на Тверской»⁸.

⁷ Алексеев М. П. Стихотворение А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг...». С. 122.

⁸ Раевский В. Ф. Вечер в Кишиневе//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 369.

Критика Раевского по-своему совершенно точна. Она становится в тупик именно там, где возвышенное прозрение сменяет низкую истину. Что происходит с Наполеоном? Он изгнан на остров, и здесь ему приходит видение будущего — победоносное возвращение во Францию, успех, слава, т. е. именно то, чему суждено свершиться на «сто дней», в один из этих «ста дней» Пушкин и пишет свое стихотворение. Следовательно, молодой поэт относит героя во времени несколько назад и одаряет пророчеством, которому — он знает — суждено сбыться. В условном мире стиха «сто дней» — грядущее, поэтому Бонапартово видение обставляется всеми атрибутами известной культурной традиции — изгнанничество, каменный остров, скала, ночь.

Эти традиционные знаки поэту, конечно, важнее простой фактографии; ему все равно, есть на настоящей Эльбе скалы или нет и можно ли видеть дальние берега по ночам. Видение приходит, и оно — спектакль, который требует таких, а не иных подмошков.

Провидческие лавры Пушкин отдает здесь Наполеону; понятно, образ полководца тревожит сознание молодого поэта, который еще далеко не дерзает примерить на себя пророческие символы. Но важно уже и то, что на Патмос — Эльбу Пушкин помещает не древнего святого, что следовало бы сделать канонически, а своего светского современника, хотя бы и самого прославленного. Из зерна такой возможности и вырастет потом уверенное самосознание автора «Памятника».

Раевский привычно видит в «Наполеоне на Эльбе» романтическую поверхность; признаки другого культурного начала от него ускользают — немудрено. Дело тут не только в противоборстве литературных школ. «Вечер в Кишиневе» написан не позднее 1822 г., Пушкин еще не создал тех своих вещей (включая «Памятник»), которые «обратным» светом высветили бы раннее стихотворение.

Когда после гибели Пушкина Жуковский переменит в первой строфе «Памятника» Александрийский столп на Наполеонов, то это, конечно, исказит стихи в угоду цензурным требованиям. Но ход мысли Жуковского оказывается не вовсе за пределами пушкинских представлений — свидетельством тому и «Наполеон на Эльбе», и еще более стихотворение «Герой», о котором речь впереди.

Строфическая аналогия «Наполеона на Эльбе» с «Памятником», по-видимому, отражает не только формальную, но и смысловую родственность произведений, а шире — непрерывность некоторых мотивов самосознания Пушкина: от начальных шагов творчества до самого конца.

Продолжение этой линии отчетливо видно в цитированном

уже письме Пушкина к А. И. Тургеневу из Кишинева от 7 мая 1821 г.

Называя место своей ссылки островом Патмосом, Пушкин более чем прозрачно намекает на ту роль, которую он здесь себе присваивает. Новозаветное выражение из того же письма «В руке твои предаюся, отче!» лишний раз подчеркивает тот литературный источник, который в данном случае пародируется.

Молодой Пушкин уже смеет рекомендоваться провидцем, но делает это пока еще шутя, несерьезно. Его заботит не столько пророческий ореол, сколько увлекательная возможность вырваться на несколько дней в Петербург с помощью доброго Александра Ивановича. Свою просьбу о протекции он обставляет апокалиптическими атрибутами — благо, к тому есть реальный повод: изгнанничество.

Тургенев должен, по мысли поэта, хлопотать за него перед «жителями Каменного острова», т. е. перед царской фамилией, отдыхающей летом под Петербургом. И конечно же, для Тургенева, прекрасно знакомого и с римской, и со священной историей, совершенно понятен еще один намек в письме Пушкина, не менее важный.

Как только ссыльный Пушкин ставит себя на место Иоанна Богослова, так и его гонитель немедленно обретает черты своего исторического прототипа. По христианской легенде, Иоанн изгнан на Патмос жестоким римским императором Домицианом; значит, роль этого древнего деспота отводится гонителю Пушкина императору Александру I. Тургенев несомненно оценил такой ход и мысленно продолжил сравнение. Ибо Домициан, как известно, боролся за власть с отцом своим Веспасианом, а это тоже черта императора Александра, принимавшего участие в убийстве своего отца, Павла I.

Но цареубийство, римские параллели к русской истории — все это сложные темы; они увели бы нас слишком далеко. Вернемся к основному для нас смыслу письма.

Пушкин, как мы помним, обещает Тургеневу подарок, если тому удастся вытребовать поэта из Кишинева—Патмоса: «Я привезу вам за то сочинение во вкусе Апокалипсиса и посвящу вам, христолюбивому пастырю поэтического нашего стада...» (XIII, 29). О каком пушкинском сочинении идет здесь речь?

В своих комментариях к письмам Пушкина Б. Л. Модзалевский, не колеблясь, называет «Гаврилиаду»⁹. Основной его

⁹ Пушкин. Письма. М.; Л., 1926. Т. 1. С. 223.

аргумент здесь — хронологический. «Гавриилиада» завершена в апреле 1821 г., а письмо помечено маем того же года. Вряд ли так. «После чего-то» вовсе не значит «вследствие чего-то».

У Пушкина нет ни малейшего основания называть «Гавриилиаду» сочинением во вкусе Апокалипсиса. Вся эта фривольная сказка построена на показаниях евангелистов-синоптиков, преимущественно на начальных стихах Евангелий от Матфея и от Луки. Мотивов благовещения и рождества, пародируемых в «Гавриилиаде», нет ни в Евангелии от Иоанна, ни тем более в упоминаемом Пушкиным Апокалипсисе.

Сомнительна и возможность посвящения «Гавриилиады» Александру Ивановичу Тургеневу. Камергер, директор департамента, Тургенев был пятнадцатью годами старше своего корреспондента. Его умеренный либерализм не выдерживал даже выпадов молодого Пушкина против Карамзина; видеть свое имя в посвящении «Гавриилиады» было бы для Тургенева прямым оскорблением; кроме того, это просто подвергало бы его опасности. Пушкин же всегда относился к Тургеневу с уважением, а обращаясь к нему с просьбой, тем более должен был избегать ложных шагов.

Для отношений Пушкина и Тургенева показательным другое стихотворное послание — «Свободы сеятель пустынный. . .», одно из сложнейших произведений пушкинской философской лирики. Автор направил его Тургеневу при письме из Одессы 1 декабря 1823 г. (XIII, 79). В нем если и нет прямой ориентации на апокалиптический сюжет, то уж во всяком случае пророческое начало выражено ясно и совершенно всерьез. Пророк здесь обращается со своей проповедью слишком «рано, до звезды», т. е. до восхода вифлеемской звезды, символа рождения Спасителя. Поэтому его пророчество пропадает втуне — «. . . потерял я только время, / Благие мысли и труды». Для Пушкина тут, заметим попутно, не только понимание кощности текущей социальной ситуации, но и обидно ранняя стадия его пророческого самосознания. В том же письме, по поводу первых песен «Онегина», Пушкин пишет — «захлебываюсь желчью» (XIII, 80).

В декабре 1836 г., на самой высшей точке расцвета своего дарования, Пушкин будет читать А. И. Тургеневу «Памятник»¹⁰.

Таким образом, «Свободы сеятель пустынный. . .», «Онегин», а позднее «Памятник» и «История Петра» — вот класс пушкинских произведений, обсуждаемых с А. И. Тургеневым, вот уровень общения поэта со старшим другом. «Гавриилиаде» тут, кажется, не место.

¹⁰ См.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. 4-е изд. М., 1987. С. 237.

Поэтому ответить на вопрос, о каком «сочинении во вкусе Апокалипсиса» идет речь в письме 1821 г., пока не удастся. Не исключено, что это какое-то произведение, до нас не дошедшее, а то и вовсе ненаписанное, — Пушкин ведь только обещает его Тургеневу.

Клеточка 1821 г. в «сетке» стихов, предшествующих «Памятнику», остается незаполненной.

Перед нами не стоит задача оглядеть всю биографию Пушкина как предысторию итогового стихотворения. Однако двухлетнее отшельничество в Михайловском, в котором поэт провел «изгнанником два года незаметных», нуждается в некоторых пояснениях.

Ни стихи, ни переписка михайловской поры не дают такого отчетливого понятия о местонахождении провидца, как это было раньше в Кишиневе или позднее в Болдино. Одно лишь короткое послание к П. А. Осиповой помечено: «С. Михайловское. 25 июня 1825» (II, 935). Но здесь топоним несомненно надо понимать только буквально — послание адресовано в соседнее село Тригорское и содержит суетный намек на предполагаемое бегство из Михайловского за границу («Но и в дали, в краю чужом» и т. д.) (II, 395).

Чувствует ли Пушкин в Михайловском какое-нибудь оскудение, ослабление своего дара? Какой-нибудь провал пророческого самосознания? Конечно, нет. Наоборот, духовные силы его и творческие способности достигают полного расцвета. «Я верую в пророчества пинтов» (VII, 54), — говорит один из героев в «Борисе Годунове», и это несомненно голос самого Пушкина михайловской поры.

Но северное изгнание отличается от южного. Там, в Крыму, Кишиневе и Одессе, был полный простор высоким самосравнениям: «печальный странник», Овидий, Иоанн. Сами обстоятельства места как бы способствовали патмосским видениям. В Михайловском — не то; здесь поэт пророчествует вопреки своему положению, вопреки месту. И это одна из важных черт трагедии поэта.

Родовое имение, тягостная отцовская опека, открытый духовный надзор — все это остро противоречит высокой традиции изгнанничества. С Одессой поэт теряет не только блестящий круг собеседников и собеседниц, слушателей и слушательниц, не только рассеяние городской жизни (всего этого и в Болдино не было). Михайловским нанесен чувствительный удар по его *позиции*, по его понятиям о месте пророка в мире. Ибо вторая ссылка — это как бы попытка превратить Пушкина из опального проповедника в фонвизинского недоросля, чьи интересы не должны простираться дальше столовой и девичьей.

Вот этой невозможностью обитания избранника в «наследственной берлоге» можно, кажется, объяснить уже упомянутый пушкинский ход: мысленно переносить стихи, написанные в Михайловском, на юг, приурочивать их к местам и временам южных странствий. Такой перенос происходит со стихами «Фонтану Бахчисарайского дворца», «Виноград», «О дева-роза, я в оковах», «Ненастный день потух, ненастной ночи мгла...», «К чему холодные сомненья?..» — дело не только в их «южной» сюжетике, но и в понятной неохоте автора обнажить настоящие обстоятельства создания стихотворений.

Но Пушкин — провидец по-прежнему. В письме к П. А. Плетневу по поводу сбывшегося предсказания в стихотворении «Андрей Шенье» он не удерживается от победного возгласа: «Душа! я пророк, ей-богу, пророк! я „Андрея Ш<енье>“ велю напечатать церковными буквами во имя от<ца> и сы<на>» (XIII, 249). Но теперь просьбы вытащить его из ссылки не сопровождаются высокими литературными параллелями, как четыре года назад в письме к Тургеневу. Теперь сравнение свое, домашнее: юродивый из «Бориса Годунова», безвестный, гонимый даже детьми.

Пушкин, однако, и в Михайловском не отказывается совсем от сознания избранности и формулу заточения выбирает хоть и уничижительную, но все-таки из прежнего провидческого ряда. В черновике письма к В. Ф. Вяземской он замечает: «И вот, я — пророк в отечестве своем!» (XIII, 114; подлинник по-французски). Афоризм о пророке, не имеющем чести в своем отечестве, вновь возвращает нас к новозаветной традиции и даже конкретнее — опять к автору Апокалипсиса, который приводит это выражение в главе 4 своего благовествования (Иоанн. 4: 44).

Выход из положения непризнанного избранника приходит к Пушкину осенью 1826 г. — со стихотворением «Пророк». В литературе, к которому оно, возможно, принадлежало, есть несколько версий его истории; местом создания стихов называют и Михайловское, и фельдъегерскую карету, увозящую поэта в старую столицу, и самую Москву. Все возможно. Нас, однако, занимает не история «Пророка», но его логика, его место на пути к «Памятнику».

Круг самосознания автора здесь, конечно, не тяготеет к узнаваемой реальности. «Пустыня мрачная» бесконечно далека от родительского гнезда и вообще от суетного мира. «Пророка» принято связывать с главой VI библейской Книги Исайи. Там поэт нашел и шестикрылого серафима, и уголь, взятый клещами из жертвенника и приложенный к устам, и глас Божий: «...пойди и скажи этому народу...» (Исайя. 6: 2—9).

Но внимательное чтение обнаруживает в «Пророке» не одни только ветхозаветные параллели. В стихотворении отчетливо видны детали картины апокалиптического «страшного суда», едва только намеченные в библейском пророчестве. Когда серафим отверзает зеницы и уста странника, когда он рассекает ему грудь мечом и оставляет, подобно труп, лежать в пустыне, то здесь ясно слышны более поздние, новозаветные мотивы, близко напоминающие об Апокалипсисе. Только «страшный суд» совершается не над всем народом, погрязшим во грехе, а над одним человеком. Он и обретает достоинство пророка.

Близость текста книги Исаи к сочинениям Иоанна Богослова хорошо известна. Ее отмечает, например, шлиссельбуржец Н. А. Морозов. В своей книге «Пророки» он прямо связывает по смыслу книгу Исаи с четвертым евангелием и Апокалипсисом. Да и шестикрылый серафим как орудие Божьего суда есть фигура патмосского видения, а не только ветхозаветного пророчества...

Движение мысли Пушкина — непрывычно. Но рамки нашей работы по необходимости вынуждают отмечать линию лишь отдельными точками. Следующей такой точкой, «точкой роста» пророческого самосознания, будет для нас Болдино, первая болдинская осень.

3

Стихотворение «Герой», написанное в дни «болдинской осени» 1830 г., уже упоминалось как важнейшее звено, связующее ранние прозрения Пушкина с его итоговым «Памятником». Сомневаться не приходится, напомним, поэт сам пишет в письме М. П. Погодину в Москву: «Посылаю вам из моего Пафмоса Апокалиптическую песнь...» (XIV, 121).

«Песнь» эта необходима и в цепи наших наблюдений — хотя, конечно, стихотворение глубины бездонной и может быть понято совершенно иначе¹¹. Нас занимает только патмосский мотив, роднящий «Героя» с «Памятником», и в этой связи некоторые источники и обстоятельства, важные для такого истолкования пушкинского стихотворного диалога.

Почему Пушкин назвал «Героя» апокалиптической песнью? Как в этом стихотворении переосмыслены атрибуты болдинского затворничества? В чем смысл беспокойства поэта о цензурных трудностях при печатании вещи? Вот вопросы, которые займут наше внимание.

¹¹ См., например: *Краснов Г. В.* Апокалиптическая песнь А. С. Пушкина: (К спорам о стихотворении «Герой»)//Проблемы пушкиноведения: Сб. науч. трудов. Л., 1976. С. 59—66.

На первый вопрос ответить вроде бы нетрудно: сразу слышится мотив, знакомый нам по лицейскому стихотворению. Когда Поэт в своем монологе говорит о Наполеоне:

...на скалу свою
Сев, мучим казнию покоя,
Осмеян прозвищем героя,
Он угасает недвижим...

(III, 252)

то в родстве с «Наполеоном на Эльбе» невозможно сомневаться. Опять остров, опять скалы, опять опальный кумир — налицо весь каталог прежней символики. Но такое сходство не должно обманывать. Ибо оно простой пережиток ранних чувствований Пушкина. Наполеону «Героя» по сравнению с ним же на Эльбе не хватает главного: *пророческого видения*. Теперь у него все в прошлом. И дело тут не только в простой верности историческим фактам, но прежде всего в повышении самосознания Пушкина; автор «Пророка» уже не нуждается в Наполеоновом плаще; откровение свыше он теперь встречает сам, в собственном своем облике Поэта.

Потому же вся первая половина монолога, где перечисляются славные символы, построена как отрицание: «не у счастья на лоне», «не в бою», «не зятем кесаря», «не там, где на скалу свою...» — и т. д. Традиционный образ Наполеона не нужен; это анахронизм.

Апокалиптический смысл песни надо искать в более глубоких ее мотивах. Прежде всего — в мотиве «страшного суда», который выражен здесь сильнее, откровеннее, чем в «Пророке» и других сходных по смыслу произведениях. Давно замечено, что Пушкин переосмысливает реальную холерную эпидемию, задержавшую его в Болдино, в чуму, в этот «бич Божий» европейской средневековой традиции. Полнее всего такое переосмысление видно в «Пире во время чумы». Но даже в болдинских письмах Пушкин нет-нет да и называет обмолвкой холеру чумою — например, в письме к невесте от 11 октября (XIV, 115) или в письме к Плетневу около 29 октября (XIV, 118).

Заметим попутно, что в первой публикации «Героя» (Телескоп. 1831. № 1. С. 46—48) и в беловом автографе слово «Чума» оба раза начинается с прописной буквы — еще деталь, обнажающая не бытовое, а высокое понимание этого события у Пушкина; думается, эту деталь нельзя упускать при дальнейших публикациях стихотворения.

Когда Наполеон «хладно руку жмет Чуме», то в его добровольной подверженности Божьей каре поэт видит нечто гораздо более высокое, чем все полководческие и государственные успехи.

Но вот что замечательно. Пушкин вовсе не начинает стихотворный диалог «Героя» с прямого мотива Божьей кары. Ему предшествует монолог Друга о славе. Напомним его начало:

Да, слава в прихотях вольна.
 Как огненный язык, она
 По избранным главам летает,
 С одной сегодня исчезает
 И на другой уже видна.
 За новизной бежать смиренно
 Народ бессмысленный привык...
 (III, 251)

Может показаться, что суждение о мирской славе лишь интродукция, лишь контраст к следующей теме апокалиптического суда в его чумном образе. Но это не так. Монологом Друга пророческая тема *уже началась*.

Видение огненного языка, упадающего на главу смертного, ориентировано на новозаветную ситуацию: именно таким образом апостолы исполняются святого духа после Вознесения Христа (Деян. 2: 1—4). Каждый из учеников, сподобившийся прикосновения небесного огня, обретает дар пророчества и глаголения на всех языках, что и поминается в христианский праздник Пятидесятницы.

Кажется, будто у Пушкина речь идет только о мирской славе, которая так и останется ложным даром, зависимым от прихотей бессмысленного народа, — даже несмотря на традиционный высокий образ обретения этого дара. Но дело обстоит не так просто. Пророческая тема развивается дальше. В монологе Друга слышен мотив соотношения земной и небесной славы, знакомый Пушкину как раз из уст патмосского тайновидца. Иоанн Богослов в благовествовании своем грозит Божьим гневом всем тем, кто озабочен мирским судом. «Как можете веровать, — вопрошает евангелист, — когда друг от друга принимает славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищите» (Иоанн. 5: 44).

Тут завязка драмы. Поэту и Другу — персонажам стихотворения «Герой» — предстоит понять, где проходит граница между земным и небесным прикосновением «огненного языка».

Тема сравнения суда земного и суда небесного приходит к развязке в конце монолога Поэта:

...Небесами
 Клянусь: кто жизнью своей
 Играл пред сумрачным недугом,
 Чтоб ободрить угасший взор,
 Клянусь, тот будет небу другом,
 Каков бы ни был приговор
 Земли слепой...

(III, 252)

Обстоятельства островного затворничества (Болдино—Патмос) и видение «страшного суда» в его чумно-холерном обличье уже объясняют, почему Пушкин назвал «Героя» апокалиптической песнью. Не исключено, однако, что самосознание поэта подкреплено здесь не только сочинением евангелиста, но и более поздними источниками.

Мы упоминали уже путевой дневник Василия Григоровича-Барского, где Патмос описан как каменный остров, как скала в море. Теперь приходит время познакомиться с его записками внимательнее. Ключевое для нас место его дневника относится к декабрю 1736 г., когда киевский «пешеходец» во второй, а может быть и в третий раз, посещает Патмос.

Дело в том, что русского путешественника на Патмосе застаёт чума. Вот несколько строк его описания: «...Богу хотяшу казнити нас грех ради наших допусти на остров Патм нанестися губительству, обще глаголемому *чума*, си есть мору, и тогда весь народ разбежеса от домов своих и уединяшеса всяк по горам, вертепам; монастырь же святого *Иоанна Богослова* заключился с иноки <...> аз же Божиим смотрением не отступив от дома, иде же жительствовах в граде, и умирающим на всяк день двум или трем нечаянно, по частях и краях острова; от них же иные исчезаху от губительства, иные же от глада, и многие без погребения осташаса, страха ради сообщения»¹².

Описание патмосской чумы занимает у Григоровича-Барского три страницы; мы узнаем, что в чумном плену автор провел четыре месяца, но молитвы Богу и Иоанну Богослову, пишет он, «сохрани мя жива».

На тех же страницах книги мы узнаем, что трудолюбивый странник не потерял времени чумного затворничества даром. Он поэт — в книге приведены образцы его виршетворчества. А в одиночестве при моровом поветрии ему еще удалось сочинить полную латино-греческую грамматику, важный труд: «из нея же может всякий Грек книжен <...> научиться совершенно грамматики Латинской»¹³.

Аналогия с болдинской осенью тут очевидна; она просто колет глаза. Один русский поэт на реальном Патмосе удержан настоящей чумой. Другой переживает те же страсти в своем отечестве: Болдино — аналог Патмоса, а холера замещает чуму. И оба писателя-затворника, разделенные целым столетием, полностью отдаются своему призванию.

Таким образом, патмосские ассоциации Пушкина, несомненно восходящие к новозаветной символике, могли быть усилены и отечественной традицией.

¹² Пешеходец Василия Григоровича-Барского... С. 482.

¹³ Там же. С. 483.

Мы говорили, что патмосская тема начинается с первых строк «Героя», с монолога Друга о мирской славе. Теперь пора сказать, что это не совсем точно, — она начинается еще раньше, с эпитафия к стихотворению. «Герою», как известно, «предшествует ключевой эпитафия, эпитафия-вопрос: «Что есть истина?» Вопрос обращен Понтием Пилатом к Христу, как повествует о том патмосский изгнанник Иоанн в своем благовествовании (Иоанн. 18: 33).

Чтобы понять этот символический слой «Героя», необходимо напомнить евангельский сюжет. Христос, схваченный служителями первосвященника, приведен в преторию, и Понтий Пилат спрашивает его: ты ли Царь Иудейский? На что Христос отвечает: царство мое не от мира сего, я пришел свидетельствовать об истине. После этого Пилат и задает свой вопрос, поставленный Пушкиным в эпитафия к «Герою»: «Что есть истина?».

Христос не отвечает Пилату. Почему? Да потому, что Христос полагает *себя самого* воплощением истины. «Я есмь путь и истина» (Иоанн. 14: 6), — говорит Христос раньше, на тайной вечере.

Таким образом, по благовествованию, Пилат и смотрит, и слушает; но истину, выраженную молчанием божественного агнца, ему не дано постичь — это не от мира сего.

По аналогии с раннехристианской легендой в «Герое» высокую истину не понять («посредственности холодной»). В земном образе божества она видит всего только человека, подобного себе. А в герое — Наполеоне — только гениального карьериста, триумфатора без сердца.

Понятно, как эпитафия из Иоанна связан со строками о «низких истинах» и «возвышающем обмане». Пусть в реальности полководец не подвергал себя чумной опасности — все равно в сфере «возвышающего обмана», в области высокой условности, это произошло, и «герой сердца» становится «небу другом». Эта ситуация, видимо, дает ключ и к одному из возможных толкований эпитафия. Если Христос предстает перед Пилатом как истина, то это конечно же не факт из тьмы низких истин, а явление горных высот духа. Поэзия сродни таким явлениям.

Припомним исходное «апокалиптическое» письмо Погодину — Пушкин опасается цензурных препятствий к печатанию «Героя». Чего же именно он боится? Сопоставления Наполеона в чумной Яффе с Николаем I в холерной Москве? Возможно. Но все-таки Николай не упомянут в стихотворении вовсе, а параллель, спрятанная в дате посещения государем холерной Москвы, несомненно для царя комплиментарна. Погодин, которому стихи посланы для печатания, так и понимает их смысл.

Когда весной 1837 г. ему придет мысль опубликовать «Героя» в послепушкинском «Современнике», он напишет письмо Вяземскому, в котором напомним, что Пушкин запретил выставлять свое имя под стихотворением, и добавит: «Клеветники увидят, какие чувства питал к нему (т. е. к царю. — В. Л.) П(ушкин), не хотевший, однакож, продираться со лъстецами»¹⁴.

Если Пушкин не подписывает «Героя», чтобы «не продираться со лъстецами», то намек на государя его вряд ли волнует по цензурным поводам. Лесть (а значит и все, что понимается как лесть) не запретна.

Запретно другое: слишком, может быть, поэтическое понимание христианской истины как возвышающего обмана. Здесь мировоззрение Пушкина действительно не совпадает с требованиями синодальной религиозности. Тот же условно-поэтический ход мы найдем потом и в каменноостровской детали «Памятника», когда, как уже было замечено, Пушкин вольно ставит себя на место канонического и весьма почитаемого апостола Иоанна. Почему же нет? Ведь и «Памятник», и патмосское откровение равноправно сосуществуют в горнем мире поэтических видений, не стесняемых никакими каноническими, а тем более государственными запретами.

Такое высокое поэтическое восприятие религиозных ценностей пронизывает все творчество Пушкина — особенно с рубежа 1830-х годов.

Эпиграф из Иоанна Богослова есть, по нашему мнению, ключ далеко не только к «Герою»; он выявляет ту же тему, завершаемую «Памятником», и в других пушкинских произведениях. Изучая «Капитанскую дочку», В. Б. Шкловский давно показал, что важен не только, а иногда и не столько сам текст пушкинского эпиграфа, сколько весь контекст, в котором находятся слова, вынесенные в эпиграф, в исходной ситуации источника, откуда эти слова взяты¹⁵.

Контекст вопроса: «Что есть истина?» — мы помним. Ответом на него служит *молчание*. Это молчание и есть крайнее выражение истины в устах Богочеловека.

Едва ли не полная аналогия этой ситуации находится в великой заключительной ремарке «Бориса Годунова»: «Народ безмолвствует» (VII, 98).

Ремарка служит ответом на вопрос боярина Мосальского: «Что же вы молчите? кричите: да здравствует царь Дмитрий Иванович!». Родственность двух безмолвий — евангельского и

¹⁴ Цит. по кн.: Пушкин. Письма. Т. II. С. 474.

¹⁵ См.: Шкловский В. Заметки о прозе Пушкина. М., 1937. С. 88—130.

народного — кажется очевидной. Тут слышен отзвук известной поговорки: глас народа — глас Божий.

Заключительную ремарку трагедии можно даже попытаться объяснить с помощью строгого силлогизма. Если глас народа есть глас Божий, то и безмолвие народа есть безмолвие Божье, т. е. истина. Значит, в ремарке «Народ безмолвствует» заключен момент высокой истины. Народ терпелив; подобно божественному агнцу, он отдает себя на заклание. Но в безмолвии народном, как и в молчании сына Божьего, уже предчувствуется грядущий страшный суд, апокалиптическое видение возмездия: «И не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда...» (VII, 23).

В «Памятнике» тема этих двух судов — мирского и Божьего — получает у Пушкина свое завершение. Оно отнесено в некое идеальное будущее, где достигнута полная гармония: жертва угодна Богу и принята, муза послушна Божьему велению, поэт любезен народу.

*
* *

Мы начали с утверждения, что «Памятник» есть стихотворение итоговое; затем проследили, как патмосская тема прошла через два десятилетия пушкинского творчества. Путь этот намечен нами пунктирно — мы отдаем себе отчет в том, что по ходу нашего изложения вопросов возникло, вероятно, больше, чем было получено ответов. Но есть ли вообще в пушкинском мире окончательные ответы?

И все-таки на очереди вопрос, который сейчас, в заключение, необходимо поставить.

Если мы утверждаем, что в «Памятнике» — итог всего творчества Пушкина, то, значит, мотив патмосского пророческого тайновидения должен найти в стихотворении свой отзвук. Есть ли такой отзвук в тексте самого стихотворения? Или вся наша догадка основывается только на топониме «Каменный остров» и общей родственности других пророческих стихов «Памятнику»?

Нам кажется, что такой отзвук есть.

Пушкин поздней поры, как известно, был особенно чуток к раннехристианской культурной традиции — обращался к учениям Ефрема Сирина, делал выписки из житийной литературы; в последнем, по-видимому, незавершенном цикле стихов смело противоопоставлял евангельское духовное начало официальному культу. Отчетливее всего это выступает в стихотворении «Мирская власть».

Здесь не место поднимать старую проблему — входил или не входил «Памятник» в последний пушкинский стихотворный цикл. Достаточно будет только напомнить о близости «Памятника» и последних стихотворений. Одна из важных сторон этой близости — именно патмосская тема. Наиболее пророческие по своему смыслу стихи последнего цикла «Мирская власть» и «Когда за городом задумчив я брожу» тоже помечены топонимом «Каменный остров». Это не все. В «Мирской власти» стихи, посвященные картине распятия, основаны на тексте «Евангелия от Иоанна». Только там, в четвертом евангелии, сказано о близком присутствии при крестных муках «Марии-грешницы и пресвятой девы», о чем свидетельствует Иоанн, находящийся там же.

Отрывок «Сосны» («Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел...») помечен датой: «26 сентября». Можно предположить, что это не только дата написания стихов, но и день поминовения Иоанна Богослова. Кстати будет напомнить, что патмосского тайновидца церковная традиция полагала покровителем художников, и день 26 сентября считался их праздником¹⁶.

Но обратимся к тексту самого «Памятника»:

Первая же его строфа дает нам некий символический образ, вознесшийся выше Александрийского столпа. Этот столп вызвал к жизни целую литературу; обсуждались мотивы колоссального сооружения древней Александрии, Александрова колонна на Дворцовой площади в Петербурге, монумент, воздвигнутый Румянцевым в честь 1812 г., и, наконец, Вавилонский столп библейской книги «Бытие».

Все соотнесения правомерны.

Однако если вчитаться в пушкинские строки, то станет ясно, что поэт ставит тут смысловой акцент не на Александрийском столпе, чем бы он ни был, а на некоем образе, который *выше* этого монумента. Что же выше? Другими словами, каков образный эквивалент памятника, сложившийся в сознании Пушкина?

В первой строфе «Памятника» главный мотив есть несомненно *сравнение*, сравнение двух высоких символов. Проще и прямее всего было бы, конечно, сравнение рукотворного столпа со *столпом же*.

Но именно в Апокалипсисе дан образ нерукотворного столпа. В главе 3 мы находим обращение свыше к Иоанну; в нем

¹⁶ О 26 сентября как дне Иоанна — покровителя художников см.: Рус. арх. 1868. С. 33—34 (публ. И. М. Снегирева). Та же дата — 26 сентября — стоит и под болдинским стихотворением «Ответ анониму» (1830). Пророческое начало выражено в нем явно и сильно.

сказано о суде над «сатанинским сборищем» и об отделении праведников, побеждающих искушения, от грешников. Голос свыше вещает пророку:

«Се гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего.

Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего...» (Апокалипсис. 3: 11—12).

Образ праведника, послушного велению Божию и получающего достоинство нерукотворного столпа в грядущем храме, очень близко связывает начальные строки «Памятника» с патмосским откровением. В этом же культурно-историческом русле можно понимать и некоторые другие мотивы пушкинского стихотворения. Но полный разбор всего этого смыслового слоя сейчас не входит в нашу задачу.

Отметим только еще один патмосский мотив в следующей, второй строфе «Памятника». Для этого нам придется напомнить, как завершается Иоанново благовествование. В его последней главе Иоанн Богослов рассказывает о том, как Иисус, поручив апостолу Петру свою паству, т. е. церковь, покидает учеников и вообще жизнь земную. Следующую картину Иоанн дает глазами Петра и говорит о себе, любимом ученике Спасителя, в третьем лице: «Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус (<...>). Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он что? Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока прииду, что тебе до того? (<...>) И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока прииду, что до того?» (Иоанн. 21: 20—23).

В этом отрывке Иоанн-тайновидец, покровитель художников и создатель божественного логоса, явно противопоставлен Петру, олицетворяющему, как известно, церковь. У Иоанна свое избрничество и свой путь — до самого второго пришествия.

Апостолы сказали свое слово: «ученик тот не умрет». Иисус же не утвердил, но и не отрицал их мнения — впереди у Иоанна высокое видение на каменистом острове Патмос, и тем будет отличаться бессмертие его души от бессмертия других учеников: «То, что видишь, напиши в книгу...» (Апокалипсис. 1: 11).

К мере, характеру смертности и бессмертия Иоанна тут близко приходится пушкинское откровение:

Нет, весь я не умру, — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит...

Довольно. Дальнейшее соотнесение строк Пушкина с культурным наследием двух тысячелетий повело бы к обширному

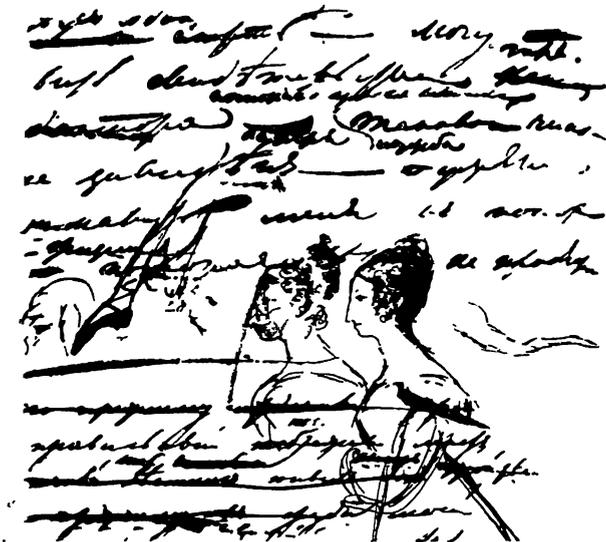
анализу текста «Памятника» и совсем далеко увлекло бы нас от нашей темы.

Осталось только сказать, что патмосское мироощущение есть лишь часть, лишь одна из областей пушкинского самосознания. Оно вовсе не отрицает других русел, по которым движутся мысль и чувство поэта. Когда мы акцентируем в «Памятнике» апокалиптические мотивы, то это ничуть не входит в противоречие с горацанско-державинской традицией.

В том-то, может быть, и сила пушкинских произведений, что они никогда целиком не «поглощаются» какой-то одной традицией, одной школой, философской или эстетической. И тогда каждую единицу текста можно рассматривать с разных точек или даже полей зрения — нередко это единственный способ почувствовать глубину и разнообразие Пушкина.

Сложная смысловая тектоника «Памятника», в котором каждая строка аккумулирует тысячелетние культурно-исторические пласты, — прекрасный пример такой полифонии.

1980



Р. В. Иезуитова

«УТАЕННАЯ ЛЮБОВЬ» ПУШКИНА

«Утаенная любовь» Пушкина принадлежит к числу величайших и все еще не разгаданных загадок пушкиноведения. Обращаясь к этому удивительному литературному феномену, мы вступаем в «тайное тайных», глубоко сокровенную жизнь Пушкина, касаемся тех ее сторон, которые помогают понять и осмыслить самые яркие и романтически возвышенные шедевры его поэзии.

Пушкин оставил немало лирических признаний о сильной и мучительной страсти, пережитой им в молодые годы, для которой нашел емкую поэтическую формулу «утаенная любовь». В черновиках «Посвящения» к «Полтаве», воскрешая в памяти прекрасный женский образ, вдохновлявший его в годы юности, Пушкин писал:

Иль — посвящение поэта
 Как утаенная любовь —
 Перед тобою без привета <?>
 Пройдет — непризнанное вновь...

(V, 322)

Мотив «утаенной любви» впервые появляется в лицейской лирике:

Счастлив, кто в страсти сам себе
 Без ужаса признаться смеет,
 Кого в неведомой судьбе
 Надежда робкая лелеет...

(I, 208)

Эти элегические строки содержат намек на сильную, но по неизвестным читателю причинам скрываемую от окружающих страсть, не оставляющую юному возлюбленному никаких надежд:

Но мне в унылой жизни нет
 Отрады тайных наслаждений;
 Увял надежды ранний цвет:
 Цвет жизни сохнет от мучений!

(I, 208)

«Эту безнадежную страсть, в которой поэт не может сам себе признаться без ужаса, комментаторы по инерции приписывают все той же „литературной“ героине лицейских элегий Е. П. Бакуниной», — замечает Ю. Н. Тынянов, считающий, что для этого нет достаточных оснований. Отказ рассматривать Е. П. Бакунину (сестру лицейского товарища Пушкина) в качестве адресата этих строк становится для исследователя отправной точкой в поисках «безымянной любви» Пушкина, которую он связывает с юношеской влюбленностью поэта в старшую по летам Е. А. Карамзину (жену писателя) — платоническую любовь к ней Пушкин, по мнению Тынянова, пронес через всю свою жизнь¹.

Впрочем, к моменту выхода из печати статьи Тынянова было уже сделано немало попыток назвать имя той женщины, которая была «утаенной любовью» поэта. Напомним основные вехи работы, проделанной пушкинистами в этом отношении.

«Не подлежит никакому сомнению, — пишет М. О. Гершензон, первым осознавший самостоятельное значение проблемы «утаенной любви», — что Пушкин вывез из Петербурга (речь

¹ См.: Тынянов Ю. Н. «Безымянная любовь» Пушкина // Лит. современник. 1939. № 5—6. С. 243—362.

идет о ранних петербургских годах. — *Р. И.*) любовь к какой-то женщине и что эта любовь жила в нем еще долго, во всяком случае — до Одессы. Он говорит о ней с ясностью, не оставляющей места никаким толкованиям»². В качестве примера исследователь приводит строки из элегии «Погасло дневное светило...» (1820), видя в них отражение реально пережитых поэтом чувств:

Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...
(II, 146)

Чувства эти, считает Гершензон, вызвала у поэта прелестная внучка знаменитого Суворова Мария Аркадьевна Голицына, с которой он не раз встречался в высшем петербургском свете после окончания Лицея. Высланный из Петербурга, Пушкин не мог не знать о том, что Голицына была обручена со своим однофамильцем, князем М. М. Голицыным: их свадьба состоялась 9 мая 1820 г. Талантливая певица-любительница и тонкая ценительница поэзии, Голицына, вне всякого сомнения, оставила след в душе поэта («в сердечной глубине»): воспоминания о ней отразились в адресованном ей мадригале «Давно об ней воспоминае...» (1823) с весьма знаменательными строками:

Я славой был обязан ей —
А может быть и вдохновеньем.
(II, 303)

Но прежде чем обратиться к более детальному рассмотрению версий «утаенной любви», выдвинутых не только Гершензоном, Тыняновым, но и другими видными пушкинистами³, обозначим, хотя бы приблизительно и, разумеется, неполно, круг произведений Пушкина, которые в сознании исследователей связываются с «утаенной любовью» (ибо круг этот не только уточ-

² Гершензон М. О. Северная любовь. А. С. Пушкина//Вестн. Европы. 1908. Янв. С. 285.

³ См.: Щеголев П. Е. Из разысканий в области биографии и текста Пушкина//Пушкин и его современники. СПб., 1911. Вып. XIV. С. 53—193; Гроссман Л. П. У истоков «Бахчисарайского фонтана»//Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1960. Т. III. С. 49—100; Цявловская Т. Г. «Храни меня, мой талисман»//Прометей. М., 1974. Вып. X. С. 12—84; Макогоненко Г. П. «...Счастье есть лучший университет»: Poleмические заметки об издании любовной лирики Пушкина//Нева. 1974. № 5. С. 178—188. «Утаенную любовь» Пушкина связывали и с демонической красавицей Каролиной Собаньской (см.: Яшин М. И. «Итак, я жил тогда в Одессе»//Нева. 1977. № 2. С. 100—143).

няется, расширяется, но и постоянно меняется). Мы ограничимся при этом лишь очевидными, бесспорными, сознательно ориентированными на некую любовную «тайну» и предполагающими широкое использование намеков, недосказанности, полупризнаний и других средств создания атмосферы суггестивности текста⁴. Следует к тому же иметь в виду, что эпитет «тайный» в лирике Пушкина довольно часто сопровождает описание любовного переживания (такой была этика любовного чувства в его время), однако мы имеем в виду «тайну» совершенно особенного свойства. Так, в цитированной выше элегии «Погасло дневное светило...» «изменницы молодые», внушившие поэту поверхностные, мимолетные чувства, названы «подругами тайными», хотя поэт вовсе не скрывает этих чувств, а затем и отрекается от них. Иное дело та, единственная избранница, вызвавшая у поэта чувство глубокое и истинное. Не только облик ее, но и самое ее имя окутаны атмосферой таинственности. Посвященные ей поэтические строки по существу не несут никакой информации об этой женщине: на первый план выступают переживания самого поэта. Контраст «безумной любви» и легких мимолетных увлечений составляет стержень элегии 1820 г., на нем основана ее композиция. Подлинное чувство предстает в ней долговечным и неистребимым, мимолетные увлечения оцениваются как легковесные и даже поочные заблуждения:

И вы забыты мной, изменницы молодые,
Подруги тайные моей весны златая,
И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило...
(II, 147)

Элегия «Погасло дневное светило...» дает законченный, классический пример лирической разработки темы «утаенной любви», которая начиная с 1820 г. становится одной из ведущих в поэзии Пушкина.

К числу произведений об «утаенной любви», безусловно, должно быть отнесено стихотворение «Война» (1821), навеянное известием о начале греческого восстания, в котором поэт намеревался принять участие. Задуманное как отклик на это событие, стихотворение, однако, стало лирической исповедью поэта: встающие в его воображении военные сцены совершенно неожиданно сменяются элгическими сетованиями, в них снова возникает мотив неизлечимой безумной страсти, забвенья от

⁴ См. об этом: *Муравьева О. С.* Об особенностях поэтики пушкинской лирики//Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1989. Т. XIII. С. 21.

которой поэт готов искать в гуще битвы и на поле смерти. Трагическая безысходность этого чувства («злой отравы») духовно опустошает поэта:

Покой бежит меня, нет власти над собой,
И тягостная лень душою овладела...
Что ж медлит ужас боевой?
Что ж битва первая еще не закипела?
(II, 167)

В стихотворении «Друзьям» (1822) безудержное веселье дружеского пира не может заглушить «сердечной думы» о том, что на языке поэзии именуется «горем жизни скоротечной», т. е. о трагически окрашенном чувстве любви, которое живет в душе поэта. И лишь чаша с вином, наполненная до краев, дарует ему минутное забвенье. Показательно, что в стихотворении отсутствует реальный образ возлюбленной поэта, являющейся ему лишь в «снах любви». Этой емкой лирической формулой Пушкин подчеркивает иррациональность и хрупкость своего чувства.

В философских раздумьях лирического шедевра «Люблю ваш сумрак неизвестный» (1822) Пушкин находит еще одну выразительную деталь для передачи сложного и противоречивого духовного состояния, вызванного муками неразделенной любви и мыслями о неизбежном конце:

Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя (<...>
Тоску любви забуду я?..
(II, 255)

Общая особенность анализируемых поэтических текстов заключается в том, что воссозданное в них лирическое переживание является следствием пережитой в прошлом душевной драмы, подробности которой остаются за рамками текста, хотя и составляют его психологическую основу. Это не рассказ о любви, а воспоминание о ней, заключенное в новую лирическую ситуацию.

У этого состояния, остро и эмоционально пережитого поэтом, по всей видимости, была реальная биографическая основа, что, собственно, и направляло усилия пушкинистов на поиски неизвестного им адресата стихов об «утаенной любви» и на выяснение связанных с нею обстоятельств. К сожалению, эти поиски не сопровождались углубленными биографическими разысканиями, а ограничивались анализом тех или иных реалий лирического текста.

Так, М. О. Гершензон для доказательства своей гипотезы, что северной («утаенной») любовью Пушкина была М. А. Голицына, привлек две пушкинские элегии 1821 г. («Умолкну скоро я! Но если в день печали...» и «Мой друг, забыты мной следы минувших лет...»). Он отметил текстуальные переключки первой из элегий с адресованным Голицыной мадригалом «Давно об ней воспоминанье...». Элегия завершается близкими ему по смыслу строчками:

Когда меня навек обьет смертный сон,
 Над урною моей промолви с умиленьем:
 Он мною был любим, он мне был одолжен
 И песен и любви последним вдохновеньем.
 (II, 208)

Между тем исследователь совершенно обошел вниманием то обстоятельство, что мадригал был написан два года спустя после создания элегии «Умолкну скоро я! Но если в день печали...», а не наоборот, и, следовательно, Пушкин вполне мог воспользоваться строками из неопубликованной элегии для эффектной концовки своего мадригала-экспромта, обращенного к М. А. Голицыной. Текстуальные переключки в данном случае не могут служить аргументом в пользу версии М. О. Гершензона. Одни и те же строки вполне могли иметь в виду разных адресатов. Переадресовка не только отдельных поэтических строк, но и целых стихотворений не столь уж редка в поэтической практике Пушкина. Достаточно вспомнить историю создания мадригала «Вы избалованы природой...», в первой редакции обращенного к А. А. Олениной, в окончательной — к Елизавете Ушаковой.

Второе из стихотворений («Мой друг, забыты мной следы минувших лет...») отнесено М. О. Гершензоном к М. А. Голицыной на том основании, что «оно хронологически тесно связано с первым», вследствие чего «их невозможно отнести к разным лицам: первое написано 23 августа, второе 24—25-го»⁵. Несостоятельность такого рода аргументации была раскрыта П. Е. Щеголевым, убедительно показавшим на основании скрупулезного анализа черновых и беловых редакций этих стихотворений, что стихи эти имеют в виду «крымское» увлечение поэта — юную Марию Раевскую, по мнению исследователя, и являющуюся «утаенной любовью» Пушкина⁶. Не касаясь существа этой новой версии «утаенной любви» поэта, заметим, что оба исследователя (Гершензон и Щеголев) по существу оста-

⁵ Гершензон М. О. Северная любовь А. С. Пушкина. С. 290.

⁶ Щеголев П. Е. Из разысканий в области биографии и текста Пушкина. С. 105.

вили без комментария основное содержание и смысл стихотворений, послуживших главным материалом, для выдвинутых ими версий. Между тем из текста как первой, так и второй элегии следует, что вопрос об их реальном адресате не имеет существенного значения для содержащегося в них мотива «утаенной любви». В элегии «Умолкну скоро я! Но если в день печали...» лирический сюжет строится на контрасте двух лирических тем: прежней, мучительной, неразделенной или несчастливой любви («...юноши, внимая молча мне,/Дивились долгому любви моей мученью») и любви взаимной, счастливой, отнюдь не утаенной («Позволь одушевить прощальной лиры звук/Заветным именем любовницы прекрасной»). Еще отчетливее звучит эта мысль в элегии «Мой друг, забыты мной следы минувших лет...». Здесь прежнее мятежное и страстное чувство, данное поэту «в печаль и наслажденье», противостоит невинной и чистой любви, счастливой и взаимной. Обращаясь к юной возлюбленной, поэт восклицает:

Но ты, невинная! ты рождена для счастья.
Беспечно верь ему, летучий миг лови:
Душа твоя жива для дружбы, для любви,
Для поцелуев сладострастья.

(II, 209)

Светлая, мажорная тональность стихотворения исключает самую возможность считать адресатом этих стихов женщину, которая внушила поэту мучительную страсть, духовно его опустошившую. Таким образом, в стихотворении два адресата — прямой, скорее всего указывающий (и в этом трудно не согласиться с П. Е. Щеголевым)⁷ на Марию Раевскую, и потаенный, зашифрованный, не только не раскрытый, но тщательно оберегаемый от какой бы то ни было огласки. Единственное, что можно извлечь из текста элегии, это то, что чувство поэта к этой женщине было глубоко несчастливым. Для воссоздания такого чувства в распоряжении Пушкина была богатейшая художественная палитра мировой поэзии, в особенности романтической, прежде всего Байрон, властитель дум всего пушкинского поколения, и конечно же, Жуковский, «певец любви», певец своей печали». Характерно, что романтические образы, навеянные эпиграфией «песцу уединенному» из элегии «Сельское кладбище» и лирическими вариациями «Певца» Жуковского, оживают в пушкинском стихотворении «Гроб юноши», написанном почти одновременно с элегиями «Умолкну скоро я! Но если в день печали...» и «Мой друг, забыты мной следы минувших лет...». Этот поздний «рецидив» элегического романтизма проецируется

⁷ Там же. С. 107—115.

в мир интимных переживаний и воспоминаний поэта и окрашивает их в меланхолические тона, овеянные скорбью о несостоявшемся счастье. Строки об «утаенной любви» не только в этом, но и в других произведениях Пушкина обычно соседствуют и корреспондируют с мотивами изгнания, страдания, непонимания, разлуки и даже смерти. Мотивы эти определяют собою весь эмоциональный строй стихов об «утаенной любви».

М. О. Гершензону принадлежит заслуга включения в исследование проблемы «утаенной любви» южных поэм Пушкина. Он подчеркивает, что и «Кавказский пленник» (1822), и «Бахчисарайский фонтан» (1824) внушены «северной любовью» поэта: «Чудным светом озаряется для нас его творчество — мы нисходим до таинственных источников вдохновенья»⁸. В сущности к такому же выводу пришел и П. Е. Щеголев, подчеркнувший, что герой элегий «Умолкну скоро я! Но если в день печали...» и «Мой друг, забыты мной следы минувших лет...» «весьма близок к романтическому герою», а героиня этих элегий — к женским образам южных поэм Пушкина⁹. В них действительно отчетливо звучат те же элегические мотивы, оживают знакомые лирические образы. Пушкин, как известно, не отрицал автобиографических черт в характере Пленника. Соглашаясь с мнением одного из своих критиков, считавшего характер этого героя неудачным, Пушкин писал: «Доказывает это, что я не гожусь в герои романтического стихотворения» (XIII, 52). В числе прочих автобиографических реалий Пушкин передал герою «Кавказского пленника» и «утаенную любовь». В первоначальном варианте (когда «Кавказский пленник» назывался еще поэмой «Кавказ») внутреннее состояние героя (а возможно, и автора) запечатлел напечатанный позднее как самостоятельное произведение элегический фрагмент «Я пережил свои желанья...» с его мотивами душевной опустошенности и сердечного страдания:

Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец —
Живу печальный, одинокий,
И жду: придет ли мой конец?
(II, 165)

В окончательном тексте поэмы эти настроения получают психологическую мотивировку:

Людей и свет изведал он
И знал неверной жизни цену.

⁸ Гершензон М. О. Северная любовь А. С. Пушкина. С. 297.

⁹ Щеголев П. Е. Из разысканий в области биографии и текста Пушкина. С. 63.

В сердцах людей нашед измену,
 В мечтах любви безумный сон.
 (IV, 95)

Намеченная в этих строках тема «утаенной любви» внутренне сопрягается с элегией «Погасло дневное светило...» и в свою очередь находит дальнейшее развитие в элегиях 1821—1822 гг.

Душевная опустошенность Пленника, невозможность расстаться с прежним чувством, с пережитыми им в прошлом горькими разочарованиями делают его неспособным ответить на любовь юной черкешенки:

Когда так медленно, так нежно
 Ты пьешь лобзания мои,
 И для тебя часы любви
 Проходят быстро, безмятежно;
 Снедая слезы в тишине,
 Тогда рассеянный, унылый
 Перед собою, как во сне,
 Я вижу образ вечно милый;
 Его зову, к нему стремлюсь,
 Молчу, не вижу, не внимаю;
 Тебе в забвеньи предаюсь
 И тайный призрак обнимаю.
 Об нем в пустыне слезы лью;
 Повсюду он со мною бродит
 И мрачную тоску наводит
 На душу сирую мою.

(IV, 106)

В этом монологе присутствуют все основные мотивы, составляющие лирический комплекс «утаенной любви», ее признаки, сквозные темы, особые поэтические образы («сон любви», «призрачное счастье», «тайные» страдания и т. п.) — одним словом, все то, что способствует поэтизации и романтизации этого чувства. И так же как в элегических сетованиях лирического героя, образ вдохновительницы этих строк заслоняется и в поэме страстной исповедальностью Пленника. В приведенном выше отрывке отчетливо видна литературная основа конфликта, определяющего взаимоотношения главных героев поэмы. Поэт не стремился к воссозданию реальной жизненной ситуации, но, отталкиваясь от нее, давал волю фантазии и воображению.

Нечто подобное произошло и с лирическим эпилогом «Бахчисарайского фонтана», в котором поэт за легкими тенями Марии и Заремы видит нежный образ все еще любимой им женщины:

Я помню столь же милый взгляд
 И красоту еще земную,
 Все думы сердца к ней летят,

Об ней в изгнании тоскую...
 [Безумец!] полно! перестань,
 Не оживляй тоски напрасной,
 Мятежным снам любви несчастной
 Заплачена тобою дань —
 Опомнись; долго ль, узник томный,
 Тебе оковы лобызать
 И в свете лирою нескромной
 Свое безумство разглашать?

(IV, 170—171)

Здесь впервые появляется (хотя и предельно лаконичная) «зарисовка» портрета любимой поэта, исполненная таинственности. Не совсем ясным представляется, например, выражение «И красоту еще земную», возможно указывающее на то, что красавица уже покинула этот мир, или же на «ангельские» черты ее внешности, постепенно заслоняющие ее реальный облик. Трудно согласиться с П. Е. Щеголевым, считающим, что строки эти имеют в виду Марию Раевскую: «Эта дева, мелькавшая по дворцу летучей тенью перед поэтом, сердце которого не могла тронуть в то время и старина Бахчисарая, — образ реальный и не мечтательный. Она была тут во дворце в один час с поэтом, и сердце его было полно ею»¹⁰. Скорее наоборот: образ мечтательный, поэтический (мелькнувший перед поэтом как милое наваждение, тень) заслоняет собою образ реальной вдохновительницы этих строк; если таковая и существовала в сознании поэта в момент работы над эпилогом поэмы. Разъяснение позиции Пушкина находим в его письме к брату из Одессы от 25 августа 1823 г.: «Здесь Туманский. Он добрый малой, да иногда врет — напр<имер>, он пишет в П.<етер>Б.<ург> письмо, где говорит, между прочим, обо мне: Пушкин открыл мне немедленно свое сердце и porte-feuille — любовь и пр... — фраза, достойная В. Козлова; дело в том, что я прочел ему отрывки из Бахчисарайского фонтана (новой моей поэмы), сказав, что я не желал бы ее напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру. Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы — помогите!» (XIII, 67). Как видим, поэт настаивает на реальности этого чувства, хотя и пишет о своей влюбленности как об имевшей место в прошлом. Он избегает какого-либо намека на имя этой женщины, ибо письмо адресовано брату, не отличавшемуся особой скромностью в отношении творческих занятий и личных обстоятельств жизни поэта.

¹⁰ Там же. С. 97.

Письмо явно рассчитано на оглашение в среде петербургских знакомых и, видимо, должно предупредить нежелательные толки вокруг автора «Бахчисарайского фонтана». В сущности никаких прямых указаний на время и обстоятельства знакомства и общения с этой («утаенной») возлюбленной поэта в письме не содержится, что заставляет усомниться в том, существовала ли она в действительности или же являлась автору поэмы лишь в чудесных грезах. Предположение это не кажется таким уж невероятным, если мы вдумаемся в заключительные строки процитированного нами письма: Пушкин в них весьма недвусмысленно напоминает, что темой его доверительного разговора с Туманским были вовсе не сердечные, а литературные дела. Он отрекается от роли Петрарки и боится показаться Шаликовым (т. е. смешно сентиментальным), предлагая и будущим читателям поэмы не искать в ней прямых аналогий с жизнью. И в самом тексте процитированного нами фрагмента эпилога система сопутствующих лирической героине оценок отсылает не к реальным событиям, а к игре воображения, к мечте («думы сердца», «мятежные сны любви» и т. п.). Это погружает читателя в зыбкую атмосферу недосказанности, недоговоренности, полунамёков. Извлечь «внятную» информацию из этого лирического отрывка не представляется возможным: пушкинский текст не дает оснований для идентификации лирической героини эпилога с Марией Раевской, которая присутствует в поэме совсем в другом качестве. Она является «внешней моделью» для создания портрета Заремы (по собственному признанию М. Н. Раевской, к ней относятся поэтические строки: «Ее пленительные очи/Яснее дня, темнее ночи»), и, кроме того, намек на сестер Раевских (в том числе и на Марию Раевскую) можно усмотреть в следующем лирическом отрывке из эпилога поэмы:

Младые девы в той стране
 Преданье старины узнали,
 И мрачный памятник оне
 Фонтаном слез именовали.

(IV 169)¹¹

С обоснованием иной точки зрения на расшифровку этих строк выступил Л. П. Гроссман, давший в работе «У истоков Бахчисарайского фонтана» свою версию «утаенной любви»

¹¹ Заметим, однако, что поэт явно колебался в выборе рассказчика предания: в одном из вариантов он отводил эту роль Николаю Раевскому (младшему): «Ты мне поведал (<...> сие печальное преданье» (IV, 394).

Пушкина и связанных с нею биографических реалий. Поставив под сомнение самую причастность не только Марии Раевской, но и ее сестер (и в первую очередь Екатерины Раевской, по мужу Орловой) к реалиям «Бахчисарайского фонтана», Гроссман попытался заново прочитать поэму в ином биографическом контексте. Он выдвинул на первый план проблему прототипа образа Марии, происходившей, по преданию, из рода Потоцких. Исследователь стремился увязать положенное в основу поэмы историческое предание с интересом Пушкина к одной из представительниц старинного аристократического рода Потоцких, с которой поэт познакомился в свои ранние петербургские годы.

Заявляя в самом начале статьи, что «объектом петербургской любви Пушкина („северной любви“, „отверженной любви“, „безумной любви“) следует признать Софью Станиславовну Потоцкую-Киселеву», Гроссман подробно характеризует свою героиню, ее мать, знаменитую красавицу-«фанариотку», Софью Константиновну Клавона, последним мужем которой стал граф Потоцкий. Увлекательно написанный, богато документированный очерк о родителях С. С. Потоцкой служит введением к истории ее отношений с Пушкиным, которая, несмотря на все усилия исследователя придать ей фактическую достоверность, выглядит надуманной и лишенной серьезной документальной основы. Из приведенных Гроссманом материалов (переписки Вяземского с Пушкиным и А. И. Тургеневым) с несомненностью следует, что в Потоцкую был влюблен Вяземский, а Пушкин сочувствовал увлечению друга, но не более того, ибо самый тон упоминаний Пушкина о Потоцкой (с некоторой долей фамильярности) не позволяет усмотреть в этих высказываниях никакого восторженного обожания, а главное, ее имя открыто называется в доверительно-дружеской переписке, что противоречит главному постулату «мифа» — утаенности имени женщины, в которую пламенно и безнадежно влюблен поэт. Между тем исследователь, приняв за исходное положение увлечение поэта юной Потоцкой, следующим образом характеризует «предысторию» «утаенной любви» Пушкина: «В зимний сезон 1818—1819 г. семнадцатилетняя Софья Станиславовна впервые стала выезжать на петербургские балы. Ее красота, сочетавшая яркую солнечность эллинского типа ее матери с утонченной задумчивостью славянского облика ее родственниц по отцу, вызвала всеобщее восхищение. Пушкин, всегда ценивший, по его собственному свидетельству, законченную красоту женских лиц, не мог пройти без внимания мимо молодой Потоцкой, уже вы-

завашей поклонение его друга Вяземского»¹². Этих не подкрепленных никакими свидетельствами ни самого поэта, ни близких ему лиц общих соображений оказывается достаточно, чтобы перейти уже в следующем абзаце статьи к столь же голословному и категорическому утверждению: «Мы не можем внести с календарной точностью в хронологическую канву жизни Пушкина дату того дня или вечера, когда Софья Потоцкая рассказала ему свою любимую крымскую легенду», т. е. легенду о любви крымского хана Керим Гирея к похищенной им польской красавице Потоцкой, но такая встреча, по мнению Гроссмана, состоялась еще в Петербурге. Исследователь не приводит никаких доказательств того, что крымская легенда была известна Потоцкой (об этом можно говорить лишь предположительно), что эта легенда была «любимой легендой» Потоцкой и, наконец, что именно она рассказала ее и Пушкину, и Вяземскому. Тем не менее Гроссман не сомневается в том, что «в 1818—1819 годах между ними (т. е. между Пушкиным и Потоцкой. — Р. И.) происходила такая беседа, отметившая важную веху в литературной летописи поэта». Однако творческая история поэмы не дает оснований для подобной датировки замысла, как известно, уходящего своими корнями в крымское путешествие Пушкина 1820 г. Начатая весной 1821 г., поэма писалась в течение всего 1822 г. и лишь осенью 1823 г. была окончательно завершена. Гроссман же относит эту работу к более раннему времени, утверждая, что взяты в 1818 г. за написанные поэмы Пушкину мешало «отсутствие цельного душевного опыта для творческой разработки такой темы», а «возникшее чувство к Софье Потоцкой еще не развернулось и не завершило цикла своего драматического развития»¹³. Цикл этот, по мне-

¹² Гроссман Л. П. У истоков «Бахчисарайского фонтана». С. 56, 61. Не следует, однако, пренебрегать прямыми отсылками Пушкина к «Путешествию по Тавриде» И. М. Муравьева-Апостола, выписки из которого, сделанные поэтом, содержат и рассказ о Керим Гирее и его любви к прекрасной «грузинке» с соответствующим комментарием автора: «Странно очень, что все здешние жители непременно хотят, чтобы эта красавица была не грузинка, а полячка, именно какая-то Потоцкая, будто бы похищенная Керим-Гиреем» (IV, 175). Это заявление поэта, по-видимому, делает излишними ссылки на Потоцкую как на вдохновительницу «Бахчисарайского фонтана», ибо в данном случае мы имеем дело с конкретными указаниями самого Пушкина, тогда как Л. П. Гроссман прибегает к догадкам и косвенным свидетельствам. Крымская легенда была широко известна в тех местах, по которым вместе с Раевским путешествовал Пушкин, и, видимо, не надо было быть Потоцкой, чтобы услышать и пересказать ее поэту.

¹³ Гроссман Л. П. У истоков «Бахчисарайского фонтана». С. 61, 77.

нию исследователя, и составляет биографическую основу «утаенной любви» Пушкина¹⁴.

Работа Гроссмана — один из наиболее показательных примеров того, как обширная эрудиция и блестящее литературное мастерство автора способны заставить читателя поверить самым, казалось бы, невероятным и неожиданным предположениям насчет предмета «утаенной любви» Пушкина. Вместе с тем эта же статья нагляднее всего раскрывает пути формирования пушкиноведческой легенды и создания легендарного образа возлюбленной поэта.

Подтвердим наш вывод еще одним фактом произвольного, с нашей точки зрения, толкования пушкинского текста. В так называемом «Отрывке из письма» поэт рассказывает: «В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слышал о странном памятнике влюбленного хана. К** поэтически описывала мне его, называя *la fontaine des larmes*». Он замечает, что не вспоминал о памятнике «ханской любовницы», (а следовательно, и о рассказе К**), «когда писал свою поэму» (IV, 176). Для исследователя, увлеченного своей версией «утаенной любви», этого оказывается достаточно, чтобы увидеть в К** Потоцкую-Киселеву, хотя пушкинский «Отрывок» не дает оснований для подобного категорического утверждения. Напротив, общий контекст «Отрывка» с прямым упоминанием Н. Н. Раевского при описании посещения Бахчисарая делает более убедительным мнение исследователей, считающих, что К** — это Екатерина (Катерина) Раевская, с которой, как известно, связано множество крымских впечатлений, отразившихся в лирике поэта. В «Отрывке» отчетливо просматривается стремление провести резкую грань между реальными событиями (знакомство с главной достопримечательностью Бахчисарая — ханским дворцом и фонтаном слез, поэтический рассказ К** о фонтане слез) и литературой, которая, как подчеркивает поэт, подчиняется своим собственным законам и далеко не всегда управляема впечатлениями извне.

Стремлением резко отграничить «поэзию» от «правды» отмечена полемика Пушкина с А. А. Бестужевым в связи с публикацией элегий «Редет облаков летучая гряда...» (1820) в альманахе «Полярная звезда». Посылая стихи издателю альманаха

¹⁴ Исследователь подкрепляет свою версию еще одним соображением хронологического свойства. Осенью 1823 г. у сестры Ольги Нарышкиной в Одессе гостили Киселевы: «В эти месяцы пишутся знаменитые строки (т. е. эпил. — Р. И.), которые сам поэт называл любовным бредом» (Там же. С. 64).

Бестужеву, Пушкин просил его не публиковать трех последних строк, содержащих намеки на адресата ¹⁵:

Когда на хижины сходила ночи тень —
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.

(II, 157)

Однако вопреки его просьбе стихотворение было напечатано полностью. Упрекая Бестужева в нарушении авторской воли, Пушкин требует от него неукоснительного соблюдения «тайны» адресата лирических стихов. В черновике письма Бестужеву от 12 января 1824 г., как справедливо отметила Я. Л. Левкович ¹⁶, промелькнул образ женщины, которой посвящены стихи: «...они [писаны] относятся к женщине — которая первая прочитала их, я просил!» (XIII, 386). Однако в окончательный текст письма строки эти не попали — с тем, однако, чтобы приобрести самостоятельное значение в одном из следующих писем Бестужеву (от 29 июня 1824 г., в котором подробно разъясняется этическая сторона вопроса): «...приятельское ли дело вывешивать на показ мокрые мои простыни? Бог тебя простит! но ты осрамил меня в нынешней Звезде (т. е. в „Полярной Звезде“ на 1824 г. — *Р. И.*) — напечатав 3 последние стиха моей Элегии; черт дернул меня написать еще к стати о Бахч.<исарайском> фонт.<ане> какие-то чувствительные строчки и припомнить тут же мою элегическую красавицу» (XIII, 100). В черновике вместо «тут же» стояло «ту же» — поправка в беловике далеко не случайная, ибо в эпилоге поэмы не один, а два лирических адресата. Первый из них указывает на вполне реальное лицо (М. Н. Раевскую), второй имеет в виду «утаенную любовь» к неизвестной нам женщине («элегической красавице»).

Проблема адресата — важнейшая для лирики Пушкина вообще и для любовной в особенности. Имеет она существенное значение и для нашей темы, хотя в данном случае, как мы могли убедиться, поэт сознательно отказывается от намеков на конкретное лицо. Видимо, эта последняя особенность некоторых произведений Пушкина позволила одному из исследователей

¹⁵ Этим лицом Б. В. Томашевский (в чем с ним трудно не согласиться) считает Екатерину Раевскую: «По-видимому, описанная картина: девушка, показывающая на определенную звезду и называющая ее своим именем, — заключала в себе известную близким отличительную примету одной из дочерей Раевского». Исследователь опирается на свидетельство М. Ф. Орлова, писавшего жене (Екатерине Раевской-Орловой): «...воображаю тебя близкой всякий раз, как вижу достопамятную звезду, которую ты мне указала» (*Томашевский Б. В.* Пушкин. 2-е изд. М., 1990. Т. 2. С. 107).

¹⁶ См.: *Левкович Я. Л.* Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л., 1988. С. 276.

пушкиноведческого мифа об «утаенной любви» прийти к следующим выводам: любовные стихи Пушкина, считает Г. П. Макогоненко, «можно разделить на две группы. В одну входят стихи, прямо или косвенно обращенные к какой-нибудь определенной, названной или откровенно подразумеваемой жешине, например, „К***“ („Я помню чудное мгновенье...“), лично переданное адресату — А. П. Керн, или „Что в имени тебе моем...“, записанное в альбом К. Собаньской.

Ко второй группе принадлежат глубоко интимные любовные стихотворения, потрясающие искренностью выраженных в них чувств, но написанные с позиций, не допускающих какого-либо биографического комментария, поиска адресата: все, что нужно читателю авторского замысла, содержится в самом поэтическом строе стихотворения, в его образной структуре»¹⁷. Стихи об «утаенной любви», согласно этой классификации, принадлежат ко второй группе любовной лирики и не нуждаются ни в каком биографическом комментарии.

Несмотря на столь категорично выраженное мнение, исследователь не избежал соблазна попытаться вполне конкретно охарактеризовать ту, которая была адресатом стихов об «утаенной любви», хотя и отказался от поисков «идеальной подружки гения» среди вполне реальных лиц.

*
* *
*

Еще первыми исследователями, обратившимися к теме «утаенной любви», были определены строгие хронологические границы возникновения и функционирования в поэзии Пушкина особого комплекса лирических мотивов, образов и тем, охватывающих в своей совокупности широкий круг произведений преимущественно южного и отчасти одесского периода. Однако в работах последующего времени, в особенности в новейших, есть немало примеров произвольного толкования понятия «утаенности», стремления выйти за рамки данного периода жизни Пушкина и применить это понятие к произведениям более позднего времени, когда, на наш взгляд, тема «утаенной любви» утратила для Пушкина свое прежнее значение. Подобные расширительные тенденции можно наблюдать на примере работ, которые посвящены трем одесским увлечениям поэта, в разной степени соотносимых с «утаенной любовью». Первое из них, отразившееся в ряде лирических стихов осени 1823 — начала 1824 г., подробно охарактеризовано в статье П. Е. Щеголева

¹⁷ Макогоненко Г. П. «...Счастье есть лучший университет». С. 178.

«Амалия Ризнич в поэзии А. С. Пушкина». Здесь предпринята попытка установить круг произведений, относящихся к этой женщине¹⁸. Кратковременная, но бурная вспышка страсти к «негоциантке молодой» оставила тем не менее глубокий след в душе поэта. Ранняя смерть Амалии Ризнич придала этому чувству трагический оттенок, и лишь известие о казни декабристов, полученное одновременно с вестью о кончине Ризнич, на время отодвинуло это чувство на второй план. Все это отразилось в истории создания элегии 1826 г. «Под небом голубым страны своей родной...». Однако уже в черновых строфах «Воспоминания» (1828) этот прекрасный женский образ оживает вновь:

Я слышу вновь друзей предательский привет
 На играх Вакха и Киприды,
 Вновь сердцу наносит хладный свет
 [Неотразимые обиды] (<...>
 И нет отрады мне — и тихо предо мной
 Встают два призрака младые
 Две тени милые — две данные судьбой
 Мне ангела во дни былые —
 Но оба с крыльями и с пламенным мечом —
 И стерегут — и мстят мне оба (<...>
 И оба говорят мне мертвым языком
 О тайнах счастья и гроба
 (III, 654—655)

Наблюдения П. Е. Щеголева, предположившего вслед за П. В. Анненковым, что под одной из «двух теней милых» следует подразумевать Амалию Ризнич, необходимо дополнить некоторыми предположениями насчет другого женского образа.

Нет ни малейшего сомнения в том, что «оба призрака» — реальные, а не вымышленные лица: это две умершие возлюбленные поэта. И если в отношении Амалии Ризнич вопрос может считаться окончательно решенным¹⁹, то о второй возлюбленной конкретных предположений высказано не было. Очевидно, ею могла быть молодая женщина или девушка, влюбившая поэта в страстное чувство и ко времени написания «Воспоминания» уже умершая. Полагаем, что поэт вспоминал о «гречанке» Калипсо Полихрони, романтическое увлечение которой он пережил в Кишиневе. Ей, как известно, адресовано стихотворение «Гречанке» («Ты рождена воспламенять...») (1822), а также альбомный мадригал «Иностранке» (1822) (в черновом автографе тоже

¹⁸ См.: Щеголев П. А. Амалия Ризнич в поэзии А. С. Пушкина // Вестн. Европы. 1904. № 1. С. 305—327.

¹⁹ См.: Левкович Я. Л. «Воспоминание» // Стихотворения Пушкина 1820—1830-х гг. Л., 1974. С. 115.

озаглавленный «Гречанке»). Мадригал этот был переписан Пушкиным из тетради ПД, № 834 в тетрадь ПД, № 833 под заглавием «В альбом иностранке». Содержание стихотворения не оставляет сомнения в том, что чувство поэта к экзотической красавице, которая, по воспоминаниям близко знавших Пушкина лиц, была возлюбленной Байрона, носило искренний и глубокий характер:

Мой друг, доколе не увяну,
В разлуке чувство погубя,
Боготворить не перестану
Тебя, мой друг, одну тебя
(II, 271)

Имя Калипсо Полихрони находится и в так называемом «донжуанском списке» Пушкина (о котором скажем позднее), что также свидетельствует о пылком чувстве, надо полагать, взаимном. В 1821—1822 гг., в период знакомства и общения Пушкина с Калипсо Полихрони, ей было 17 лет. В 1827 г. она скончалась. В одном из вариантов белого автографа стихотворения «Иностранке» (ПД, № 834, л. 1—1 об.) поэт обращается к возлюбленной:

Верь ангел сердцу моему
Как нынче веришь ты ему
(II, 786)

Это обращение («ангел») несет в себе не только назывную, но и оценочную функцию, указывающую на целый комплекс возвышенных свойств женской натуры (ее «ангельские» черты).

Подобное восприятие облика адресата позволяет сравнить эти строки с соответствующими черновыми строфами «Воспоминания» и увидеть в одной из «теней милых» Калипсо Полихрони. Если наше предположение справедливо, то есть основания отнести к ней (а не к Амалии Ризнич) «Заклинение» — один из шедевров болдинского лирического цикла 1830 г. («Прощанье», «Заклинение» и «Для берегов отчизны дальней...»). В адресованном Полихрони стихотворении «Гречанке» («Ты рождена воспламенять...») Пушкин прямо уподобляет красавицу-гречанку байроновской Леиле (героине «Гяура»), разъясняя в белом тексте (ПД, № 4), как нужно правильно произносить название этой поэмы: «Гяур (а не *Джяур*, как пишут некоторые)» (II, 769). Видимо, далеко не случайно Леилой названа и героиня «Заклинения».

Этот довольно пространственный экскурс понадобился нам для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что лирическая поэзия Пушкина скрывает множество тайн и загадок, но далеко не каждая

из них связана с проблемой «утаенной любви». Ни Ризнич, ни Калипсо Полихрони, при всей значительности отношений с ними для творчества Пушкина, не соотносятся с теми лирическими контекстами, в которых выражает себя «утаенная любовь».

Лишь отчасти соприкасаются с ними и стихи «воронцовского цикла», анализу которых посвящена исчерпывающая по материалу статья Т. Г. Цявловской «Храни меня, мой талисман». Прослеживая свидетельства постепенного зарождения чувства Пушкина к Елизавете Ксаверьевне Воронцовой от первых набросков ее портретов в его рабочих тетрадях и отдельных стихотворных строк с полупризнаниями до драматически напряженных и страстных, трагически окрашенных лирических шедевров, Т. Г. Цявловская, не прибегая к термину «утаенная любовь», по существу анализирует историю этой любви как любви «утаенной». Разумеется, это чувство требовало соблюдения тайны, ибо возлюбленных разделяли семейное положение Елизаветы Ксаверьевны и ее положение в одесском свете. Однако в обращенных к ней стихах отчетливо звучат не только мотивы тайны, но и угасания, обреченности, даже смерти, в чем нельзя не усмотреть воздействия не столько жизненных, сколько литературных импульсов. Появление здесь лирических мотивов и тем, воссоздающих ситуацию вечной разлуки («могильный сумрак», «овдовевшая супруга», «твой друг угас» — в «Прощанье», неожиданной строки «Все в жертву памяти твоей» в одноименном стихотворении), породило немало недомыслий и попыток вывести эти стихи за пределы воронцовского цикла на том основании, что подобные строки не могли относиться к живой женщине. Между тем любовь запретная, скрываемая, безнадежно трагическая требовала особых приемов и форм для своего выражения. В лирике предшествующих лет такие приемы были выработаны применительно к ситуации «утаенной любви». Отсюда и точки соприкосновения стихов воронцовского цикла с лирическими вариациями на тему «утаенной любви». Но не менее важно, что в этих же стихах осязимо стремление перейти от условных, воображаемых переживаний к чувствам подлинным и глубоким. «Утаенная любовь» из области «предполагаемых чувств в предполагаемых обстоятельствах» становится живой реальностью. Такова логика творческого развития величайшего из русских лириков.

Т. Г. Цявловская «разгадала» еще одну сердечную тайну поэта, относящуюся к его одесской жизни. Героиней этого поэтического «детективного» романа Пушкина стала Каролина Адамовна Собаньская, урожденная графиня Ржевуская (1794—1885). Первым исследователем, указавшим на нее как на адресата двух любовных писем Пушкина начала 1830 г., был одес-

ский пушкинист А. М. Де-Рибас²⁰. «Одна из самых блистательных красавиц польского общества русского юга», женщина со сложной судьбой и далеко не безупречной репутацией (почти официально находившаяся в любовной связи с известным генерал-лейтенантом, графом О. И. Виттом, приобщившим ее к политическому сыску, о чем, разумеется, Пушкин не мог знать), Каролина Собаньская познакомилась с Пушкиным, по собственному его признанию, 2 февраля 1821 г. (в день святого Валентина, день всех влюбленных). Однако настоящее знакомство, переросшее в постоянное общение, состоялось уже в Одессе и далеко не сразу перешло со стороны Пушкина в увлечение. Повидимому, на первых порах Пушкин встречался с Собаньской в кругу одесского светского общества (хотя пренебрегавшая светскими условностями Каролина была принята далеко не во всех аристократических домах Одессы). В откровенном письме к А. Н. Раевскому от 15—22 октября 1823 г. Пушкин пишет, что «страсть его очень уменьшилась», так как он «влюбился в другую», т. е. в Амалию Ризнич (XIII, 70). И только после разрыва с последней и отъезда ее на лечение за границу (где-то в начале мая 1824 г.) Пушкин снова обратился к Собаньской. Не о ней ли идет речь в датированной 18—19 мая 1824 г. загадочной помете «Veux tu m'aimer» под беловым автографом стихотворения «В альбом иностранке» в одной из рабочих тетрадей Пушкина (ПД № 833, л. 26)? В переводе помета гласит: «Хочешь ли ты любить меня?» — и содержит аббревиатуру «pl. v. D.».

Содержание стихотворения, о котором уже шла речь, и смысл пометы делают совершенно невероятным отнесение ее к Дегильи²¹, кишиневскому знакомому Пушкина, ссора с которым едва не дошла до дуэли. Нет ни малейшего сомнения в том, что помета имеет в виду женщину, к которой и обращен этот вопрос (а точнее, жалоба, сетование: *plainte*), по-видимому как-то увязанный со смыслом поэтического текста. Стихи, обращенные, как мы предполагаем, к Калипсо Полихрони в 1822 г., были переписаны в ПД № 833 в белой редакции примерно тогда же. Запись же датирована маем 1824 г., когда отношения с прекрасной гречанкой стали уже прошлым, а самые стихи, адресованные «Иностранке», могли прозвучать как мадригал новому (уже «одесскому») увлечению поэта. Дата 18—19 мая полностью исключает Амалию Ризнич, к этому времени поки-

²⁰ См. об этом: Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.: Л., 1935. С. 185.

²¹ См.: Анненков П. В. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874. С. 244. Ср.: Рукою Пушкина. С. 301.

нувшую Одессу, а также и Е. К. Воронцову (в эти дни отсутствовавшую в городе и никак не подходившую в качестве нового адресата стихотворения «Иностранке»). Полагаем, что помета имеет в виду Собаньскую, чистокровную полячку, а аббревиатура «v» и «D» может означать «виконтессе», т. е. графине, «Д.». «Д.» — Джованна — имя, которым называла себя Собаньская (именно этими инициалами — точнее, «Д. Д.» («донна» вместо «виконтесса») — помечены посвященные ей сонеты А. Мицкевича из его книги «Крымских сонетов»). Видимо, посвящение Собаньской альбомного мадригала не состоялось, а развитие и углубление чувства к Воронцовой погасило начавшийся было «флирт» с Собаньской, весьма опасной кокеткой. Подробное описание отношений поэта с этой интереснейшей его современницей дает в своей статье М. И. Яшин, вернувшийся к версии «утаенной любви» Пушкина как любви к Собаньской. Увлеченный своей версией, автор собрал большой и разнообразный материал о Собаньской, дополнив некоторыми интересными документами ту сводку материалов о ней, которую дает Т. Г. Цявловская²². Но, оказавшись в плену своей версии, М. И. Яшин весьма некритически отнес к Собаньской почти всю любовную лирику одесского периода, отдав щедрую дань расширительному применению легенды об «утаенной любви» Пушкина²³. Между тем не подлежит сомнению, что одесские встречи поэта с Собаньской не были началом глубокого чувства, они стали лишь основой бурного «рецидива» старого увлечения, вспыхнувшего в самом конце 1820-х годов, когда судьба снова свела Пушкина и Собаньскую в Петербурге. К этому времени относятся посвященные Собаньской стихотворение «Что в имени тебе моем? . . .» (1830), записанное в ее альбом²⁴, и, по всей вероятности, стихотворение «Когда твои молодые лета. . .» (1828), связываемое обычно с А. Закревской. Т. Г. Цявловская подробно доказывает, что оно посвящено Собаньской: оба стихотворения, считает она, «написаны в одном ключе», имеют текстуальные переклички, а главное, близки хронологически. В списке стихотворений, «составлявшемся Пушкиным в апреле 1830 г. для готовящегося издания», стихотворения стоят рядом²⁵.

К. Собаньская, оставив заметный след в лирике и письмах Пушкина, не могла быть и, разумеется, не была «утаенной лю-

²² Рукою Пушкина. С. 198—208.

²³ См. упомянутую выше статью М. И. Яшина «Итак, я жил тогда в Одессе».

²⁴ Подробнее см.: *Базилевич В.* Автограф «Что в имени тебе моем?» // *Литературное наследство.* М., 1934. Т. 16—18. С. 879.

²⁵ См.: Рукою Пушкина. С. 207. Автографы — ПД, № 515 и 716.

бовью» поэта, хотя дала жизнь еще одной пушкиноведческой легенде. Далеко не случайно это имя отсутствует в так называемом «дон-жуанском списке» Пушкина, на котором следует остановиться особо.

По просьбе московских приятельниц Пушкина Ушаковых в альбоме младшей из сестер, Елизаветы²⁶, поэт записал два списка женских имен, которые с легкой руки П. С. Киселева (брата будущего мужа Елизаветы Николаевны Киселевой-Ушаковой) получили название «дон-жуанского списка» Пушкина, иными словами «перечня всех женщин, которыми он увлекался». «Альбом этот, — пишет Т. Г. Цявловская, — очень своеобразен; в нем писали и рисовали и сестры Ушаковы, и Пушкин». Он обращался к записям в альбоме дважды: весной 1829 г. и осенью того же года²⁷.

В списках женщины, которыми увлекался поэт, названы лишь по именам, и это создает дополнительные трудности для комментирования этих записей. Некоторые имена до сих пор остаются нерасшифрованными²⁸. По справедливому замечанию Я. Л. Левкович, в первый список вошли те, кто внушил ему глубокое или страстное чувство, во второй, составленный, по видимому, позднее (т. е. осенью 1829 г.), попали те, кто не оставил глубокого следа в его душе, хотя и вдохновил его на создание лирических стихов, альбомных мадригалов и т. п.

В центре нашего внимания, естественно, оказывается первый список: не только потому, что именно в него вошли многие из женщин, которые, по мнению пушкинистов, могли быть предметом «утаенной любви», но и потому, что он содержит тщательно зашифрованное литерами «N N» женское имя, которое

²⁶ Рукою Пушкина. С. 629—630.

²⁷ Там же. С. 630. Списки также составлялись в два приема. Подробнее об этом см. комментарий Я. Л. Левкович в готовящейся к изданию книге: Автобиографическая проза Пушкина.

²⁸ Первый полный академический комментарий этих записей дала Т. Г. Цявловская (см.: Рукою Пушкина. С. 631—637; ср. также комментарий Б. В. Томашевского в кн.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. VIII. С. 371—372). Нельзя, разумеется, пройти мимо тех расшифровок так называемого «дон-жуанского списка», которые принадлежат автору специальной монографии на эту тему П. К. Губеру («Дон-жуанский список Пушкина». Пг., 1923). В предлагаемой автором концепции творческого развития Пушкина нельзя не увидеть некоторых особенностей философско-эстетического сознания 1920-х годов, когда получили широкую популярность идеи З. Фрейда. Губер обращает в своей книге особое внимание на изначально, по его мнению, свойственную пушкинской натуре «необыкновенную быструю чувственность и нервную возбудимость» (С. 19), на «повышенную эротическую чуткость и отзывчивость Пушкина» (С. 20). В «Дон-жуанском списке» исследователь видит «длинный список женщин», вызвавших у поэта эмоции сугубо эротического свойства, с чем, конечно, трудно согласиться.

поэт не раскрыл ни своим московским приятельницам, ни другим (возможным) читателям этих записей. Литеры эти стоят между именами «Катерина II» (в ней большинство комментаторов видят Екатерину Андреевну Карамзину, жену писателя, бурное увлечение которой Пушкин пережил в лицейские годы) и «Княгиня Авдотья» (т. е. Голицына), в которую поэт влюбился по выходе из Лицея, уже в Петербурге, осенью 1817 г.

Приведем текст этого списка полностью:

Наталья I
 Катерина I
 Катерина II
 N N
 Кн. Авдотья
 Настасья
 Катерина III
 Аглая
 Калипсо
 Пульхерия
 Амалия
 Элиза
 Евпраксия
 Катерина IV
 Анна
 Наталья ²⁹.

Положение загадочных литер в списке весьма наглядно свидетельствует в пользу «утаенной любви» и еще в большей степени — в пользу любви «северной», ибо список, начатый скорее всего именем Натальи Кочубей (будущей Строгановой) и завершающийся Натальей Николаевной Гончаровой, выстроен в строго хронологическом порядке. По мнению Т. Г. Цявловской, под литерами «N N» скрывается «неизвестная нам женщина», «предмет „северной“ мучительной любви, может быть, безответной, во всяком случае, как-то оборвавшейся». Исследовательница идет в своих предположениях дальше, заявляя: «...возможно, что она рано умерла, и ее могилу посетил Пушкин, вернувшись в Петербург в 1827 или 1829 году»³⁰. Еще раньше Т. Г. Цявловская увидела отражение любви поэта к этой неизвестной NN в черновых строфах «Воспоминания» и в «Заклинании»³¹.

Между тем очевидно, что загадочная женщина (если N N не мистификация со стороны поэта) встретила его сразу же после окончания Лицея, но еще до знакомства с Е. И. Голицыной, относящегося к ноябрю 1817 г. Такой вывод напрашивается из анализа первого списка. Тогда ею могла быть (утвер-

²⁹ ПД, № 1723.

³⁰ Цявловская Т. Г. «Храни меня, мой талисман». С. 68.

³¹ См.: Рукою Пушкина. С. 631—632.

ждать это категорически, разумеется, нельзя) героиня нашумевшей истории, случившейся в 1817 г. в Коломне, где по окончании Лицея поселился у родителей Пушкин, а именно семнадцатилетняя красавица Екатерина Буткевич, выданная замуж за семидесятилетнего богача, графа В. В. Стройновского. Работа над поэмой «Руслан и Людмила», считает новейший ее исследователь, поэт воспользовался некоторыми деталями истории замужества Екатерины Буткевич. В тексте поэмы он усмотрел множество намеков на отталкивающую личность престарелого жениха, а в похищении карлой Черномором юной Людмилы увидел отзвуки вполне реальных событий³². Позднее, в «Домике в Коломне» (1830), Пушкин вернется к своим юношеским переживаниям и создаст сцену посещения графиней Покрово-Коломенской церкви:

Туда, я помню, ездила всегда
Графиня... (звали как, не помню, право).
Она была богата, молода;
Входила в церковь с шумом, величаво;
Молилась гордо (где была горда!)
Бывало, грешен, все гляжу направо,
Все на нее...

(V, 88)

Реплика автора «Домика в Коломне» — „(звали как, не помню, право)“ — дает, полагаем, некоторые основания считать, что в момент составления списка, в 1829 г., Пушкин действительно не припомнил, а может быть, и не захотел назвать имени той женщины, «романтическое» чувство к которой возникло в ранней юности и стало одним из дорогих его сердцу петербургских воспоминаний, давших начало поэзии «утаенной любви». Остальное довершили воображение и фантазия, ибо, по нашему глубокому убеждению, «утаенная любовь» была не столько выражением реального чувства поэта к реальной женщине, единственной и глубокой его страсти, сколько художественным воссозданием определенного эмоционально-психологического состояния, которое он позднее в «Путешествии Онегина» емко и точно обозначит как «безымянные страданья» и теснейшим образом свяжет их с романтической порой своего творчества:

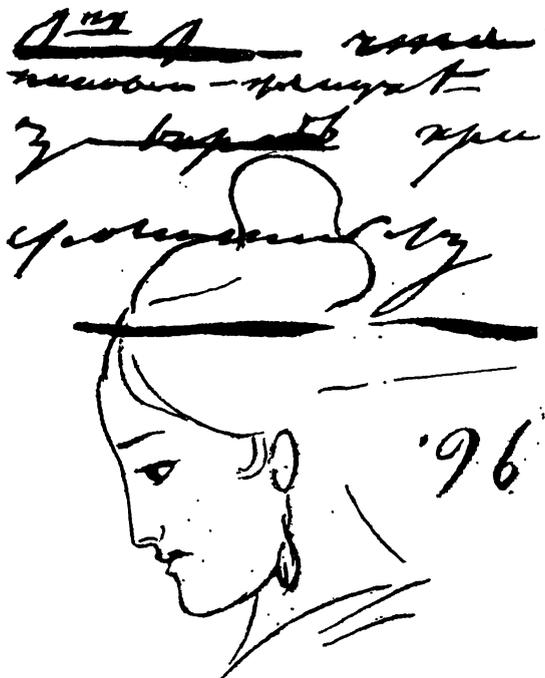
В те поры, мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груди скал,
И гордой девы идеал,
И безымянные страданья...

(VI, 200)

³² См.: *Матвеевский Б.* Прообраз карлы Черномора//Пушкинский праздник. 1989. 22 мая — 7 июня. С. 11.

Эти настроения выразилась и в лирических фантазиях «Разговора книгопродавца с поэтом» (1824). Здесь мы находим наиболее целостное воплощение этого во многом воображаемого идеала, который вобрал в себя лучшие черты близких ему современниц, неуловимо присутствующие в каждой из них — и ни в ком полностью. «Утаенная любовь» — мечта поэта, то, что он искал в «подругах тайных» своей весны, чем очаровывался и из-за чего страдал. О ней, безымянной любви, вдохновенно мечтает поэт:

Она одна бы разумела
Стихи неясные мой;
Одна бы в сердце пламенела
Лампадой чистою любви!
(II, 328—329)



Я. Л. Левкович
ЖЕНА ПОЭТА

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,
Чистейшей прелести чистейший образец. —
(III, 224)

так писал Пушкин о своей будущей жене 8 июля 1830 г., за семь месяцев до свадьбы. А на смертном одре, через несколько часов после дуэли, сказал о ней доктору И. Т. Спасскому: «Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском»¹.

Между этими двумя высказываниями прошло шесть с половиной лет семейной жизни, молодая жена поэта стала матерью его четырех детей, хозяйкой дома и одновременно — «первой

¹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 2. С. 336.

романтической красавицей» Петербурга, а потом «во мнении людском» явилась виновницей его смерти. Будущее «мнение людское» настолько волновало поэта, что он думал о нем все те мучительные часы, которые довелось ему прожить после дуэли. Тогда же Спасского он просил: «Пожалуйста, не давайте больших надежд жене, не скрывайте от нее, в чем дело, она не притворщица; вы ее хорошо знаете; она должна все знать»². Чем была вызвана эта просьба? Поэт знал, что ранен смертельно (ему сказали об этом доктора), знал, что в доме будут посторонние люди (врачи, друзья) и что внешнее спокойствие жены, вызванное ложной надеждой на его выздоровление, может быть истолковано как равнодушие.

Ближайшие друзья Пушкина понимали, что, говоря о жене Спасскому: «Она (<...> безвинно терпит», Пушкин пытался повлиять на будущее общественное мнение, на толки и пересуды, которые несомненно последуют за его смертью, когда он уже не сможет вступить за честь жены. В. А. Жуковский в своих «конспективных заметках», которые он вел, начиная с 4 ноября, когда стали распространяться анонимные письма, записал: «Спасский. О жене и Грече»³ (в это время скончался сын Н. И. Греча, и Пушкин просил Жуковского выразить своему недавнему врагу по литературным делам соболезнование). Слова, сказанные поэтом Спасскому, Жуковский привел в письме к отцу поэта С. Л. Пушкину. Письмо было рассчитано на распространение в списках. В эти же дни, когда весть о смерти поэта дошла до Москвы, состоялся у П. В. Нащокина записанный Н. И. Куликовым разговор о Наталье Николаевне. Известный актер М. С. Щепкин намекнул на то, что во всей этой несчастной истории многие обвиняют жену поэта. Нащокин резко ответил: «Знаю! Из Петербурга пишут о том же! Клянусь всем, что самая низкая и подлая клевета! Наталья Николаевна молода, легкомысленна, но она любит мужа, никогда не изменяла и не изменит, — за это я головой моей ручаюсь!»⁴

Пушкин был прав — сплетни и пересуды не обошли Н. Н. Пушкину ни при жизни, ни после смерти — в воспоминаниях современников, а потом в трудах исследователей и писателей.

Но прежде чем коснуться этих пересудов, вернемся от предсмертных дней Пушкина, от последних слов о жене к его семейной жизни. Какой виделась Н. Н. Пушкина современникам? Вот некоторые из их суждений.

² Там же. С. 335.

³ Там же. С. 341.

⁴ Рус. старина. 1881. № 8. С. 618.

С. Д. Киселев: «Пушкин женится на Гончаровой; между нами сказать, на бездушной красавице»⁵.

В. И. Туманский: «Пушкин (...) познакомил меня с своею пригожею женою. Не воображайте, однако ж, чтобы это было что-нибудь необыкновенное. Пушкина — беленькая, чистенькая девочка с правильными черными и лукавыми глазами, как у любой гризетки. Видно, что она неловка еще и неразвязна...»⁶

О. С. Павлищева: «Они очень довольны друг другом, моя невестка совершенно очаровательна, хорошенькая, красивая и остроумная, а со всем тем добродушная»⁷.

Н. О. Пушкина: «Сообщи тебе новость, император и императрица встретили Наташу с Александром, они остановились поговорить с ними, и императрица сказала Наташе, что она очень рада с нею познакомиться и тысячу других милых и любезных вещей. И вот она теперь принуждена, совсем этого не желая, появиться при дворе»⁸.

В. А. Жуковский: «Женка Пушкина очень милое творение. C'est le mot. И он с нею весьма мне нравится. Я более и более за него радуюсь, что он женат. И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше»⁹.

Д. Ф. Фикельмон: «Я видела ее (Н. Н. Пушкину) у маменьки — это очень молодая и очень красивая особа, тонкая, стройная, высокая, — лицо Мадонны, чрезвычайно бледное, с кротким, застенчивым и меланхолическим выражением, — глаза зеленовато-карие, светлые и прозрачные, — взгляд не то чтобы косящий, но неопределенный, тонкие черты, красивые черные волосы». «Поэтическая красота госпожи Пушкиной проникает до самого моего сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике — эта женщина не будет счастлива, я в том уверена! Она носит на челе печать страдания. Сейчас ей все улыбается, она совершенно счастлива, и жизнь открывается перед ней блестящая и радостная, а между тем голова ее склоняется и весь облик как будто говорит: „Я страдаю“. Но и какую же трудную предстоит ей нести судьбу — быть женою поэта, и такого поэта, как Пушкин»¹⁰.

⁵ [Приписка С. Д. Киселева в письме Пушкина к Н. С. Алексееву от 26 декабря 1830 г.] (XIV, 136).

⁶ Письмо к С. Г. Туманской от 16 марта 1831 г. // *Туманский В. И. Стихотворения и письма* / Под ред. С. Н. Браиловского. СПб., 1912. С. 310.

⁷ Письмо к Н. И. Павлицеву от 4 июня 1831 г. // *Литературное наследство*. М., 1934. Т. 16—18. С. 777.

⁸ Письмо к О. С. Павлищевой от 25—26 июля 1831 г. // Там же. С. 779.

⁹ Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. М., 1895. С. 255—256.

¹⁰ Записи в дневнике от 21 мая и 12 ноября 1831 г. // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 140, 141.

Так кто же была Н. Н. Пушкина — «бездушная красавица», «грязетка» с замашками московской провинциальной барышни или поэтическая красавица со знаком будущего страдания на челе?

Как видим, противоречивость ее репутации возникла еще при жизни поэта. И нередко разногласия в оценках являлись следствием разницы характеров, настроений или пристрастий тех, кто письменно засвидетельствовал свое впечатление о ней. Можно заметить, что отзывы приятелей Пушкина С. Д. Киселева и В. И. Туманского явно поверхностные: первый увидел Натали Гончарову, когда ее только начали вывозить в свет, второй видел ее только однажды. Отзыв Д. Ф. Фикельмон, жены австрийского посланника, одной из первых петербургских красавиц, пророческий, отзыв Жуковского отеческий, пристальный. Постоянный хлопотун и заступник за Пушкина, человек с чутким сердцем, он, наверное, с особым вниманием присматривался к жене своего «победителя-ученика» и относился к ней с явным сочувствием. Мы знаем, что в тяжкие преддуэльные дни, когда сплетни опутывали поэта и его жену, Наталья Николаевна обращалась к нему за советами¹¹.

Вчитываясь в эти столь разноречивые мнения, следует помнить часто цитируемые слова Пушкина в одном из писем к жене: «Гляделась ли ты в зеркало и уверилась ли ты, <ч>то с твоим лицом ничего сравнить нельзя н<а све>те — а душу твою люблю я еще более твоего лица» (письмо от 21 августа 1833 г. — XV, 73).

«Мнение людское», закружившись вокруг невесты и жены поэта сразу, как только она связала с ним свою судьбу, потом судило ее с первых же дней после его смерти. Зорко следили за ней в доме, казалось бы, близких друзей — Карамзиных. Им казалось, что вдова поэта слишком быстро успокоилась и занялась повседневными делами. А Наталья Николаевна готовилась к отъезду в деревню с детьми и сестрой Александриной, выполняющей волю покойного мужа. «Вчера вечером, мой друг, я проводжала Натали Пушкину, — пишет брату Андрею С. Н. Карамзина. — <...> Бедная женщина! Но вчера она подлила воды в мое вино — она уже не была достаточно печальной, слишком много занималась укладкой и не казалась особенно огорченной, прощаясь с Жуковским, Данзасом и Далем — с тремя ангелами-хранителями, которые окружали смертный одр ее мужа и так много сделали, чтобы облегчить его последние минуты; она была рада, что уезжает, это естественно; но было бы естествен-

¹¹ См.: *Абрамович С. Л.* Пушкин в 1836 году: Предыстория последней дуэли Л., 1989. С. 144—146.

ным также выказать раздирающее душу волнение — и ничего подобного, даже меньше грусти, чем до сих пор»¹². Софья Николаевна хотела видеть зрелищное горе. В следующем письме она, вспоминая последнюю встречу с Натальей Николаевной, пишет, что та должна была бы «умереть или сойти с ума» под «ужасом отчаяния»¹³. Ей как будто невдомек, что для вдовы поэта начиналась новая полоса жизни. Она возвращалась в Полотняный Завод, но это был уже не тот Завод, где она провела детство, — там появилась новая хозяйка — жена брата Дмитрия, а сама она, уже теперь без мужа, должна была отвечать за будущее своих четырех детей.

Между тем поток злоречия обрушился на Наталью Николаевну. Это были не только салонные сплетни, но и стихотворная публицистика, возникшая сразу после смерти Пушкина. Так, например, В. Макаров восклицал:

Друзья, я видел труп холодный
 Певца возвышенных речей,
 И слышал я в толпе народной
 Язык коварства и страстей.
 Один бессмысленно взирает
 На труп великого певца,
 Другой, безумец, осуждает
 И говорит: она, она
 Всему вина.
 Я думал: о, язык коварный,
 Ты никого не пощадишь,
 О, человек неблагодарный,
 Не знаешь ты, пред кем стоишь.

В одном из ходивших по рукам стихотворений — «На Н. Н. Пушкину» — читаем:

Не смыть ей горькими слезами
 С себя пятна,
 Не отмолиться ей мольбами:
 Жалка она¹⁴.

Позднее вдову поэта стали обличать и в исследовательской литературе. Поток злоречия делился как бы на два русла. Одни обвиняли Н. Н. Пушкину в ограниченности и равнодушии к мужу. Другие видели в ней только виновницу его смерти. И в этой связи довольно скоро всплывает имя царя. В современ-

¹² Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.: Л., 1960. С. 178 (подлинник по-французски; далее письма Карамзиных и Н. Н. Пушкиной также даются в переводе).

¹³ Там же. С. 188.

¹⁴ Приведенные стихи цитирую по хранящейся в Институте русской литературы РАН рукописи П. Е. Рейнбота «Письма Пушкина к жене».

ной исследовательской литературе бытует мнение, что «и при дворе, и в свете, и в кругу друзей Пушкина появление анонимных писем связывали только с именем Дантеса»¹⁵. Позволим себе с этим не согласиться. Роль Николая I в дуэльной истории относится тоже к числу легенд, которыми опутаны обстоятельства дуэли. Мало кому из знатоков биографии Пушкина не известно содержание анонимного пасквиля. И все же обратимся к нему еще раз. Пасквиль, который возводил Пушкина в сан историографа Ордена рогоносцев, был подписан именами двух знаменитых рогоносцев — Д. Л. Нарышкина и И. М. Борха. Имена говорили сами за себя. Нарышкин — муж многолетней любовницы Александра I, Борх — педераст, глава «образцовой», по иронической характеристике Пушкина, семьи, где «жена живет с кучером»¹⁶ Пушкин понял, что составители пасквиля прочат ему судьбу «рогоносца величавого» Нарышкина, который, по свидетельству современников, получал от Александра I крупные денежные суммы. Иначе трудно объяснить, почему поэт 6 ноября, т. е. через два дня после получения пасквиля, отправил министру финансов Е. Ф. Канкрину письмо, в котором писал, что желает свой долг казне уплатить незамедлительно и просит Канкрин в уплату долга принять отписанное ему отцом сельцо Кистенево с 220 душами. Поэт рисковал будущим благополучием своих детей, но с казной хотел расплатиться «сполна» и как можно скорее.

Не один Пушкин понял пасквиль, как намек на повышенное и замеченное в обществе внимание самодержца к своей жене. До нас дошли устные рассказы В. Соллогуба, относящиеся к дуэльной истории. Один из них записал горячий поклонник поэта Н. И. Иваницкий: «В последний год своей жизни Пушкин решительно искал смерти. Тут была какая-то психологическая задача. Причины никто не мог знать, потому что Пушкин был окружен шпионами: каждое слово его, сказанное в кабинете самому искреннему другу, было известно правительству. Стало быть, что тайлось в душе его, известно только Богу. <...> Разумеется, обвинения в связи с дуэлью пали на жену Пушкина, что будто бы была она в связях с Дантесом. Но Соллогуб уверяет, что это суший вздор. <...> Подозревают другую причину. Жена Пушкина была фрейлиной при дворе, так думают, что не было ли у ней связей с царем. Из этого понятно будет, почему Пушкин искал смерти и бросался на всякого встречного и поперечного. Для души поэта не оставалось ничего, кроме смерти»¹⁷.

¹⁵ *Абрамович С. Л.* Пушкин в 1836 году. С. 114.

¹⁶ *Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы. 4-е изд. М., 1987. С. 378.

¹⁷ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 482.

Иваницкий путает, когда пишет, что Н. Н. Пушкина была фрейлиной (ему, как и другим, были известны серальные привычки Николая I), но это не меняет основного смысла рассказа Соллогуба. Соллогубу было ясно скрытое содержание пасквиля, намекавшего не на Дантеса, а на царя. Письмо к Канкрину свидетельствует, что так понял пасквиль и сам поэт.

На создание легенды об интимных отношениях Н. Н. Пушкиной и царя повлияли и воспоминания ее дочери от второго брака (с П. П. Ланским) А. П. Араповой. Сквозь мемуары Араповой проходит культ Николая I. Царь был ее крестным отцом, а в подтексте сквозит намек, что отцовство было кровным. Значит ли это, что дочь Натальи Николаевны чернит свою мать? Нет, мы знаем, что царь часто пользовался правом первой ночи, когда фрейлины его жены выходили замуж, и не пренебрегал замужними женщинами. Француз Галле де Кюльтюр, долго живший в России и знавший привычки самодержца, с удивлением отмечает, что «нет еще примеров, чтобы обесчещенные мужья или отцы не извлекли прибыли от своего бесчестья». Когда он спросил одну из светских дам, как бы отнесся ее муж, если бы на нее пал выбор царя, она сказала: «Мой муж никогда не простил бы мне, если бы я ответила отказом»¹⁸. Не таков был Пушкин — поэтому так часты в его письмах к жене просьбы-предупреждения: «не кокетничай с ц[арем]» (XV, 87). В жене он был уверен, не уверен был в царе и, конечно, не хотел, чтобы у того возникла возможность сделать нескромное предложение его жене. Он был не из тех мужей, которые искали бы «прибыли» от своего бесчестия. Не такой была и сама Наталья Николаевна. Она, конечно, была увлечена Дантесом. Об этом свидетельствуют и письма Карамзиных, и два письма Дантеса своему «приемному отцу» Геккерну от начала 1836 г. Из них ясно, что между Дантесом и одной замужней светской красавицей (имя ее не называется, но из контекста ясно, что речь идет о Пушкиной) произошло объяснение во взаимных чувствах. Дама решительно отвергла притязания Дантеса, подчеркнув, что супружеская верность для нее — святыня. Она ответила ему, как Татьяна Ларина, отказом, поставив долг выше чувства.

Легенда о связи с царем подкреплена и эпизодами позднейшей жизни вдовы Пушкина. Выполняя предсмертную волю поэта, она на два года уехала к брату в Полотняный Завод. Вернувшись в Петербург в январе 1839 г., жила вдаль от света, встречаясь только с друзьями покойного мужа. Арапова рассказывает, как в канун Рождества 1841 г. Наталья Николаевна, вы-

¹⁸ Вересаев В. Спутники Пушкина. Л., 1937. Т. 1. С. 427.

бирая в английском магазине подарки своим детям, неожиданно встретила с царем. Царь изволил с ней милостиво разговаривать, а потом выразил тетке ее Е. И. Загрязской пожелание, чтобы Наталья Николаевна, как и в прежние времена, украшала своим присутствием царские балы.

Так начался второй виток светской карьеры Н. Н. Пушкиной. 16 июля 1844 г. она вышла замуж за кавалергардского генерал-майора П. П. Ланского. После смерти Пушкина прошло семь лет. Перед смертью он сказал ей: «Отправляйся в деревню, носи по мне траур два года и потом выходи замуж, только не за шалопая». Так вспоминала слова Пушкина В. Ф. Вяземская¹⁹. В передаче подруги Натальи Николаевны Е. А. Долгоруковой этот совет выглядит несколько иначе: «Носи по мне траур два или три года. Постарайся, чтоб забыли про тебя. Потом выходи опять замуж, но не за пустозвона»²⁰. Генерал Ланской не был «пустозвоном», и вдова поэта в замужестве обрела тихую пристань. Но молва не оставляла ее в покое. Генерал Ланской сделал хорошую карьеру. То, что в 1844 г. он стал командиром Кавалергардского полка, приписывали не его личным заслугам, а особому отношению царя к его жене. Легенда о связи Натальи Николаевны с царем опиралась на еще один эпизод, записанный в начале этого века В. Е. Якушкиным. В Московский исторический музей, как рассказывает Якушкин, пришел неизвестный человек и предложил купить у него золотые часы с вензелем Николая I. За часы он запросил 2000 рублей — сумму, по тем временам огромную, вызвавшую удивление сотрудников. Тогда он открыл вторую, секретную крышку часов, в которую был вделан миниатюрный портрет Натальи Николаевны. По словам владельца, часы принадлежали его деду, а дед служил камердинером у Николая I и, когда царь умер, взял эти часы, «чтобы не было неловкости в семье»²¹. Неизвестному было сказано, что о его предложении следует подумать, и было предложено зайти еще раз. Он ушел, и больше ни о нем, ни о часах ничего не известно. Д. Д. Благой высказал предположение, что «скорее всего часы были лжкой подделкой в расчете, что на такое сенсационное предложение клонут и сразу же — сгоряча — согласятся за любую цену их приобрести»²². Возможно, что пита-

¹⁹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 164.

²⁰ Рус. арх. 1908, Кн. 3. С. 295.

²¹ Якушкин В. Е. Часы Николая I // Московский пушкинист. М., 1930. Кн. 2. С. 267—268.

²² Благой Д. Д. Новые неустанные поиски. Новые ценные находки // Ободовская И., Дементьев М. После смерти Пушкина: Неизвестные письма. М., 1980. С. 16.

тельной средой для возникновения такой идеи с часами являлись воспоминания Араповой.

Миф о связи Натальи Николаевны с царем подхватил В. В. Вересаев. Рассказав в своей книге «Спутники Пушкина» об успешной карьере П. П. Ланского, он сделал такой вывод: «Все эти данные с большою вероятностью говорят за то, что у Николая завязались с Натальей Николаевной очень нежные отношения, результаты которых пришлось покрыть браком с покладистым Ланским»²³.

Опубликованная И. Ободовской и М. Дементьевым переписка Н. Н. Пушкиной и ее родных после смерти поэта опровергает домыслы о связи ее с царем. Мы узнаем, что встреча Ланского с вдовой поэта и их супружество состоялись не без участия родных. Брат Натальи Николаевны Иван Николаевич осенью 1843 г. провел в Баден-Бадене. Там же лечился и Ланской. Когда Ланской возвращался в Петербург, Иван Николаевич просил передать сестре посылку. Это послужило поводом для знакомства, и вскоре Ланской сделал вдове поэта предложение. В мае 1844 г. Александра Николаевна, которая все эти годы жила с сестрой, писала старшему брату Дмитрию: «Я начну свое письмо, дорогой Дмитрий, с того, чтобы сообщить тебе большую и радостную новость: Таша выходит замуж за генерала Ланского, командира Конногвардейского полка. Он уже не очень молод, но и не стар, ему лет 40. <...> у него благородное сердце и самые прекрасные достоинства. Его обожание Таши и интерес, который он выказывает к ее детям, являются большой гарантией их общего счастья»²⁴.

Мы видим, что уже ко времени женитьбы карьера Ланского была вполне успешной и ему нечего было «покрывать». Вдова поэта была с ним счастлива. У нас нет ее писем к Пушкину, однако есть ее письма к Ланскому, которые рисуют ее доброй, любящей женой и самоотверженной матерью. Но воспоминания о Пушкине оставались священными для нее, и можно думать, что сознание вины тоже не оставляло ее до конца дней. Современница вспоминает, что все годы после смерти поэта «один из дней недели, именно пятницу (день кончины Пушкина — пятница, 29 января) она предавалась печальным воспоминаниям и целый день ничего не ела»; в 1855 г. она познакомилась в Вятке с отбывавшим там ссылку М. Е. Салтыковым-Щедриним, приняла в нем большое участие и, пользуясь связями Ланского, добилась его освобождения, «как говорят, в память о покойном

²³ Вересаев В. Спутники Пушкина. Т. 1. С. 436.

²⁴ Ободовская И., Дементьев М.: 1) После смерти Пушкина. С. 129—130;

2) Наталья Николаевна Пушкина. М., 1985. С. 290.

своим муже, некогда бывшем в положении, подобном *Салтыкову*²⁵. Она была преданной матерью, и к ней тянулись не только свои дети, но и дети ее родных и друзей. Особенно отличала она Льва Павлищева, про которого мужу писала: «Горячая голова, добрейшее сердце, вылитый Пушкин»²⁶.

Отметим, что домашнюю жизнь Пушкина и облик его жены исследователи воссоздают, главным образом на основании писем Пушкина к ней. После того как И. С. Тургенев опубликовал их²⁷, первый биограф Пушкина П. В. Анненков писал: «Письма Пушкина чаруют меня по-прежнему (<...> семейная мина Пушкина так же хороша, как поэтическая и жизненная вообще его мина: я имею слабость любоваться ею и, конечно, хотел бы, чтобы при сем удобном случае кто-нибудь из знающих поговорил о ней серьезно и умно»²⁸.

Надежды Анненкова не оправдались. Размышления о «семейной мине» Пушкина дали исследователям прежде всего повод для обличения его жены. Статьи такого рода появились сразу после публикации Тургенева. Критик В. М. Марков нашел, что эти письма — «крайне грустный» документ. Он усмотрел в них «полное отсутствие каких бы то ни было мыслей, интересов, возвышающихся над ежедневными мелочами самой дюжей домашней жизни»²⁹. Эта тенденция была продолжена при позднейших обращениях к письмам Пушкина. А. Ф. Кони, в юбилейной речи 1899 г., названной «Нравственный облик Пушкина», касаясь семейной жизни поэта, объявлял, что его «сознательный и обдуманый выбор был неудачен»³⁰. Затем В. В. Сиповский в статье «А. С. Пушкин по его письмам» развил тезис Кони, обратившись к характеристике Натальи Николаевны. Для него она «легкомысленная до жестокости, пустая, холодная женщина»³¹. Суровую характеристику Натальи Николаевны и утверждение о фатальной роли ее в жизни Пушкина Сиповский подтверждает ссылками на фальсифицированные записки А. О. Смирновой, которым вполне доверяет, хотя и признает, что в них *Dichtung* (художественный вымысел — нем.) порой превышает *Wahrheit* (действительность — нем.). Столь же суро-

²⁵ Воспоминания Л. Спасской цит. по статье: *Благой Д. Д.* Новые неустанные поиски. Новые ценные находки. С. 39—41.

²⁶ *Ободовская И., Деметьев М.* Наталья Николаевна Пушкина. С. 303.

²⁷ См.: *Вестн. Европы.* 1878. № 1. С. 7—46; № 3. С. 5—38.

²⁸ М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1912. Т. 3. С. 352—353.

²⁹ *Голос.* 1878. 9 февр.

³⁰ *Кони А. Ф.* Нравственный облик Пушкина//*Вестн. Европы.* 1899. Т. 5. № 10. С. 492—525.

³¹ См.: *Сиповский В. В.* А. С. Пушкин по его письмам//*Памяти Л. Н. Майкова.* СПб., 1902. С. 455—468.

вый приговор жене поэта, и опять же на основании его писем к ней, Сиповский повторяет в книге «Жизнь и творчество Пушкина». Окончательный его вывод таков: «Супруга поэта (<...>) пустая женщина, интересующаяся только московскими сплетнями, нуждающаяся в том, чтобы ее забавляли». Не видев писем самой Натальи Николаевны, он считает возможным утверждать, что «она (<...>) делилась с мужем тем, что было единственным интересом для ее убогой души»³².

Еще более ничтожный облик жены поэта выстраивает по письмам к ней Пушкина авторитетный пушкинист и историк П. Е. Щеголев. В его книге, посвященной дуэли и смерти Пушкина, читаем: «Если из писем Пушкина к жене устранить сообщения фактического, бытового характера, затем многочисленные фразы, выражающие его нежную заботливость о здоровье и материальном положении жены и семьи, и по содержанию остающегося материала попытаться осветить духовную жизнь Н. Н. Пушкиной, то придется свести эту жизнь к весьма узким границам, к области любовного чувства на низшей стадии развития, к переживаниям, вызванным проявлениями обожания ее красоты со стороны ее бесчисленных светских почитателей. При чтении писем Пушкина, с первого до последнего, ощущаешь атмосферу пошлого ухаживания. Воздухом этой атмосферы, раздражавшей поэта, дышала и жила его жена. При скудности духовной природы главное содержание внутренней жизни Натальи Николаевны давал светско-любовный романтизм. Пушкин беспрестанно упрекает и предостерегает жену от кокетничанья, а она все время делится с ним своими успехами в деле кокетства и беспрестанно подозревает Пушкина в изменах и ревнует его. И упреки в кокетстве, и изъявления ревности — неизбежный и досадный элемент переписки Пушкиных»³³.

Образ Натальи Николаевны, который создал в своей книге Щеголев, долгое время гипнотически действовал на авторов биографических и художественных произведений о Пушкине. Особенно беспощадно относились к Н. Н. Пушкиной женщины-поэты М. Цветаева и А. Амхатова. Для Цветаевой супруги Пушкины — «пара по силе, идущей в разные стороны (<...>) пара друг от друга». «Друг от друга» потому, что для жены «страсть к балам — то же, что пушкинская страсть к стихам: единственная возможность выявления (явиться — выявиться!)». «Зал и бал — ее естественная родина...», «А дома она зевала,

³² Сиповский В. В. Пушкин: Жизнь и творчество. СПб., 1907. С. 361, 367.

³³ Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 53. О переписке Пушкина с женой см.: Левкович Я. Л. Письма Пушкина к жене // Пушкин А. С. Письма к жене. Л., 1986. С. 87—106.

изнывала, даже плакала». Дома она была «богиней, превращающейся в куклу, возвращающейся в небытие»³⁴.

Цветаева писала свою статью о Гончаровой (для нее она и после замужества оставалась Гончаровой, Пушкиной она ее ни разу не называет) еще до появления «тагильской находки» — писем семейства Карамзиных к уехавшему за границу А. Н. Карамзину. Ахматова вынесла свой вердикт жене поэта уже после появления этой переписки. Она обрушивает на нее всю горечь за его гибель. Ахматову захлестывает гнев против всех, кто был рядом с Пушкиным и не спас его. Все семейство Карамзиных для нее дантесовская «веселая шайка», которая «была за Жоржа — белокурого остроумного котильонного принца», а Наталья Николаевна не меньше, чем «агентка» Геккерн, потому что «она одна могла пересказывать мужу увещевания посланника и новеллы о благородстве Дантеса»³⁵. Она же, по мнению Ахматовой, «снабдила мужа достаточным материалом для бешенства самого безудержного»³⁶. Так доверчивость и правдивость жены поэта расцениваются Ахматовой как предательство.

Под влиянием книги Щеголева пишет свою драму о Пушкине «Последние дни» (1940) и М. А. Булгаков. Он заимствует из нее не только сам образ Натальи Николаевны как пустой и бездушной светской дамы, но и некоторые сюжетные ходы. В книге Щеголева приводится «Рассказ князя А. В. Трубецкого об отношениях Пушкина к Дантесу». Простодушный князь поверил в рассказанную Дантесом и заимствованную у Боккаччо историю с обличительным поцелуем³⁷. Булгаков ввел этот эпизод в пьесу. Эффектная сцена была рассчитана на зрительский интерес, но унижала и жену поэта, и его самого.

При поверхностном чтении писем Пушкина к жене кажется, что Щеголев как будто бы прав: действительно, и светские успехи Натальи Николаевны, и ее многочисленные поклонники, и естественное для молодой женщины кокетство — все это интересует, задевает, волнует Пушкина. Волнует, но не раздражает. Пушкин гордится своей «красавицей». Он часто в разездах и боится, чтобы его жена не сделала в свете ложного шага.

Идеал замужней женщины Пушкина — Татьяна Ларина. Уездная, потом «московская» барышня (как и жена поэта), Татьяна заняла достойное место в петербургских салонах.

³⁴ Цветаева М. Мой Пушкин. М., 1967. С. 204, 206.

³⁵ Ахматова А. О Пушкине. М., 1977. С. 118.

³⁶ Там же. С. 123.

³⁷ В одной из новелл Боккаччо муж пачкает губы сажей, целует жену и оставляет ее в темноте с возлюбленным. Потом замечает, что губы возлюбленного испачканы сажей.

Татьяну — уездную барышню и Татьяну — светскую даму, какой увидел ее на балу Онегин, разделяют три года. Как менялась Татьяна, как происходила метаморфоза, поразившая Онегина, мы не знаем — в романе мы видим ее результат:

Она была нетороплива,
 Не холодна, не говорлива,
 Без взора наглого для всех,
 Без притязаний на успех,
 Без этих маленьких ужимок,
 Без подражательных затей...
 Все тихо, просто было в ней,
 Она казалась верный снимок
 Du comme il faut...

⟨ ⟩

Никто бы в ней найти не мог
 Того, что модой самовластной
 В высоком лондонском кругу
 Зовется vulgar...

(VI, 171, 172)

В письмах Пушкина — процесс. Об эталоне поведения светской дамы он говорит в письме к Наталье Николаевне словами из романа, переводя стихотворные строки в прозаический регистр: «Я не ревнив, да и знаю, что ты во все тяжкое не пустишься; но ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московской барышней, все, что не *comme il faut*, все, что *vulgar*... Если при моем возвращении я найду, что твой милый, простой, аристократический тон изменился; разведусь, вот те Христос, и пойду в солдаты с горя» (30 октября 1833 г. — XV, 89). Щеголев прав: Пушкин действительно часто предостерегает жену от кокетства. Почему? Объяснение этому мы находим в его дневнике. 14 апреля 1834 г. Пушкин записывает: «Ропщут на двух дам, выбранных для будущего бала в представительницы п(етер)б(ургско)го дворянства: княгиню К. Ф. Долгоруку и гр(афиню) Шувалову. Первая наложница кн. Потемкина и любовница всех итальянских кастратов, а вторая — кокетка польская, т. е. очень неблагопристойная; надобно признаться, что мы в благопристойности общественной не очень тверды» (XII, 326). Именно как признак неблагопристойности общественной упоминается кокетство и в письмах к жене: «Ты, кажется, не путем искокетничалась. Смотри: недаром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона» (30 октября 1830 г. — XV, 88). «Дурной тон» — вот чего больше всего боится Пушкин. Однако он понимает, что молодость и красота берут свое («...будь молода, потому что ты молода — и царствуй, потому что ты прекрасна» — 14 июля 1834 г. — XV, 181), и гордится успехами жены («Кто же еще

за тобой ухаживает кроме Огорева? пришли мне список по азбучному порядку» — 21 октября 1833 г. — XV, 87). Отметим, что все упреки в кокетстве, все опасения, что жена может сделать ложный шаг в свете, относятся к первым двум годам их совместной жизни. Потом эти темы из писем Пушкина уходят. Поведение жены в свете уже не волнует поэта. Она стала опытной, научилась увереннее держаться, вполне могла обходиться без «подражательных затей», и, как в пушкинской героине, «все просто, тихо было в ней». Все так — до катастрофы.

Долго не было в поле зрения исследователей писем самой Натальи Николаевны. Только в 1971 г. мы услышали голос жены поэта, и это поколебало ставшие уже почти привычными представления об облике этой женщины. Был найден большой массив писем ее к брату Дмитрию, писанных в то время, когда она была женой Пушкина, а вслед за этим были опубликованы и письма ее ко второму мужу П. П. Ланскому³⁸. Письма к брату изменили устойчивое мнение о жене поэта как о пустой светской красавице, далекой от интересов и забот мужа, и раскрыли новые, неожиданные стороны ее характера: душевную щедрость, отзывчивость и одновременно практичность. Мы узнаем, что Наталья Николаевна выполняет деловые поручения мужа по изданию «Современника», использует светские связи, чтобы помочь брату. Через все ее письма проходит один лейтмотив — недостаток средств (вспомним так часто повторяющееся в письмах к ней пушкинское «чем нам жить будет?»). Одно из писем (июль 1836 г.) раскрывает психологическое состояние поэта в тот период: «Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими мелкими хозяйственными хлопотами, и без того я вижу, как он печален, подавлен, не может спать по ночам и, следовательно, в таком настроении не в состоянии работать, чтобы обеспечить нам средства к существованию: для того чтобы он мог сочинять, голова его должна быть свободна»³⁹. Пять месяцев отделяет это письмо от анонимного пасквиля и первого вызова на дуэль, душевное состояние поэта еще скрыто от друзей, и Софья Карамзина, не найдя во втором томе «Современника» «ни одной строчки Пушкина», называет поэта «беззаботным и ленивым»⁴⁰. Письмо жены объясняет, почему он не может отдаться творчеству. По-видимому, в ответном письме Д. Н. Гон-

³⁸ См.: Ободовская И., Дементьев М. 1) Неизвестные письма Н. Н. Пушкиной/Пер. с франц. И. Ободовской//Лит. Россия. 1971. 23 апр.; 2) Вокруг Пушкина: Неизвестные письма Н. Н. Пушкиной и ее сестер Е. Н. и А. Н. Гончаровых. М., 1975; 3) После смерти Пушкина: Неизвестные письма. М., 1980; 4) Наталья Николаевна Пушкина. М., 1985.

³⁹ Ободовская И., Дементьев М. Вокруг Пушкина. С. 175—176.

⁴⁰ Пушкин в письмах Карамзиных. С. 81.

чаров советует семье поэта переехать в деревню, так как в следующем письме Наталья Николаевна пишет: «Что касается советов, что ты мне даешь, то еще в прошлом году у моего мужа было такое намерение, но он не мог его осуществить, так как не смог получить отпуск»⁴¹. Имеются свидетельства родных поэта, что жена его решительно противилась отъезду из Петербурга. Но здесь нет собственного отношения к советам покинуть Петербург — только констатация внешних обстоятельств, нет и противоречия желаниям мужа. Как обстояло дело в действительности, мы не знаем. Разъяснить истинное отношение Натальи Николаевны к отставке мужа могли бы, конечно, ее письма к нему. Основная тема писем к брату — денежные заботы — определена его положением главы семьи Гончаровых. Естественно, что письма к мужу раскрыли бы совсем другие стороны ее характера, суждения о свете и светских связях, отношение к тем советам и предостережениям, которыми наполнены письма Пушкина. Щеголев писал, что письма ее находятся в Румянцевском музее. Надежда ученого не сбылась — этих писем там нет и не было⁴². На основе писем к брату создается новый миф о жене поэта. Но теперь исследователи впадают в другую крайность, видя в ней прежде всего заботливую жену и мать, забывая, что она была украшением петербургских салонов и что Пушкин гордился этим. «Гуляй, женка; только не загуливайся и меня не забывай» (XV, 89), — просил он жену и радовался, что она «блистает» в свете, как прилично в ее лета и с ее красотой.

Облик заботливой жены и матери создается, главным образом, по ее письмам к П. П. Ланскому, за которого она вышла замуж в тридцать два года и от которого родила еще троих детей. Со спокойным, уравновешенным Ланским она нашла свое счастье. «Благодарю тебя за заботы и любовь, — писала она ему. — Целой жизни, полной преданности и любви, не хватило бы, чтобы их оплатить. В самом деле, когда я иногда подумаю о том тяжелом бремени, что я принесла тебе в приданое, и что я никогда не слышала от тебя не только жалобы, но что ты хочешь в этом найти еще и счастье, — моя благодарность за такое самоотвержение еще больше возрастает, я могу только тобою восхищаться и тебя благословлять»⁴³.

⁴¹ Ободовская И., Дементьев М. Вокруг Пушкина. С. 177.

⁴² См.: Житомирская С. В. К истории писем Н. Н. Пушкиной//Прометей. М., 1971. Т. 8. С. 148—165. Ср.: Левкович Я. Л. Письма Пушкина к жене. С. 105—106.

⁴³ Ободовская И., Дементьев М. Наталья Николаевна Пушкина. С. 293.

Но читая письма ко второму мужу, написанные через четырнадцать лет после первого замужества, мы должны помнить, что пишет их уже зрелая женщина, много страдавшая и много пережившая. Теперь ей уже в тягость и светские успехи, и поклонники ее красоты. Да, она стала домоседкой, любила мужа и детей, оценила покой. Именно стала, а не была домоседкой всегда. Однако исследователи часто переносят в прошлое облик женщины, пережившей трагедию и обретшей тихое семейное счастье. «Исключительная любовь к детям, — читаем мы у Д. Д. Благого, — постоянная потребность материнства — со всеми его не только радостями, но и огорчениями, тревогами, заботами — были характернейшей чертой ее натуры, тоже отличающей ее от большинства представительниц великосветского общества»⁴⁴. В «домоседки», которая «знает цену свету», зачисляет Наталью Николаевну и другой исследователь⁴⁵.

Все это пишется так, как будто не существует пушкинских писем с беспокойством о затянувшейся масленице, в результате которой жена его до того «доплясалась», что выкинула, как будто мы не знаем его горько-шутливого признания:

Не дай бог хорошей жены,
Хорошу жену часто в пир зовут.

(XV, 33)

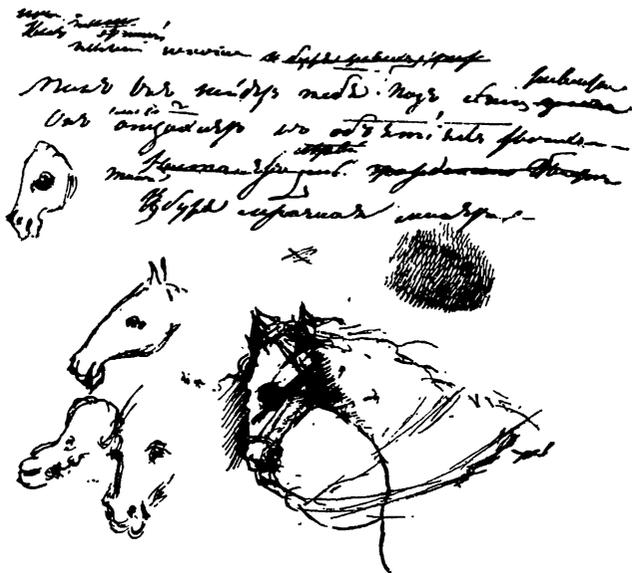
Говоря об облике жены поэта, мы вступаем в сложную область семейных отношений Пушкина. Наталья Николаевна старалась быть и была хорошей женой — но лишь до тех пор, пока на пути ее не встретился Дантес. Перед женитьбой Пушкин писал будущей теще: «Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери; я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться; если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца» (XIV, 404).

Пушкин предвидел свою участь: появилась «привычка», была «привязанность», а «спокойное безразличие сердца» нарушил Дантес.

Сколько бы ни стремились исследователи вывести гибель Пушкина за рамки семейных отношений, игнорировать эти отношения нельзя. Была «московская барышня» с провинциальной застенчивостью, была женщина с отзывчивой душой и верная жена, но были и вспыхнувшая влюбленность в «котильонного принца», и ревность Пушкина, и подлость Геккернов, и дуэль, стоившая жизни поэту.

⁴⁴ Благой Д. Д. Новые неустанные поиски. Новые ценные находки. С. 37.

⁴⁵ Кулешов В. И. Жена поэта // Ободовская И., Дементьев М. Наталья Николаевна Пушкина. С. 9.



И. С. Чистова

К СТАТЬЕ С. А. СОБОЛЕВСКОГО «ТАИНСТВЕННЫЕ ПРИМЕТЫ В ЖИЗНИ ПУШКИНА»

В 1870 г. в «Русском архиве» была напечатана статья близкого друга Пушкина, библиофила и библиографа С. А. Соболевского о «странном (...) предсказании, имевшем (...) сильное влияние»¹ на поэта. Статью эту Соболевский писал, по всей видимости, незадолго до смерти (он умер 6 октября 1870 г.) — так во всяком случае следует из не публиковавшегося прежде письма к нему петербургского приятеля Пушкина конногвардейца П. Б. Мансурова, отправленного из Теплица летом 1870 г.; подробнее об этом письме мы скажем чуть позже, а пока напомним тот эпизод из биографии Пушкина, который привлек внимание мемуариста.

¹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 2. С. 5.

Поздней осенью 1819 г.² (по другим данным — 1817-го³) Пушкин посетил известную петербургскую гадалку немку Кирхгоф, по профессии модистку, с успехом промышлявшую по приезду в северную столицу в самом начале 1810-х годов ворожкой и гадањем.

Популярность Кирхгоф была необычайно велика; известно, например, что в конце 1811 — начале 1812 гг. Александр I, предчувствовавший, что война с Наполеоном неизбежна, но в высшей степени этой войны не желавший, в своих попытках найти выход из затруднительного положения обратился за помощью к знаменитой прорицательнице.

Этот любопытный эпизод был весьма подробно воспроизведен в воспоминаниях мемуариста К. Мартенса, в молодости офицера, которому довелось стать невольным свидетелем визита императора к гадалке:

«Однажды вечером я находился у этой дамы, когда у дверей ее квартиры раздался звонок, а затем в комнату вбежала служанка и прошептала: „Император!“.

— Ради Бога, спрячьтесь в этом кабинете, — сказала мне вполголоса г-жа Кирхгоф, — если император увидит вас со мною, то вы погибли.

Я исполнил ее совет, но через отверстия, проделанные в дверях, вероятно, нарочно, мог видеть все, что происходило в зале. Император вошел в комнату в сопровождении генерал-адъютанта Уварова. Они были оба в статском платье, и по тому, как император поздоровался, можно было понять, что он надеялся быть неузнанным. Г-жа Кирхгоф стала гадать ему; хотя она говорила очень тихо, но я мог все-таки слышать.

— Вы не то, чем вы кажетесь, — сказала она... — но я не вижу по картам, кто вы такой. Вы находитесь в двусмысленном, очень трудном, даже опасном положении. Вы не знаете, на что решиться. Ваши дела пойдут блестяще, если вы будете действовать смело и энергично. Вначале вы испытаете большое несчастье, но, вооружившись твердостью и решимостью, преодолете бедствие. Вам предстоит блестящее будущее.

В то время как она говорила, император сидел, склонив голову на руку, и пристально смотрел на карты.

При последних словах он вскочил и воскликнул: „Пойдем, брат“ — и уехал вместе с ним в санях»⁴.

² См.: *Цявловский М. А.* Летопись жизни и творчества Пушкина. 1799—1826. 2-е изд. Л., 1991. С. 190.

³ См.: *Соболевский* — друг Пушкина/Со статьей В. И. Саятова. Пг., 1922. С. 30.

⁴ Рус. старина. 1902. Т. 109. С. 103—104.

Позднее, за год до декабрьских событий 1825 г., Кирхгоф объявила младшему брату декабриста И. И. Пущина М. И. Пущину, причастному к Северному обществу: «Странно говорят карты, вы будете солдат»⁵, а за две недели до восстания предрекла смерть Милорадовича⁶.

Пушкин узнал о Кирхгоф скорее всего от своих приятелей, принадлежавших к литературно-театральным кругам Петербурга. Актеры (особенно актрисы) были частыми гостями у гадалщицы. О своем визите к знаменитой вещунье поэт рассказывал друзьям; некоторые из них сохранили этот рассказ в своих воспоминаниях. Так, о визите Пушкина к Кирхгоф мы знаем со слов А. Н. Вульфа, П. В. Нащокина, Л. С. Пушкина и др.⁷ «Я часто слышал от него самого об этом происшествии, — писал Соболевский, — он любил рассказывать его в ответ на шутки, возбуждаемые его верою в разные приметы. Сверх того, он в моем присутствии не раз рассказывал об этом именно при тех лицах, которые были у гадалщицы при самом гадании. <...> Для проверки и пополнения напечатанных уже рассказов считаю нужным присоединить все то, о чем *помню положительно*, в дополнение прежнего, восстанавливая все то, что в них перебито или переиначено. Предсказание было о том, *во-первых*, что он скоро получит деньги; *во-вторых*, что ему будет сделано неожиданное предложение; *в-третьих*, что он прославится и будет кумиром соотечественников; *в-четвертых*, что он дважды подвергнется ссылке; наконец, что он проживет долго, если на 37-м году возраста не случится с ним какой беды от белой лошади, или белой головы, или белого человека (weisser Ross, weisser Kopf, weisser Mensch), которых и должен он опасаться. Первое предсказание о письме с деньгами сбылось в тот же вечер; Пушкин, возвратясь домой, нашел совершенно неожиданное письмо от лицейского товарища, который извещал его о высылке карточного долга, забытого Пушкиным. <...> Не менее странно было для него и то, что несколько дней спустя в театре его подозвал к себе Алексей Федорович Орлов (впоследствии князь) и <...> предлагал служить в конной гвардии»⁸.

Желая восстановить истинную картину встречи Пушкина с Кирхгоф, Соболевский, до конца не доверяя себе, пытался найти подтверждение известным ему фактам в свидетельствах тех, кто, по преданию, сам бывал в располагавшейся недалеко от Морской квартире гадалки, — возможно, даже вместе с Пуш-

⁵ Рус. архив. 1908. Кн. 3. С. 432.

⁶ Рус. старина. 1879. Т. 25. Кн. VI. С. 382.

⁷ См.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 1—2.

⁸ Там же. Т. 2. С. 5—6.

киным. Доказательством этому служит названное выше письмо П. Б. Мансурова Соболевскому, написанное в ответ на вопросы адресата. Приведем его полностью:

«Теплиц, $\frac{23 \text{ июля}}{4 \text{ августа}}$ 1870.

Многоуважаемый Сергей Александрович, очень сожалею, что по причине моего отсутствия из Парижа я замедлил в сообщении Вам ответа на Ваше письмо.

На вопрос, сделанный мне Вами насчет Пушкина, по давности времени мало могу припомнить; могу лишь достоверно сказать следующее: Пушкин был у знаменитой тогда карточной гадалщицы Кирхов вместе с Ник(итой) Всеволожским; Юрьев и я не присутствовали при этом. Предсказания Кирхов сделали на Пушкина довольно сильное впечатление, особенно сначала, но в скором времени оно, как нам казалось, совершенно изгладилось. Однако если кто из наших напоминал об этом, ясно видно было, что это ему неприятно; он всячески старался отклонить разговор и, когда не успевал, то сам первый хохотал весьма громко, но для тех, которые его хорошо знали, видно было, что хохот его был принужденный, что и заставляло нас совершенно прекращать всякий намек о прошедшем. Насчет предложения Алек(сея) Фед(оровича) Орлова поступить в военную службу ничего решительно сказать не могу, и это обстоятельство у меня в тумане.

Очень жаль, что один из старых близких знакомых Пушкина — Яков Николаевич Толстой, скончавшийся два года тому назад в Париже, не мог вам своевременно передать некоторые подробности. У него были письма от Пушкина, и он мне читал некоторые из них отрывки; между прочим, Пушкин осведомлялся обо мне и других товарищах, но насчет предсказаний Кирхов ничего не было упомянуто. Куда после смерти Толстого девались эти письма, мне неизвестно.

Вот все, что после 52 лет я могу припомнить и сообщить. Прошу вас верить моему уважению и преданности.

Павел Мансуров»⁹.

Павел Борисович Мансуров, участник Отечественной войны 1812 г., поручик Конно-егерского полка, страстный театрал, близкий кружку А. А. Шаховского, член «Зеленой лампы», литературно-театрального общества, в которое входили образо-

⁹ Российский государственный архив литературы и искусства, ф. 450, оп. 1, № 40.

ванные молодые люди, увлекавшиеся поэзией, музыкой, сценическим искусством и не чуждые вопросов общественных, принадлежал к числу близких друзей Пушкина. С его именем связано одно из весьма вольных пушкинских посланий, запечатлевших эпикурейское времяпрепровождение петербургской «золотой молодежи», к которой поэт примкнул по выходе из Лицея и которая группировалась вокруг родственника Мансурова Н. В. Всеволожского, в чьем доме и собирались «лампысты».

Приведенное выше письмо Мансурова к Соболевскому интересно во многих отношениях. Это еще один подлинный документ о Пушкине — письмо современника, хорошо знавшего поэта. Прежде всего следует обратить внимание на содержащееся в письме твердое заявление автора о том, что он не был с Пушкиным у Кирхгоф, — в справочной биографической литературе о поэте сведения на этот счет прямо противоположные и, как оказывается, ошибочные: и в «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина», подготовленной Т. Г. Цявловской (М., 1952; 2-е изд. Л., 1991), и в словаре Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение» (Л., 1988) сообщается, что у гадалщицы немки Кирхгод Пушкин был вместе с Мансуровым.

Но фактическое уточнение, которое позволяет сделать письмо Мансурова к Соболевскому, весьма незначительно. Ценность мансуровского письма в другом — в содержащемся там развернутом описании реакции Пушкина на пророчества легендарной предсказательницы. За полвека, прошедшие со времени упомянутого им события, Мансуров забыл, естественно, реальные обстоятельства, этому событию сопутствовавшие; в его памяти запечатлелось иное — то, что было гораздо важнее бытовых подробностей — образ Пушкина, потрясенного услышанным от гадалщицы и в течение долгого времени продолжавшего испытывать над собой власть ее таинственных предначертаний.

Рассказ Мансурова содержит не просто бытовой сюжет, а своего рода иллюстрацию к психологическому портрету поэта, подтверждающую значимость названного эпизода не во внешней, но во внутренней, душевной биографии Пушкина.

Общаясь по окончании Лицея с «отчаянными» гусарами, фрондерами, вольнодумцами и критиками, поэт стремится и в собственной личности воплотить черты столь привлекательного для него образа ироничного, трезвого рационалиста — но тщетно пытается он приглушить и умерить заложенную в него природой необычайную впечатлительность. Можно представить себе, как хотелось бы Пушкину отреагировать на предсказание Кирхгоф так, как это сделал Грибоедов, со смехом рассказывавший С. Н. Бегичеву о своем визите к гадалке в сентябре 1817 г.: «На

дней ездил я к Кирховше гадать о том, что со мною будет; да она не больше меня об этом знает; такой вздор врет, хуже Загоскина комедий»¹⁰. Пушкин, как пишет Мансуров, тоже смеялся, когда заходил разговор о гадалке, но это была лишь неудачная попытка затушевать волнение, овладевавшее им всякий раз при упоминании имени Кирхоф.

Вера в существование непознанного, таинственного, чудесного принадлежала к скрытым душевным переживаниям поэта — попытку проинтерпретировать с этой точки зрения встречу Пушкина с Кирхоф предпринял автор основанного на документальных материалах исторического романа «Дела давно минувших дней» (1888) П. П. Каратыгин, сын водевилиста и прозаика П. А. Каратыгина, историк и мемуарист, знаток александровской эпохи. Каратыгин, испытывавший большой интерес к мистическим явлениям, разного рода таинственным приметам, предсказаниям, оправдавшимся пророчествам, ввел в свой роман целую главу, посвященную Кирхоф (глава V, «Ворожея»); центральное место в ней, естественно, занимает пушкинский сюжет¹¹.

«Шарлотта Федоровна Кирхоф, вдова пастора (как говорили), приехала в Петербург на вербной неделе 1818 г. <...> Высокая ростом старуха лет 60-ти, она наружностью менее всего походила на колдунью. Довольно свежее лицо напоминало старушек Рембрандта, Жерара Доу или Деннера. <...> Черное шерстяное платье и таковая же шаль с узенькой турецкой каймой составляли ее постоянный, неизменный костюм. В знатные дома барыни приглашали ее к себе, посылая за нею свои кареты. <...> Кирхоф на ее квартире посещали преимущественно мужчины, молодые и пожилые, и не только статские, но и гвардейцы. Многие шли к ней посмеиваясь, но выходили серьезные и угрюмые; предсказаниям не верили, называли их вздором, враньем, — а между тем этот вздор фиксировался у них в памяти, а предсказание было дамокловым мечом, добровольно навешенным над их собственными головами <...> ...В приемную вошли Сосницкий и Пушкин.

— ...Неужели, Александр Сергеевич, это вас серьезно занимает?

— Как сказки старой няни: сознаешь, что пустяки, а занимательно и любопытно. Не верю, но хотелось бы верить.

¹⁰ Грибоедов А. С. Соч. М., 1988. С. 445.

¹¹ П. П. Каратыгин известен и как автор работ о Пушкине (см.: А. С. Пушкин, его дружба, любовь и ненависть//Рус. старина. 1879. № 4, 6, 8, 10, 11; 1880. № 5—7; А. С. Пушкин//Пушкин А. С. Полн. собр. соч. 2-е изд. СПб., 1887. Т. 1).

— Ох вы, вольнодумцы! Не лучше ли сказать это не о нечистой силе, а о Боге! — засмеялся Сосницкий.

— Скажу, перестановив те же слова, те же нянины сказки: верю, но хотелось бы не верить»¹².

Незамысловатый рассказ Каратыгина, не отличающийся ни глубиной изображения, ни литературным мастерством, тем не менее весьма любопытен; случайный биографический эпизод обретает в нем значение факта биографии духовной («...не верю, но хотелось бы верить»; «...верю, но хотелось бы не верить»). В беседах о серьезных предметах, которые были неотъемлемой частью бытия взрослого поэта, обсуждались как проблемы жизни внешней (уроки политической истории народов, прошлое, настоящее и будущее России, собственная роль в освобождении поращенной родины), так и вопросы, касающиеся жизни внутренней (мир чувств, движение таинственных сил души, способность раздвинуть границы эмпирического мира). Вероятно, это было типично для эпохи. Образец такой беседы находим, например, в записках Ф. Н. Глинки, зафиксировавшего свой разговор с весьма начитанной собеседницей Ниной Ахвердовой (родственницей известной П. Н. Ахвердовой — знакомой Грибоедова и Пушкина): «Целый день разговаривали мы о предметах очень важных: о жизни, ее условиях, цели, о назначении человека, о нездешнем, о внутреннем, о том, что видно только для души. <...> Поводом для этих разговоров были <...> речи ясновидящих, таинственные и возвышенные»¹³.

Вспомним также, о чем разговаривали Онегин с Ленским:

Меж ими все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою череду,
Все подвергалось их суду.

(V, 38)¹⁴

Так, чуть иронично, писал Пушкин в 1828 г. о весьма причудливом переплетении тем в беседе своих героев — «плоды наук» и «тайны гроба роковые». Однако и сам он в 1817—1819 гг., испытывая влечение к вещам иррациональным, мог

¹² Каратыгин П. П. Дела давно минувших дней. СПб., 1888. С. 21—22, 24.

¹³ Глинка Ф. Н. Любопытный отрывок из моих записок//Российский государственный архив литературы и искусства, ф. 141, оп. 1, № 27.

¹⁴ В черновом варианте: «В прогулке их уединенной/О чем не зачинали <?> спор/Судьба Души (курсив наш.—И. Ч.) Судьба вселенной/На что ни обращали взор» (V, 278).

всерьез размышлять и рассуждать о них наряду с вопросами политическими и социальными.

Да и позднее мистическое восприятие судьбы оставалось характерным для него. Эпизод с Кирхгоф имел продолжение. В бытность Пушкина в Одессе грек-предсказатель повторил предупреждение петербургской гадалки об опасности для него беловолосого человека¹⁵. В 1827 г. Пушкин живо помнил пророчество. Он написал тогда чрезвычайно злую эпигramму на белокурого красавца А. Н. Муравьева, опубликованную в «Московском вестнике». Встретив редактора журнала М. П. Погодина вскоре после выхода номера в свет, Пушкин сказал ему: «А как бы нам не поплатиться за эпигramму. — Почему? — Я имею предсказание, что должен умереть от белого человека или белой лошади»¹⁶.

Надо думать, он помнил об этом и в 1822 г., когда писал «Песнь о Вещем Олеге», и зимой 1836—1837 гг.

¹⁵ См. об этом в тетради В. Ф. Щербакова с записями о Пушкине (опубл.: *Пушкин А. С. Соч./Ред. П. А. Ефремова; Изд. А. С. Суворина.* СПб., 1905. Т. VIII. С. 109—113).

¹⁶ Рус. арх. 1870. Стб. 1947.

3

XX век:
**РАКУРСЫ
И ВАРИАНТЫ**



Я. Л. Левкович

КОЛЬЧУГА ДАНТЕСА

Трагический эпилог жизни Пушкина составляет одну из печальных страниц русской истории. Безвременная смерть гения, настигшая его «во цвете лет», «в середине (...) великого поприща»¹, ошеломила в свое время современников и вот уже более полутора сотен лет привлекает внимание исследователей и любителей литературы. «Смерть поэта — вообще незаконна. Насильственная смерть — чудовищна. Пушкин (...) будет умирать столько раз, сколько его будут любить. В каждом любящем — заново. И в каждом любящем вечно» — так писала Марина Цветаева².

¹ *Одоевский В. Ф.* Некролог Пушкина//Лит. прибавления к «Русскому инвалиду». 1837. № 5. С. 48.

² *Цветаева М.* Избр. произв.: В 2 т. Нью-Йорк, 1979. Т. 1. С. 247.

Но кроме «каждого любящего» поэта была еще любовь общепризнанная, официальная и потому как бы обязательная. Юбилейные праздники 1937 и 1949 гг. шли под знаком «наш Пушкин», «наш современник Пушкин». «Пушкин, — читаем у Б. В. Томашевского, — решительно модернизировался. Из него делали идеолога крестьянской революции, откликавшегося на последние лозунги наших дней»³. Исторические факты подчинялись превратно понятой злободневности. Модернизированный «наш современник» Пушкин вел себя в романах и пьесах, выходивших в 1930—1950-е годы, в полном согласии с требованиями, предъявляемыми положительному герою советской литературы. Он постоянно общается с простым народом (с крестьянами в деревне, с дворниками в городе, с капельдинерами в театре). Его главная вдохновительница — Арина Родионовна, которая не только подсказывает ему мотивы и образы стихотворений, но и обсуждает с ним политические события. В последний, трагический период своей жизни он обычно неудержимо весел и выступает как прямолинейный, не знающий сомнений и колебаний проповедник, стоящий на пьедестале непогрешимости и величия.

Модернизировался не только образ Пушкина с его примитивно подаваемой «близостью к народу»⁴, но и внешние приметы эпохи. Так, в рассказе В. Рождественского «Почетный гость» сцена в книжной лавке Смирдина напоминает продажу дефицитных изданий в наши дни. «Лохматая студенческая молодежь» толпится в лавке — ждет, когда привезут из типографии очередной том «Современника». Смирдин сообщает: только что пришел «целый воз» экземпляров издания, и успокаивает ожидающих: «Не толкайтесь, господа! Тише! Тише! Всем хватит!». А посетители «жадно хватают из рук приказчика еще пахнувшие типографской краской пухлые книжки в светлой обложке» и с благоговением говорят: «Подумайте, сам Пушкин»⁵. Автору нет дела до того, что журнал Пушкина не нашел своего читателя и не имел большого успеха у публики. Рождествен-

³ Томашевский Б. В. Пушкин. М.; Л., 1961. Кн. 2. С. 470.

⁴ В романе А. Еремина «После восстания», например, дворцовый Архип, рассуждая о крепостном праве, демонстрирует популярность стихотворения «Деревня» среди простого народа: «Из головы нейдут ваши стихи, Александр Сергеевич, „Здесь барство дикое, без чувства, без закона“; тут же Пушкин, помогающий другому дворовому расчищать дорожку, удостоивается похвалы: «Вроде и не барин. Ишь выходит как аккуратно» (Еремин А. После восстания. Горький, 1958. С. 168, 177). В пьесе А. Комаровского и А. Сумарокова «Изгнанник» Пушкин читает «Деревню» молдавскому крестьянину, который «кланяется ему земным поклоном» и тут же «пророчески» (как гласит авторская ремарка) заверяет поэта, что его творчество переживет не одно поколение (Комаровский А., Сумароков А. Изгнанник: (Пушкин в Молдавии). Кишинев, 1954. С. 16—17).

⁵ Ленинские искры. 1949. 27 апр.

ский строит сюжет априорно: Пушкин — передовой писатель своего времени; в пушкинскую эпоху рождалась передовая разночинная молодежь, которая вскоре приняла эстафету дворянских революционеров; передовая разночинная молодежь должна была чтить Пушкина и читать его журнал.

Литература 1930—1950-х годов была питательной средой для рождения социально окрашенных мифов. Начиная с 1920-х годов рушились краеугольные для XIX в. нравственные постулаты, в том числе и такие понятия, как честь. Перевернутым поэтому оказалось представление о причинах, вызвавших дуэль поэта. В поле зрения исследователей в первую очередь попадали его конфликт с царем и светом, с ближайшими друзьями, материальные трудности, козни министра Уварова, и только в последнюю очередь упоминалась истинная причина дуэли — защита чести своей жены и своей семьи. Именно в это время возникла и оказалась очень устойчивой легенда, в которой «нашему» Пушкину противостоял «не наш» (иноземец) Дантес. Согласно этой легенде, во время дуэли на Дантесе была кольчуга или еще какое-то защитное приспособление, и потому он не был убит, а отделался легким ранением. Нужно сказать, что современники думали иначе: они считали, что пуля, пробив руку Дантеса, натолкнулась на пуговицу его сюртука и рикошетировала. Правда, сведения, которые мы имеем об этом, крайне противоречивы, а сам разнородный мнений свидетельствует о том, что современники не придавали большого значения истории с пуговицей. О ней пишут Жуковский, Вяземский, С. Н. Карамзина, Либерман, Люцероде. Но одни (Карамзина) упоминают о сюртуке⁶, другие (пруссский посланник Либерман) — о мундире⁷, третьи (Жуковский) — о «пуговице, которою панталоны держались на подтяжке против ложки»⁸. Не упоминают о ней только очевидцы-секунданты — Данзас и д'Аршиак.

Легенда о кольчуге, несмотря на все старания специалистов ее опровергнуть, имеет широкое хождение, учителя рассказывают ее в школах, поэты сочиняют о ней стихи, она появляется в популярных биографических книгах. С ней связывают просьбу Геккерна об отсрочке дуэли на две недели: «Лишь страстное желание спасти Дантеса от пули, — пишет А. Гессен, — могло побудить Геккерна после получения им резкого и до крайности оскорбительного письма Пушкина обратиться к нему с просьбой о двухнедельной отсрочке дуэли: ему, видимо, нужно было вы-

⁶ См.: Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.; Л., 1960. С. 168.

⁷ См.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы. 4-е изд. М., 1987. С. 339.

⁸ Там же. С. 155.

играть время, чтобы успеть заказать и получить для Дантеса панцирь»⁹. Поддержал эту версию и известный литературовед П. Н. Берков. Рассказав историю с кольчугой и сообщив читателям, что советское пушкиноведение не приняло ее безоговорочно, он счел все же, что вопрос «не решен окончательно»¹⁰. Не так давно об этой легенде снова вспомнили авторы книги под многообещающим названием «В поисках истины», вышедшей во внушающем уважение издательстве «Юридическая литература»¹¹. На эту последнюю публикацию откликнулся Игорь Стрежнев, посвятив «панцирной рубашке для Дантеса» одну из своих статей¹². Стрежнев подробно излагает историю появления легенды, поэтому мы остановимся только на ключевых моментах ее возникновения и бытования.

Легенда возникла в начале 1930-х годов. В доме писателей в Малеевке, где отдыхал в это время В. В. Вересаев, в одной из бесед речь зашла о дуэли Пушкина с Дантесом. Некий архангельский литератор тут же включился в беседу и рассказал, будто в Архангельске, в старинной книге для приезжающих он видел запись о том, что незадолго до дуэли Пушкина от Геккерна приезжал человек и поселился на улице, где жили оружейники. Рассказ, по-видимому, адресовался в первую очередь Вересаеву, который в это время работал над книгой о Пушкине. В беседе принимал участие писатель И. Рахилло. Сам Вересаев об этом разговоре не писал, и сообщенные ему сведения приводит Рахилло в статье «Рассказ об одной догадке»¹³. Из статьи Рахилло мы узнаем, что Вересаев поверил в эту историю и позднее безуспешно пытался вспомнить фамилию рассказчика. Рахилло рассказывает и о письме, полученном Вересаевым с Урала от какого-то инженера, который решил проверить версию с пуговицей с помощью эксперимента: «Устроив манекен и надев на него старый френч с металлической пуговицей, я зарядил пистолет круглой пулей и с десяти шагов, как это было на дуэли у Пушкина, выстрелил в пуговицу (. . .) пуля не только не отлетела от пуговицы, а вместе с этой самой пуговицей насквозь прошла через манекен»¹⁴.

Фамилии инженера, приславшего ему это письмо, Вересаев не назвал, но еще в 1939 г. в журнале «Сибирские огни» была

⁹ Гессен А. Набережная Мойки, 12. М., 1960. С. 226.

¹⁰ Берков П. Н. О людях и книгах: Из записок книголюбца. М., 1965. С. 51—68.

¹¹ Ищенко Е. П., Любарский М. Г. В поисках истины. М., 1986.

¹² Стрежнев И. Панцирную рубашку для Дантеса // Стрежнев И. «К студеным северным волнам». Архангельск, 1989. С. 154—161.

¹³ Рахилло И. Рассказ об одной догадке // Москва. 1959. № 12. С. 171—178.

¹⁴ Там же. С. 173.

напечатана статья инженера М. Комара под названием «Почему пуля Пушкина не убила Дантеса»¹⁵, из которой следовало, что эксперимент с манекеном был проделан именно им.

Проверить версию о панцире попытался Б. С. Мейлах. По его инициативе в Архангельский архив был послан запрос с просьбой сообщить, имеются ли там сведения о пребывании в городе таинственного человека «от Геккерна». Ответ был отрицательный — никаких данных, подтверждающих рассказ «архангельского литератора», обнаружено не было.

В 1963 г. легенда о кольчуге обрела новую жизнь — она была распространена аппаратом ТАСС по всем более или менее крупным газетам Советского Союза под сенсационным названием «Эксперты обвиняют Дантеса». Эксперты (правильнее было бы употребить единственное число) — это Сафронов, врач, специалист по судебной медицине, опубликовавший статью о дуэли Пушкина, где он обвинял Дантеса в преднамеренном убийстве поэта. Статья так и называлась «Поединок или убийство?»¹⁶. Чтобы придать своей гипотезе большую убедительность, Сафронов попытался отвергнуть версию о пуговице. Он утверждал, что Дантес был одет в сюртук, на котором пуговицы располагались «в один ряд на средней линии груди» и, таким образом, «далеко отстояли от места удара пули в грудь Дантеса»; вторым его доводом был тот, что офицерские пуговицы делались из «тонкого олова, покрытого сверху тончайшими листками латуни», т. е. из мягкого металла, и, следовательно, от такой пуговицы пуля отскочить не могла.

Сенсационное сообщение ТАСС проникло в зарубежную печать. Результаты не замедлили сказаться. Через три недели после этого в Пушкинский Дом приехал корреспондент венгерской газеты, заинтересовавшийся этим сообщением. 18 мая сообщение было напечатано во французской газете «Paris match»¹⁷, а во французском журнале «Le guban rouge»¹⁸ появилась статья Флерю де Лангло «Дело Дантеса—Пушкина». Статья очень сочувственная по отношению к поэту, поведение Дантеса перед дуэлью трактуется в ней как «лукавое и отталкивающее». Автор приводит сообщение ТАСС и спрашивает, на каких документальных данных основана версия о кольчуге.

¹⁵ Комар М. Почему пуля Пушкина не убила Дантеса//Сибирские огни. 1939. № 11. С. 157—176.

¹⁶ Сафронов И. Поединок или убийство?//Нева. 1963. № 2. С. 200—203. Этой же сенсационной теме была посвящена статья В. Гольдинер «Факты и гипотезы о дуэли А. С. Пушкина» (Сов. юстиция. 1963. № 3. С. 22—24), написанная на основе статьи Сафронова.

¹⁷ Paris match. 1963. N 736.

¹⁸ Le guban rouge. 1963. N 19.

Игнорировать этот вопрос нельзя, так же как нельзя считать, что наука не должна иметь отношения к этой легенде. Она прямо связана с биографией Пушкина потому, что уводит внимание от истинных причин гибели поэта и способствует неисторическому взгляду на исторические события и лица.

В каждую эпоху подлещи имеют свой, свойственный этой эпохе исторический характер и свои стимулы поведения. Подлец в пушкинскую эпоху мог насмерть забить крепостного, обесчестить замужнюю даму или девицу (иногда идя даже на риск возмездия), но он не мог, отправляясь на поединок, надеть защитное приспособление — даже в случае легкого ранения оно было бы обнаружено, а это неизбежно привело бы к остракизму: ни один порядочный человек не подал бы ему руки, он был бы отрешен от общества.

Версия Вересаева—Сафронова детально была еще раз рассмотрена и опровергнута Б. С. Мейлахом¹⁹. Не перечисляя всех приведенных им доводов, укажем, что он основывался на заключении о работе Сафронова, написанном крупнейшими специалистами по военному костюму и знатоками пушкинской эпохи Я. И. Давидовичем, Л. Л. Раковым и В. М. Глинкой. Они опровергали основные доводы Сафронова и утверждали, что однобортных сюртуков (так описывает одежду Дантеса Сафронов) в русской армии не было, а были двубортные с двумя рядами пуговиц; кроме того, офицерские пуговицы выливались из твердых сплавов — потому-то современники и соглашались с существовавшей версией ранения Дантеса.

Несмотря на отпор, который дали легенде о кольчуге специалисты, она оказалась очень устойчивой. Правда, кольчуга была уже достаточно скомпрометирована. И тогда вместо нее на Дантесе появляется новый вид защитной одежды — кираса. Версия о кирасе была выдвинута в 1968 г. М. И. Яшиным, человеком, изучавшим историю последних дней Пушкина и обогатившим ее некоторыми новыми данными²⁰. Для подкрепления версии о кирасе Яшин проводит скрупулезное исследование со ссылками на архивные документы — исходящие журналы Кавалергардского полка с записями результатов испытаний кирас как защитного средства от холодного и огнестрельного оружия. Мы узнаем, что кирасы испытывались в 1835—1836 гг. в полку, где

¹⁹ См.: Мейлах Б. С.: 1) Дуэль, рана и лечение Пушкина: О некоторых распространенных гипотезах//Неделя. 1966. № 2. С. 89; 2) Талисман. М., 1975. С. 148—154.

²⁰ См.: Яшин М. И. История гибели Пушкина//Нева. 1968. № 2. С. 186—198; № 6. С. 191—197; 1969. № 3. С. 174—187; № 4. С. 176—189; № 12. С. 178—192. См. также рецензию на эту статью: Левкович Я. Л. Две работы о дуэли Пушкина//Рус. лит. 1970. № 2. С. 211—219.

служил Дантес, что одно из испытаний было проведено 18 мая 1836 г., т. е. всего за восемь месяцев до дуэли, и еще много других подробностей (например, где можно было заказать кирасу, сколько она могла стоить, кто и по чьим заказам их изготовлял); оставалось неясным только одно: каким образом можно было кирасу (а в 1830-е годы они изготовлялись из кованого железа) запрятать под военный мундир или военный сюртук, не изменив своего внешнего вида.

Мы видели, что Сафронов вынес в заглавие своей статьи слово «убийство». Яшин пытался обосновать эту версию. Легенда о кольчуге—кирасе приобретает, таким образом, новый аспект: дуэль Пушкина трактуется уже как организованное убийство, в котором принимал невольное участие друг Пушкина, его секундант Данзас. Обвинения против Данзаса строятся на основе дуэльного кодекса. Яшин сообщает, что кодекс предписывал секундантам осмотреть одежду противника, пригласить врача на место дуэли, а непосредственно после нее составить подробный протокол поединка. Ни одно из этих правил не было выполнено.

Соотнеся поступки Данзаса с дуэльным кодексом, необходимо выяснить, как относился к дуэльному кодексу сам Пушкин. В день дуэли в 10 часов утра у Пушкина еще не было секунданта, и в ответ на настойчивые напоминания секунданта Дантеса д'Аршиака поэт писал, что он «не согласен ни на какие переговоры между секундантами», так как не хочет «посвящать петербургских зевак» в свои семейные дела, что своего секунданта привезет только на место встречи и даже согласен заранее принять секунданта, которого выберет ему Геккерн, а также предоставляет противнику выбор часа и места дуэли. «По нашим, по русским, обычаям, — заключает поэт, — этого достаточно» (XVI, 225—226, 409—410). Это было демонстративное противопоставление дуэльного законодательства бытующей практике поединков в России, а Пушкин был опытным дуэлянтом.

Отказ Данзаса от осмотра одежды Дантеса Яшин называет «игрой в благородство». Нам кажется, что слово «игра» следует вычеркнуть. Мы не знаем ни одной дуэли и ни одного литературного описания дуэли, когда бы секунданты осматривали одежду противника, — подобная проверка могла поставить проверяющего в смешное положение, вызвать пересуды, возмущение и даже новую дуэль. В качестве примера «неукоснительного выполнения» правил дуэли Яшин приводит известный поединок Шереметева с Завадовским, когда Завадовский «отдал своему секунданту Каверину часы, чтобы ничем не быть защищен-

ным»²¹. Поведение Завадовского — скорее бравада, чем следование кодексу. Мы знаем, что Пушкин во время дуэли имел на себе часы²², а Лермонтов перед дуэлью взял у Е. Г. Быховец на счастье и положил в карман золотое бандо²³, и, однако, мы не сомневаемся в их благородстве. Возможно, что протокол, составленный на месте, прибавил бы некоторые подробности к нашему знанию обстоятельств поединка, но вряд ли следует обвинять друга Пушкина, как это делал Яшин, в том, что он «даже не знал толком, куда ранен Дантес, следовательно, и не осматривал его, хотя был должен настоять на составлении протокола поединка»²⁴. У Данзаса была другая забота — скорей доставить раненого Пушкина домой.

Отсутствие врача причинило Пушкину лишние страдания, но нельзя писать, что это «сыграло трагическую роль», — поэт был ранен смертельно.

Вот так случайный разговор в доме литераторов в начале 1930-х годов породил легенду, которая держалась в пушкиноведении более пятидесяти лет. Но кто же был тот «литератор», который подбросил Вересаеву и Рахилло сюжет об улице Оружейников в Архангельске и о посланце Геккерна, и почему все это было рассказано именно в присутствии Вересаева?

На первый вопрос ответ был найден И. Стрежневым. «Литератор из Архангельска» — это Владимир Иванович Жилкин, поэт, делегат Первого съезда Союза писателей, один из первых на Севере членов писательского союза. И, как пишет Стрежнев, «все сказанное им в памятный В. Вересаеву и И. Рахилло вечер было не что иное, как мрачная шутка, мистификация, в которую вылилось характерное для Жилкина неприятие всяких досужных выдумок»²⁵.

Почему объектом мистификации был выбран маститый писатель и уже известный пушкинист Вересаев? В 1924 г. он выпустил ряд новелл о Пушкине²⁶, в 1928 г. издал третьим изданием свою известную книгу «Пушкин в жизни», а в следующем, 1929 г. появилась его программная статья «В двух планах»²⁷. Можно себе представить, что другие собеседники, собравшиеся тогда в Малеевке, слушали в первую очередь откровения метра,

²¹ Нева. 1969. № 12. С. 191.

²² Об этом свидетельствует В. А. Нащокина (см.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 2. С. 207).

²³ М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1964. С. 354, 355.

²⁴ Нева. 1969. № 12. С. 186.

²⁵ Стрежнев И. «К студеным северным волнам». С. 160.

²⁶ Красная новь. 1924. № 2. С. 246—271.

²⁷ Вересаев В. В. В двух планах//Вересаев В. В. В двух планах: Статьи о Пушкине. М., 1929. С. 130—172.

тем более, что у Вересаева была своя, особая позиция в пушкиноведении.

В том же 1924 г., когда вышли новеллы Вересаева, Маяковский написал свое стихотворение «Юбилейное», где резко выступил против «хрестоматийного глянца», т. е. против приглаженного и прилизанного облика Пушкина, бытовавшего в школьных программах и нравоучительных повестях. Это был протест против хрестоматийности классика, заслужившего вечную благодарность потомков, против стремления «подменить научное изучение Пушкина преданностью, благодарностью и юбилейным елеем»²⁸. В стихотворении «Юбилейное» была впервые выдвинута формула «живой Пушкин» («Я люблю вас, но живого, а не мумию»).

Популярной эта формула стала благодаря работам Вересаева, который почти одновременно с Маяковским выступил против «почитателей-идолопоклонников» поэта и биографов, которые исследуют личность великого человека, «стоя на коленях»²⁹. Вересаев иронизировал над «каноническим образом личности Пушкина», «фальшивым и совершенно не соответствующим действительности»³⁰. Но когда Вересаев пытается изобразить «живого Пушкина», эта правильная мысль оборачивается пасквилом. В статье «В двух планах» и в предисловии к книге «Пушкин в жизни» он утверждает «поразительное несоответствие между живой личностью поэта и ее отражением в его творчестве»³¹. Первая, черновая формулировка этого тезиса появилась в 1924 г. В послесловии к своим новеллам он указывал на «несовпадение поэта с человеком в плане реальной жизни»: «...то, что в жизни, в непосредственном переживании человека было затемнено страстью или пристрастием, что было мелко, серо, нередко дрянно, пошло и даже грязно — все это у поэта превращалось в божественную незатемненность духа, глубочайшее благородство и целомудренную чистоту»³². В новеллах Пушкин предстает как отравленный эротизмом циник, обладатель крепостного гарема. Столь же непривлекателен и его гражданский облик: «В вопросах политических, общественных, религиозных Пушкин был неустойчив, колебался, в разные периоды был себе противоположен. Эти все вопросы слишком глубоко не задевали его»³³. Мироззрение поэта не было, конечно, застывшим, оно менялось вместе со временем, но животрепещущие

²⁸ Белинков А. Юрий Тынянов. М., 1960. С. 333.

²⁹ Вересаев В. В. Пушкин в жизни. М., 1928. Кн. 1. С. 13.

³⁰ Вересаев В. В. Заметки о Пушкине//Новый мир. 1927. № 1. С. 185.

³¹ Вересаев В. В. В двух планах. С. 140.

³² Красная новь. 1924. № 2. С. 271.

³³ Вересаев В. В. В двух планах. С. 110.

вопросы эпохи, в частности политическое устройство общества, всегда волновали его.

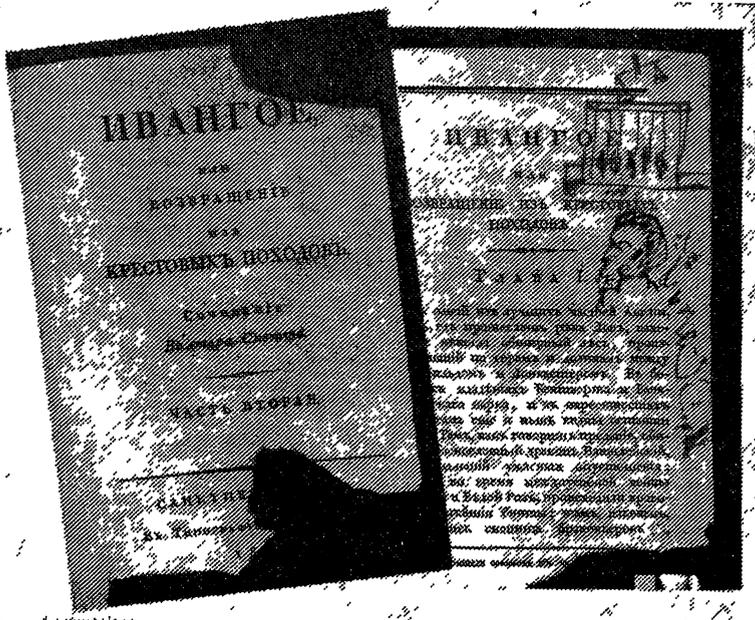
Антиисторичность «хрестоматийных» дореволюционных интерпретаций заменялась антиисторичностью нового образца. Эту антиисторичность, неуважение к прошлому, непонимание бытовых реалий и уловил, очевидно, в работах Вересаева или его рассуждениях в Малеевке В. И. Жилкин и подбросил ему легенду о кольчуге.

Пафос исследователей, поддавшихся на эту мистификацию, — разоблачение врагов поэта, поэтому так устойчиво и держалась легенда о кольчуге. Но история рассудила поэта и его врагов, и ее драматические страницы отныне незачем превращать в эффектную мелодраму, в ходе которой Пушкин и его друг «храбрый Данзас» выглядят простофилями, не сумевшими разглядеть кирасу под сюртуком противника.

Пытался ли Данзас спасти Пушкина? Молва уверяла потом, что по дороге на Черную речку он ронял пули, надеясь, что кто-нибудь увидит их и догадается, куда и зачем едут сани с Пушкиным и сани с Дантесом. И. И. Пущин писал И. В. Малиновскому из Сибири 14 июля 1840 г.: «Последняя могила Пушкина! Кажется, если бы при мне должна была случиться несчастная его история <...> то роковая пуля встретила бы мою грудь: я бы нашел средство сохранить поэта-товарища, достойные России...»³⁴ Хочется верить, какие-то действия предпринимал Данзас не только по дороге к Черной речке, но и на месте дуэли. Один из авторов книги «Тайны гибели Пушкина и Лермонтова» Д. А. Алексеев убежден, что был только один способ облегчить последствия дуэли — ослабить губительное действие пули и «окончить поединок первым легким ранением». Этот способ состоял в том, чтобы уменьшить заряд пороха пистолетов. Автор приводит эпизод из повести А. Марлинского «Испытание», где один из секундантов, «желая сохранить жизнь поединщикам», уверяет, что на шести шагах «...лучше уменьшить заряд по малости расстояния»³⁵. Миф это или реальность — мы никогда не сможем узнать. Если в истории дуэли была тайна, то ее унес в могилу друг Пушкина Данзас. Непоправимое случилось. Пушкин был отличный стрелок, но Дантес выстрелил долей секунды раньше. И с таким ранением, какое было у Пушкина, тогдашняя медицина справиться не могла.

³⁴ Пущин И. И. Записки о Пушкине; Письма. М., 1956. С. 152.

³⁵ Алексеев Д. А. Тщетная уловка Константина Данзаса: (Новая версия дуэли Пушкина)//Алексеев Д. А., Пискарев Б. А. Тайны гибели Пушкина и Лермонтова. М., 1990. С. 13.



Т. И. Краснобордько

ИСТОРИЯ ОДНОЙ МИСТИФИКАЦИИ

(Мнимые пушкинские записи на книге
Вальтера Скотта «Айвенго»)

В 1963 г. Пушкинский Дом приобрел у московского пенсионера, в прошлом учителя, Антонина Аркадьевича Раменского томик первого русского перевода романа Вальтера Скотта «Ивангое, или Возвращение из крестовых походов», на страницах которого были автографы Пушкина: начало монолога князя из первого замысла «Русалки» («Как счастлив я, когда могу покинуть...»), фрагмент одной из «декабристских» строк «Евгения Онегина» («Одну Россию в мире вида...»), несколько рисунков, владельческая надпись Пушкина и его же дарительная — Алексею Алексеевичу Раменскому. Экземпляр был в очень плохом состоянии: он представлял собою неправильно и неумело переплетенные две (из четырех) частей смирдинского издания романа 1826 г. Когда-то книга, видимо, была

залита водой, переплет ее слегка покоробился, но более всего оказались попорченными именно листы с автографами: они прорваны, покрыты грязью, и сами записи почти «угасли», они едва заметны и скорее угадываются, чем читаются. Такое состояние книги последний владелец объяснял ее необычной, сложной судьбой. По его словам, роман был подарен в 1829 г. прадеду Антонина Раменского — Алексею Алексеевичу, который учительствовал в селе Мологине Старицкого уезда Тверской губернии. Пушкинская реликвия передавалась Раменскими из поколения в поколение. В Отечественную войну село Мологино, где они жили, горело при отступлении советских войск; сгорел и учительский дом. После войны, в 1945—1947 годах, Антонин Аркадьевич предпринял розыск дедовской библиотеки и обнаружил роман Вальтера Скотта в подвале старой церковной сторожки. Как рассказывал сам Раменский, книга «растрепалась, держалась на нитках, шшивавших ее. Она была в грязи, масле, листочки были склеены. В сторожке заправляли, должно быть, тракторы, а может быть, и танки во время войны»¹. Пушкинских записей на этой книге Раменский тогда не заметил, но отложил ее и, среди прочих книг, оставил у родственников в Вышнем Волочке. Через пятнадцать лет остатки дедовской библиотеки перевезли в Москву, и тут-то Антонин Аркадьевич рассмотрел записи на романе Вальтера Скотта. О находке сразу же сообщили журналисты — в «Литературной газете», «Вечернем Ленинграде», «Литературной России»². Из профессиональных пушкинистов-текстологов первой увидела автографы Т. Г. Цявловская. Со слов владельца она и записала приведенную здесь версию чудесной находки книги. С согласия Раменского в лаборатории Института марксизма-ленинизма листы с записями расчистили, отреставрировали и сфотографировали³. В прочтении и транскрипции автографов Т. Г. Цявловской помогал С. М. Бонди. Заключение московских текстологов

¹ Цит. по кн.: *Временник Пушкинской комиссии*. 1963. М.; Л., 1966. С. 21.

² См.: *Дилigentская Н. А.* 1) *Находка в Мологине*//Лит. газ. 1962. № 153; 2) *Реликвии рода Раменских*//Лит. Россия. 1963. № 31; *Лазарева Т.* «Одну Россию в мире видя»: Новый автограф Пушкина//Веч. Ленинград. 1963. № 251.

³ Так как фотокопии, сделанные в Москве в 1963 г., в Пушкинский Дом не поступили, весной 1993 г. директор Лаборатории консервации и реставрации документов РАН Д. П. Эрастов произвел повторную съемку записей на книге в лучах собственной видимой люминесценции (такой способ съемки позволяет «проявить», усилить слабые чернильные тексты) и выполнил фотографии для настоящего издания. Приношу мою искреннюю благодарность Д. П. Эрастову за любезное содействие в проведении новой экспертизы.

было положительным: записи на книге, кроме плана на последней странице, сделаны рукою Пушкина. Академия наук приобрела книгу для Пушкинского Дома; рукописи присвоили архивный шифр — ф. 244 (А. С. Пушкина), оп. 1, № 1733, и она обрела свое постоянное место в Пушкинском хранилище, среди автографов поэта. А вскоре Т. Г. Цявловская опубликовала во «Временнике Пушкинской комиссии» большую статью об уникальной находке⁴.

Изучив автографы на книжке и сопутствующие им семейные воспоминания Раменских, Т. Г. Цявловская заключила, что они «обогатили пушкиниану целым рядом неизвестных доселе данных»⁵. Позволю себе напомнить основные выводы исследовательницы, так как это необходимо для дальнейшего изложения.

Во-первых, ею были установлены новые биографические факты: посещение Пушкиным весной 1829 г. имения Грузины Новоторжского уезда Тверской губернии, которое принадлежало Константину Марковичу Полторацкому (о том, что Пушкин знал его, прежде не было известно). В круг пушкинских знакомых был введен и сотрудник Н. М. Карамзина (также неизвестный ранее факт) Алексей Алексеевич Раменский — сельский учитель, которому Пушкин подарил роман Вальтера Скотта.

Во-вторых, дарительная надпись на этой книге и семейные предания Раменских, по мнению Т. Г. Цявловской, давали новый «материал для размышления над возникновением замысла „Русалки“»⁶.

В-третьих, новонайденный документ пополнял пушкинскую графику новыми рисунками: портретом неизвестного, изображением весов и виселицы с пятью повешенными. Причем последний рисунок Т. Г. Цявловская считала лучшим пушкинским изображением казни декабристов.

Наконец, последний вывод исследовательницы сводился к тому, что в книге из библиотеки Раменских обнаружались «новые данные по творческой истории „Евгения Онегина“, новый авторский текст шести стихов одной из „декабристских строф“ романа и неопровержимое свидетельство, что эти строфы <...> были написаны уже к марту 1829 года»⁷.

Все эти данные, подкрепленные авторитетом Т. Г. Цявловской, вошли в исследовательский оборот, стали широко использоваться авторами популярных краеведческих работ о пребы-

⁴ См.: Цявловская Т. Г. Новые автографы Пушкина на русском издании «Айвенго» Вальтера Скотта//Временник Пушкинской комиссии. 1963. С. 5—30.

⁵ Там же. С. 29.

⁶ Там же.

⁷ Там же. С. 30.

вании Пушкина на Тверской земле, а имя А. А. Раменского, которое прежде ни разу не встречалось в обширной мемуарной и эпистолярной пушкиниане, попало в справочник Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение», первое издание которого появилось в 1975 г. Приблизительно в это же время у Антонина Аркадьевича Раменского обнаружили новые пушкинские реликвии. Среди них — первый том романа А. П. Степанова «Постоялый двор. Записки покойного Горянова, изданные его другом Н. П. Маловым» (СПб., 1835) с владельческой надписью Пушкина, гусиное перо и перочистка поэта, его дорожный подсвечник, бумажник и серебряная чайная ложечка, которые Раменский преподнес в дар Московскому музею А. С. Пушкина⁸. Позднее, в 1977 г. Раменский передал Всесоюзному музею А. С. Пушкина в Ленинграде четвертый том романа «Постоялый двор» (также с владельческой надписью Пушкина) и еще несколько реликвий из своей «пушкинской коллекции». Книга А. П. Степанова осталась в фондах музея; что же касается «мемориальных предметов», то авторитетные музейные эксперты, в числе которых был крупнейший искусствовед В. М. Глинка, члены ученого совета музея, выразили серьезные сомнения в подлинности этих вещей, принадлежности их пушкинской эпохе, и в экспозицию Ленинградского пушкинского музея они не попали. Однако бесценные пушкинские реликвии учителей Раменских по-прежнему возбуждали внимание журналистов и краеведов, и время от времени статьи о них появлялись в массовых изданиях⁹. Авторы этих публикаций, как правило, были знакомы с А. А. Раменским и более или менее добросовестно излагали его рассказы. В 1984 г. в книге А. Г. Никитина «Пушкин и Урал» неожиданно появилась новая версия чудесной находки русского издания «Айвенго» с пушкинскими записями, и эта версия слабо согласовывалась с тем, что Раменский рассказывал раньше Т. Г. Цявловской: «Осенью 1941 года политрук Красной Армии Антонин Раменский, рискуя жизнью, про-

⁸ См.: Дилигенская Н. Загадка старой книги//Наука и жизнь. 1974. № 5. С. 112—115; Винокур Н. Г.: 1) Государственный музей А. С. Пушкина (Москва) в 1972 году//Временник Пушкинской комиссии. 1972. Л., 1974. С. 147—148; 2) Государственный музей А. С. Пушкина (Москва)//Временник Пушкинской комиссии. 1974. Л., 1977. С. 164; Головин В. В. Новейшие публикации автографов Пушкина//Временник Пушкинской комиссии. 1980. Л., 1983. С. 80—81; Пьянов А. С. «Мои осенние досуги»: Пушкин в Тверском крае. 3-е изд. М., 1983. С. 186—210, 246—257.

⁹ См., например: Пьянов А. С., Ильин М. Пушкинские места Верхневолжья. М., 1972. С. 44—49; Кашкова В. Ф. Пушкин и тверской учитель А. А. Раменский//Пушкинские чтения на Верхневолжье: Сб. 2. Калинин, 1974. С. 78—98; Славянский Ю. Л. Поездка А. С. Пушкина в Поволжье и на Урал. Казань, 1980. С. 19—20.

брался в уже оставленное с боями родное село и вынес из горящего дома часть пушкинских реликвий. Антонин Аркадьевич увез их в Москву. Хотел сдать в архив или музей. Но архивы эвакуированы, музеи закрыты. Да и задерживаться в столице нет возможности. И Раменский, вооружившись саперной лопаткой, зарыл свой клад во дворе детской больницы близ проспекта Мира. Ведь тогда еще никто точно не знал, сколько времени продлится война. Оставлял Раменский свой мологицкий клад ненадолго, а пролежал он до 1946 года, когда вернулся в Москву Антонин Аркадьевич и разыскал столь необычное сокровище»¹⁰.

В конце концов, эти истории можно было бы оставить без внимания, если бы в обширной пушкиниане семейные предания и в полном смысле слова «рукотворные» реликвии из дома Раменских постепенно не приобретали характера достоверности, если бы легенды, которые долгое время существовали, говоря пушкинскими словами, «домашним образом», не стали претендовать на роль непреложных фактов пушкинской биографии и творчества. Показательный пример — огромная публикация «Обратить в пользу для потомков...» в «Новом мире»¹¹. Читателям журнала предложили семидесятитрехстраничную аннотированную опись уникальных архива и библиотеки, которые якобы хранились до войны в доме учителей Раменских. По утверждению публикатора, этот «Акт» был составлен в 1935—1938 гг. комиссией Ржевского краеведческого музея, педтехникума и гороно. Подлинник его (как и все собрание Раменских) погиб во время войны, а копия отыскалась в 1968 г. в Павловском Посаде во время ремонта одного из домов. В течение трех лет комиссия изучила и описала в «Акте» сотни листов архивных документов, начиная с XV в., богатейшее собрание рукописных и старопечатных книг, русской периодики XVIII—XIX вв. (около пяти тысяч томов), 136 (!) листов рукописей Пушкина, около 10 000 (!) писем: Карамзиных, Муравьевых, Вульфов, Вревских, В. А. Жуковского, И. И. Лажечникова, О. А. Кипренского, И. И. Левитана, М. А. Бакунина, С. В. Перовской, Э. Л. Войнич, М. В. Фрунзе, Дмитрия и Марии Ульяновых...¹² Словом, документ, опубликованный «Новым миром»,

¹⁰ Никитин А. Г. Пушкин и Урал: По следам находок и утрат. Пермь, 1984. С. 260—261. Еще одну беллетризованную историю о том, «как нашелся „Айвенго“» и «как он потерялся», можно прочитать в книге А. С. Пьянова «Мои осенние досуги» (С. 192—196).

¹¹ «Обратить в пользу для потомков...»/Публ., предисл. и примеч. Михайла Маковеева//Новый мир. 1985. № 8. С. 195—212; № 9. С. 218—236.

¹² О существовании этого «Акта» впервые извещил А. С. Пьянов и опубликовал из него ряд фрагментов (Юность. 1979. № 6. С. 88—92).

казалось, призван был свидетельствовать о том, что Раменские на протяжении двухсот лет, говоря пушкинскими словами, были связаны с людьми, «коих имя встречается почти на каждой странице истории нашей». Но вскоре было доказано, что целый ряд опубликованных в «Акте» писем: А. Т. Болотова, А. Н. Радищева, О. С. Чернышевской, Марко Вовчок, А. И. Герцена — и факты, в них заключенные, являются фальсификацией¹³. Упоминается в аннотированной описи 1935 г. и книга Вальтера Скотта «с автографами, стихотворением, отрывком из десятой главы „Онегина“ и рисунками повешенных декабристов»¹⁴. Поразительно: работники Ржевского горно, музея и педтехникума сумели не только прочитать густо зачеркнутую черновую скоропись, но и уверенно определить, что это фрагмент десятой главы пушкинского романа в стихах! Разумеется, и в этот раз не обошлось без новой «пушкинской реликвии». В «Акт» была включена копия письма, которое Пушкин якобы отправил Алексею Алексеевичу Раменскому 22 июля 1833 г. О том, что текст этого письма — подделка, причем неудачная, убедительно писал С. А. Кибальник. Тогда же он вскользь высказал предположение, что и «надпись на русском переводе „Айвенго“ представляет собой местами более, а местами менее умелую подделку под пушкинский почерк»¹⁵, но гипотезу свою не аргументировал. О том, что после «безответственной публикации» в журнале «Новый мир» стало особенно актуальным проведение повторной экспертизы автографов на книжке Вальтера Скотта, писал С. А. Фомичев, отмечая, что «без распространенных рассуждений о контактах Пушкина с Раменским не обходится (...) ни один очерк о тверских страницах в жизни поэта»¹⁶. Между тем во втором издании словаря «Пушкин и его окружение» рядом с фамилией Раменского появилась звездочка, означающая гипотетичность знакомства Пушкина с ним, и указание, что свидетельства об отношениях Пушкина с Раменским «требуют тщательной проверки»¹⁷.

Как видим, в этой истории остаются «и», над которыми следует расставить точки. Прежде всего это касается вопроса о подлинности записей на книге Вальтера Скотта. В отличие

¹³ См. отклики на публикацию М. Маковеева, напечатанные «Литературной газетой» под общим заголовком «Осторожно: сенсация» (Лит. газ. 1986. № 22).

¹⁴ Новый мир. 1985. № 9. С. 219.

¹⁵ Кибальник С. А. Мнимый Пушкин//Лит. газ. 1986. № 22.

¹⁶ Акмен А. И., Фомичев С. А. Пушкинское кольцо Калининской области: (Перспективы развития)//А. С. Пушкин: Проблемы творчества. Калинин, 1987. С. 158.

¹⁷ Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. 2-е изд. Л., 1988. С. 365.

от ряда других «реликвий» из так называемого архива Раменских, фальсификация которых доказана определенно, эта по-прежнему продолжает оставаться «пушкинской» и, защищенная авторитетом Т. Г. Цявловской, С. М. Бонди, Н. В. Измайлова, не исключена до сих пор из фонда подлинных рукописей поэта. Записи на «Айвенго», прежде всего «декабристские» (рисунки и шесть стихов из «Онегина»), в научных исследованиях стоят в одном ряду с автографами из пушкинских рабочих тетрадей¹⁸. Словом, необходимость повторного критического, научного анализа этого документа очевидна. Проблема, однако, состоит в том, что именно следует подвергнуть экспертизе. Тексты? Они, безусловно, пушкинские: сохранились черновые автографы и отрывка «Как счастлив я, когда могу покинуть...» (ПД, № 84), и «онегинских стихов» («Одну Россию в мире видя...») (ПД, № 171). Для каждого из рисунков, даже плана на последней странице книги¹⁹, без труда можно обнаружить аналогии в рукописях поэта. Почерк? Следует отметить, что до появления этой «находки» пушкинисты не встречались со случаями сознательной подделки почерка поэта. Нам известны фальсификации пушкинских текстов — например, зувское «окончание» «Русалки», попытки «дописать» десятую главу «Онегина». Известны и случаи атрибуций рукописей И. И. Пушина, А. Д. Илличевского, Н. М. Коншина, Льва Пушкина, А. П. Керн, Е. Н. Вульф как пушкинских, но эти случаи были все-таки результатом невольных заблуждений, основанных на сходстве почерков, а не сознательной спекуляцией. Графологическая экспертиза как таковая не может быть единственным и достаточным доводом в пользу подлинности документа. К тому же ее надежность для таких дефектных записей, как на «Айвенго», — едва видимых или тщательно зачеркнутых, весьма проблематична.

В 1963 г., благодаря А. А. Раменского за книгу с собственноручными записями Пушкина, Н. В. Измайлов, в то время заведующий Рукописным отделом Пушкинского Дома, писал, в частности, о его находке: «Автографы „неказистые“ с виду, но изумительные по содержанию»²⁰. Внимание Т. Г. Цявловской, С. М. Бонди, самого Н. В. Измайлова оказалось полностью направленным на содержание записей. Их, текстологов,

¹⁸ См.: *Лотман Л.* «И я бы мог, как шут...» // *Временник Пушкинской комиссии.* 1978. Л., 1981. С. 46—59; *Невелев Г. А.* «Истина сильнее царя...»: (А. С. Пушкин в работе над историей декабристов). М., 1985. С. 64—124.

¹⁹ Вероятность того, что план-схема, показывающий, как проехать от Торжка до имения К. М. Полторацкого Грузины, нарисован рукою Пушкина, Т. Г. Цявловская исключила изначально.

²⁰ Цит. по кн.: *Никитин А. Г.* Пушкин и Урал. С. 261.

увлекла тогда трудная задача прочтения тщательно зачеркнутых и почти невидимых строк. Эти ученые были людьми высокой культуры и строгих этических принципов. Они подошли к новонайденному документу с позиции презумпции невиновности. Вряд ли они могли допустить возможность такой сознательной спекуляции на имени Пушкина. Но именно слова Н. В. Измайлова о «неказистости» внешнего вида подсказали мне иное направление исследования книги. Объектом повторной экспертизы стала прежде всего формальная сторона, «внешность» книги — как отдельных элементов записей на русском переводе «Айвенго», так и их совокупности. Для сравнения были взяты все книги с какими-либо записями Пушкина. Эта в определенном смысле рутинная работа (было обследовано около 70 книг) дала замечательные результаты. Оказалось, что неэкстремальные условия хранения сделали автографы грязными и «неказистыми»: они нарочито были сделаны такими²¹.

Рассмотрим более подробно записи на титульном листе книги «Иванго, или Возвращение из крестовых походов».

Первая помета — владельческая. Она и должна была появиться раньше других, т. е. тогда, когда Пушкин книгу купил. Мы видим сокращенно написанное слово «St. Pet.», фрагмент утраченного текста (возможно, здесь был указан год) и собственно подпись — «Александр Пушкин».

Отметим, что место приобретения книг Пушкин никогда не обозначал: вряд ли в этом была необходимость. Все покупки, как правило, делались им в петербургских или московских книжных лавках. В редких случаях (их всего четыре) Пушкин отмечал особые, раритетные экземпляры. Так, на карте Екатеринославской губернии 1821 г. его рукой написано: «Карта, принадлежавшая Императору Александру Павловичу. Получена в Симбирске от А. М. Загряжского 14 сент. <ября> 1833» (ПД, № 702)²². Широко известна запись на «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева: «Экземпляр, бывший в тайной канцелярии, заплачен двести рублей» (ПД № 1608)²³. Любопытна отметка на томе сочинений Никколо Маккиавелли: «Achété dans une vente publique (avec de sots commentaires au crayon)²⁴. Покупка двухтомника Кольриджа совпала

²¹ Д. П. Эрастов, исследуя записи на книге при помощи фотометрических методов, обратил внимание на такую деталь: оборванные края листов с записями не свидетельствуют о ветхости бумаги, это результат насильственного, намеренного обрыва достаточно прочной и плотной бумаги.

²² Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. С. 601.

²³ Там же. С. 603.

²⁴ Там же. Перевод: «Куплена на распродаже (с дурацкими комментариями карандашом)» (франц.).

с днем смерти английского поэта, и, видимо, пораженный этим «странным сближением», Пушкин отметил его: «Купл.(ено) 17 июля 1835 года, день Демид.(овского?) праздн.(ика), в годовщину его смерти»²⁵.

Но если даже допустить, что помета «St. Pet.» на «Айвенго» — тот единственный случай, когда Пушкин обозначил место покупки книги, то само слово он бы так не написал. В сохранившихся французских письмах поэта были выявлены следующие написания имени российской столицы: «S^t.-P.» (ПД, № 505, 506), «S^tP.» (ПД, № 1373, 1467), «S^tP.b.» (ПД, № 570, 629, 1520), «P. b.» (ПД, № 628, 634), «S^t Petersburg» (ПД, № 636, 639, 779, Прил. № 47), «Petersbourg» (ПД, Прил. № 42). Как видим, нет ни одного сокращения, которое совпадало бы с надписью на титульном листе «Ивангое». Более того — написав «Санкт-Петербург» по-французски, он должен был сделать и владельческую запись также по-французски (во всяком случае, в письмах Пушкина и официальных документах эта закономерность прослеживается четко). Но французских владельческих надписей на книгах личной библиотеки Пушкина нет, как нет и такой, как на «Айвенго», русской — «Александр Пушкин». В пушкинской библиотеке около четырех тысяч томов, лишь 27 из них имеют владельческие надписи, и только в двух вариантах: «Пушкин» и «А. Пушкин». Правда, на парижском издании басен Фенелона 1809 г. написано «Александр Пушкин» (ПД, № 1599). Это самый ранний из известных пушкинских автографов — детский, возможно, долицейский. И если предположить, что томик Фенелона был подарен Пушкину-мальчику, то психологически объяснимо, что десяти-одиннадцатилетний ребенок обозначил собственную книгу своим полным именем — Александр Пушкин.

Итак, детальный анализ владельческой надписи на «Айвенго» не выявил в ней ни одного признака пушкинских помет подобного рода.

Обратимся теперь к дарительной записи на этом же листе.

Два обязательных элемента такой надписи — имя того лица, к кому она обращена («Ал. Ал. Раменскому»), и дарителя («Александр Пушкин») — разделены стихотворными строками:

Как счастлив я, когда могу покинуть
 Докучный шум столицы и двора,
 Уйти опять в пустынные дубровы²⁶,
 На берега сих молчаливых вод.

²⁵ Там же. С. 602.

²⁶ В сохранившемся пушкинском автографе (ПД, № 84) этот стих читается иначе: «И убежать в пустынные дубровы».

Сразу жестораживает сама форма посвящения: сокращенно написанное имя и отчество Раменского и полностью написанное пушкинское имя. Аналогичных случаев отыскать не удалось. Вот некоторые примеры пушкинских посвящений: «Его Высокопревосходительству Милостивому Государю Ивану Ивановичу Дмитриеву от Сочинителя»²⁷; «Парасковии Александровне Осиповой от Автора в знак глубочайшего почтения и сердечной преданности» (ПД, № 748)²⁸; «Евпраксии Николаевне Вульф от Автора. Твоя от Твоих» (ПД, № 751)²⁹; «Александрю Ивановичу Тургеневу от А. Пушкина» (ПД, № 750)³⁰; «Сергею Дмитриевичу Комовскому от А. Пушкина в память Лицея» (ПД, № 759)³¹. Впрочем, полное написание имени, отчества, фамилии «адресата» не обязательно. Если Пушкина связывали с ним короткие, дружеские отношения, запись была предельно лаконичной: «Полторацкому от Пушкина» (ПД, № 1680)³². «Евгению Баратынскому от Александра Пушкина» (ПД, № 754)³³; «Плетневу от Пушкина. В память Дельвига»³⁴; «Другу от Друга» (надпись Н. И. Кривцову) (ПД, № 876)³⁵; наконец, «А. Норову от А. Пушкина» (ПД, № 757)³⁶. Это единственный случай, когда Пушкин сокращает имя «адресата», но обратим внимание на симметричность элементов этой записи, их равноправие — сокращены оба имени: так два поэта подписывали свои стихи.

Такая форма обращения в книжной дарительной надписи, которую мы видим на «Айвенго», да еще и подчеркнутая, несвойственна не только Пушкину, она в принципе невозможна для человека, воспитанного в культурных традициях пушкинского времени, потому что противоречит элементарным этикетным требованиям. Осмелюсь заметить, что форма «Ал. Ал. Раменскому» — советизм.

Что же касается четырех стихов из первоначального замысла «Русалки», то такую запись Пушкин, скорее, мог оставить в альбоме, как вписал он когда-то в альбомы Марии Шимановской и Полины Бартеневой три стиха из «Каменного гостя»: «Из наслаждений жизни /Одной любви музыка уступает,/ Но и

²⁷ Рукою Пушкина. С. 710.

²⁸ Там же. С. 711.

²⁹ Там же. С. 713.

³⁰ Там же. С. 711.

³¹ Там же. С. 721.

³² Там же. С. 715.

³³ Там же.

³⁴ Там же. С. 719.

³⁵ Там же. С. 726.

³⁶ Там же. С. 729.

любовь Гармония»³⁷. И дело здесь вовсе не в том, что у сельского учителя Раменского не было альбома, как предположила Т. Г. Цявловская³⁸, а в том, что поэт не смешивал никогда этих двух жанров — альбомного и книжного посвящения. К тому же в стихотворной записи на «Айвенго» есть и фальшивая нота: написание слова «счастлив». Орфографическая норма пушкинского времени допускала двоякое написание этого слова: как с начальным «сч», так и с начальным «щ». Пушкин, как, впрочем, и Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, П. А. Плетнев, П. А. Вяземский, писал «щ». Словарь языка поэта регистрирует 553 случая употребления им слова «счастье» и однокоренных образований. Формы «щастлив» и «щастльив» употребляются в текстах Пушкина 89 раз. К счастью, сохранилась черновая рукопись монолога князя из первого замысла «Русалки» — там безусловное «щ». Были просмотрены все рукописи, где встречается форма «счастлив»: беловые, черновые, авторитетные копии, которые восходят к утраченным автографам, письма. Выяснилось, что у Пушкина нет других, кроме «щастлив», вариантов написания этого слова. Обнаружился даже такой любопытный факт: в цензурной рукописи третьей части «Стихотворений Александра Пушкина» 1832 г. писарское написание слова «счастлив» в стихотворении «Счастлив ты в прелестных дурах. . .» Пушкин или Плетнев (они оба готовили это издание) исправляют на «щастлив» (ПД, № 420, л. 17). Одно исключение все же встретилось, оно касается формы «счастье». В заключительной строке стихотворения «Из Пиндемонта» (его рукописи помечены июлем 1836 г.) Пушкин пишет это слово с начальным «сч»: «Вот счастье! Вот права. . .» (ПД, № 236, 237). Убедительного объяснения этому случаю пока нет. Вряд ли это описка.

И наконец, обратим внимание на то, что все эти записи сделаны на титульном листе. Пушкин же подписывал книги либо на обложке (лицевой или оборотной ее стороне), либо на шмуцтитуле, который предшествовал титульному листу и предназначался для того, чтобы защищать его от повреждений и грязи. Притом пушкинские строки всегда тщательно обходили печатный текст и никогда не покрывали его. Надпись по тексту титульного листа в такой же мере противоречит культурной традиции пушкинского времени, как и посвящение «Ал. Ал. Раменскому».

³⁷ Там же. С. 661.

³⁸ См.: Цявловская Т. Г. Новые автографы Пушкина на русском издании «Айвенго» Вальтера Скотта. С. 21.

Когда-то Т. Г. Цявловская оценила обнаруженный в доме А. А. Раменского томик «Айвенго» как «уникальный случай соединения» на одной книге трех разнородных видов автографов Пушкина»³⁹. Тогда исследовательница не почувствовала уже в самой этой «уникальности» тревожного сигнала. Такое прихотливое сочетание разножанровых автографов: черновой скорописи и беловых строк, рисунков, плана, даты, владельческой надписи — возможно только в одной «книге» — рабочей тетради Пушкина.

Подведем итоги. Повторная экспертиза записей на русском переводе романа Вальтера Скотта «Иванго, или Возвращение из крестовых походов» показала, что мы имеем первый случай сознательной подделки пушкинского почерка. Кстати, потому закономерен вопрос, какими источниками пользовался имитатор. Недостатка в материале для копирования, как известно, нет: пушкинские рукописи воспроизводились бессчетное количество раз. Но очевидно, что в этой подделке опирались на вполне конкретные образцы. На мой взгляд, все они находятся под одним переплетом — в пушкинском томе «Литературного наследства», изданном в 1934 г. Там в статье Б. В. Томашевского «Десятая глава „Евгения Онегина“. История разгадки» приведены разные редакции стихов «Одну Россию в мире видя...» и — главное — дано факсимиле чернового автографа этой строфы. Сообщение А. М. Эфроса «Декабристы в рисунках Пушкина» сопровождают воспроизведения рисунков весов на листе с надписью А. Н. Вульфа «Эскизы разных лиц, замечательных по 14 декабря 1825 года» и виселицы с казненными из Третьей масонской тетради (ПД, № 836). Мужской профиль на «Айвенго» — скорее всего неудавшаяся попытка скопировать портрет С. Л. Пушкина с этого листа. Среди иллюстраций в томе «Литературного наследства» есть и два плана, собственноручно составленные Пушкиным в ходе работы над «Историей Петра» и «Историей Пугачева»; и шмуцтитул «Полтавы», подаренной С. Д. Полторацкому 2 апреля 1829 г., с расположением даты в дарительной надписи не слева, как обычно у Пушкина, а посередине строки. И именно так расположил ее имитатор на титульном листе «Иванго». Наконец, подпись «Александр Пушкин» в факсимиле письма М. А. Дондукову-Корсакову повторена золотым тиснением на крышке переплета этого тома «Литературного наследства»⁴⁰. В нем нет только отрывка «Как счастлив я, когда могу покинуть...». Единствен-

³⁹ Там же. С. 29.

⁴⁰ См.: Литературное наследство. М., 1934. Т. 16—18. С. 391, 461, 483, 491, 549, 925, 937.

ный его автограф ни разу не воспроизводился, и потому-то слово «счастлив» оказалось написанным на «Айвенго» в соответствии с современной орфографической нормой, а не так, как это было свойственно Пушкину⁴¹.

Удалась ли мистификация? С одной стороны — да, ибо в нее поверили Т. Г. Цявловская, С. М. Бонди, Н. В. Измайлов — авторитетнейшие знатоки пушкинских рукописей и почерка поэта. С другой стороны — нет. Если учитывать результаты сегодняшней экспертизы, то имитаторам можно было бы ответить словами Владимира Высоцкого: «Все не так, все не так, как надо». Систематическое обследование книг из библиотеки поэта позволило выявить главные особенности дарительных надписей Пушкина, а в их расположении на книжном листе обнаружить важное сходство с беловыми рукописями: у Пушкина рукописный лист всегда эстетически организован, в этом проявляется в высшей степени свойственное ему гармоническое чувство «соразмерности исообразности». В записях на книге «Ивангое, или Возвращение из крестовых походов» этот эстетический, художественный, культурный уровень отсутствует.

⁴¹ Отметим попутно орфографическую оплошность мистификатора: на плане в конце первой части «Айвенго» слово «Новгород» написано без «ъ», что решительно было невозможно до реформы 1918 г.



Н. И. Михайлова

«ШОКОЛАД РУССКИХ ПОЭТОВ — ПУШКИН»

Пушкин смотрит вдаль поверх одного из томов полного собрания сочинений Ленина, политико-экономического справочника «Советский Союз», школьных учебников обществоведения, истории СССР, физической географии СССР, новейшей истории, русской литературы. Подле Пушкина — глобус, баночки с тушью и клеем, палехский стаканчик с карандашами и кисточками, палитра, линейка, пучок сухих колосьев пшеницы, букварь, открытки с изображением октябрятского, пионерского и комсомольского значков, цветные нитки, портновский сантиметр, маленький компьютер, ручное сверло, моток проволоки. . . Пушкин смотрит поверх композиции, составленной из этих вещей, и сам он — вернее, репродукция с его известного портрета работы О. Кипренского — включен в композицию открыт-

ки — складня из трех створок. Когда все они свернуты, то на первой створке видишь надпись: «С окончанием средней школы». Развернешь — и увидишь Пушкина в окружении всех названных выше предметов. Развернешь еще — и прочтешь поздравление и напутствие выпускнику средней школы: «Осталась позади волнующая пора экзаменов. Сегодня в этот торжественный день... Школа помогла тебе... Страна получит огромный резерв... Пусть каждая страница твоей биографии... на благо нашей социалистической Родины!..». Здесь же место для подписей — директора школы, классного руководителя, секретаря комсомольской организации. И внизу три розы — две желтые, одна красная. Закроешь створку — и снова Пушкин смотрит вдаль...

Открытку выпустило издательство «Плакат» в Москве в 1988 г. Художник — М. Занегин. Тираж — 2 000 000 экземпляров.

Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет,
И молвит: то-то был Поэт!

(VI, 49)

Не будем говорить о художественных достоинствах открытки. На наш взгляд, она представляет интерес по другим причинам.

Открытки, целлофановые пакеты, почтовые конверты, значки, обертки от шоколада, духи, платки, вымпелы и другие предметы с изображением Пушкина, пушкинских героев, с пушкинскими текстами до сих пор не привлекали должного внимания исследователей такой всегда актуальной темы, как «Пушкин и современность». В многочисленных статьях и специальных монографиях речь идет о духовном освоении творчества Пушкина, о Пушкине в памяти поколений, о Пушкине в современной поэзии, прозе, драматургии, музыке, в современном изобразительном искусстве, театре, кино. Но ведь наше время — это не только музыка Г. Свиридова и А. Шнитке к пушкинским кинофильмам, это и картофель «Арина», названный так в честь няни Пушкина Арины Родионовны; это не только иллюстрации Н. Кузьмина и В. Фаворского к пушкинским произведениям, но и так называемая пушкинская сувенирная продукция, авторы которой большей частью неизвестны. Но и эта продукция сохранит память о сегодняшнем дне, останется своеобразным документом, свидетельствующим о жизни Пушкина в наше время.

На открытке, которую мы описали, массовый, тиражированный Пушкин включен в контекст официально признанных

в 1988 г. ценностей. Вещи, окружающие пушкинский портрет, идейно значимы. Они символизируют полученные в советской школе знания и трудовые навыки, общие для всех мировоззренческие ориентиры. Пушкин своим непререкаемым авторитетом призван как бы освятить идеологический натюрморт.

Еще один памятник нашего времени — портрет Пушкина на пасхальном яйце. В 1991 г. в пасхальную неделю в Москве на старом Арбате, недалеко от арбатского дома, где жил Пушкин, вместе с Горбачевыми и Ельциными в виде матрешек продавались пасхальные яйца с пушкинскими портретами. Любопытно, что продавцам особенно полюбилось место у арбатского дома Пушкина: музей, который там находится, не брал с них денег, а рэкетирам не было доступа в музейные залы, из окон которых они могли бы наблюдать за торговлей.

И долго буду тем любезен я народу,
 Что чувства добрые я лирой пробуждал...
 (III, 424)

В 1990 г. появился трогательный выпел, «сработанный» таллинским предприятием или, возможно, кооперативом «Анне»: на белом тряпачном треугольнике, обведенном красной полоской, изображена розовая Наталья Николаевна Пушкина (в качестве оригинала использован ее портрет работы А. Брюллова, но почему-то бантики и пояс также раскрашены красной краской), внизу — герб рода Пушкиных и еще ниже — красный цветочек.

Не множеством картин старинных мастеров
 Украсить я всегда желал свою обитель,
 Чтоб суеверно им дивился посетитель,
 Внимая важному сужденью знатоков.
 < >

Исполнились мои желания. Творец
 Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,
 Чистейший прелести чистейший образец.
 (III, 224)

Конечно же, пушкинские тексты, которые мы приводили, в сочетании с изображениями, о которых шла речь, могут создать лишь иронический эффект. Так происходит и тогда, когда авторы подобной продукции включают пушкинские тексты в свои произведения, разумеется, ни о какой иронии не помышляя, а, напротив, руководствуясь, видимо, самыми возвышенными чувствами. Так, в 1980 г. «Литературная газета» сообщала о носо-

вом платке, в центре которого в овальной рамочке — портрет Татьяны Лариной, канделябр со свечами, розочка и свернутый лист бумаги с начертанными словами «Я вам пишу» (вместо пушкинских — «Я к вам пишу»). В 1990 г. в Москве и Ленинграде бойко продавался сувенир — гусиное перо с профилем Пушкина и его автографом (прямо на перо). В перо вставлен стержень от шариковой ручки. Продавались же такие сувениры вместе с пакетами, в которые были вложены красные, синие, серые полоски бумаги с изображениями набережной Мойки, Святогорского монастыря, собора Василия Блаженного и с приличествующими картинкам цитатами из поэтических текстов Пушкина и Лермонтова. И пушкинские слова о перо там тоже были:

И пальцы просятся к перу, перо к бумаге. . .

(III, 321)

Но не о таком перо писал и не таким пером писал Пушкин.

Молочный шоколад «Сказки Пушкина» был. «И, чувств изнеженных отрада, / Души в граненом хрустале» с названием «Чудное мгновение» были. В 1989 г. был выпущен целлофановый пакет с профилем Пушкина, воспроизводящим его автопортрет из ушаковского альбома, — «3 кг, для пищевых продуктов». И таким образом находит свое выражение наша всенародная любовь к Пушкину или, вернее, используется наша любовь к Пушкину, возвращаясь к нам в виде пакета для продуктов, шоколадной обертки, этикетки на спичечном коробке.

Явление, которое привлекло наше внимание, имеет свою историю. Оно возникло в 1880 г., когда открытие памятника Пушкину в Москве стало событием исключительной значимости в духовной жизни России и когда, по-видимому впервые, вследствие этого события Пушкин стал использоваться для рекламы. Интересные сведения, связанные с «пушкинской» рекламой в 1880 г., собраны С. Либровичем. «Думал ли Пушкин когда-либо, — писал он, — что его изображение будет служить рекламой для. . . сбыта особого рода водки? <...> Между тем, оказывается, что священным для всякого образованного русского человека именем Пушкина окрещена одним из петербургских водочных заводов изготавливаемая им водка, и существуют особого рода стеклянные бутылки, наружный вид которых представляет собою. . . ни более ни менее как довольно верное изображение головы Пушкина с его типичными „африканскими чертами“, вы-

¹ Либрович С. Пушкин в портретах. СПб., 1890. С. 242—244.

дающимися скулами и курчавыми волосами. <...> Итак, те любители водки, которые вместе с тем являются любителями... поэзии, имеют теперь возможность в одно и то же время пить живительную влагу и созерцать голову поэта»¹. В 1880 г. выпускались «Пушкинские» папиросы, «Пушкинский» шоколад. Кондитерская фабрика Ландрина выпускала плитки шоколада не только с портретами Пушкина, но и с надписью «Шоколад русских поэтов — Пушкин» (тем самым своеобразно признавались наивысшие достоинства поэзии Пушкина: если кто-то из поэтов может быть расцenen как карамель или, к примеру, мармелад, то Пушкин — шоколад). Школьники за 5 коп. покупали резинки с выпуклым портретом Пушкина. Книголюбы могли приобрести книжные шкафы с резным изображением Пушкина. Франты щеголяли тросточками, ручки которых представляли собой вырезанные из дерева головы Пушкина. Бланки различных свидетельств, аттестатов были украшены пушкинскими портретами.

Массовое шествие тиражированных Пушкиных, проникновение их в быт было продолжено в юбилейные 1899, 1937, 1949 гг. В собрании Государственного музея А. С. Пушкина хранятся железный сейф 1899 г. с портретами поэта; портсигар 1949 г., также украшенный портретом Пушкина с датами «1799—1949», лирой, лавром и стихами:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена! —

коробка «Пушкинских» папирос, изготовленных в Ленинграде на Государственной табачной фабрике им. Клары Цеткин; чернильница 1937 г. с портретом Пушкина — изделие Днепропетровской технокимической фабрики.

Угрожают ли Пушкину такого рода «пушкинские» вещи, появившиеся и появляющиеся сегодня? Нет, конечно, так же не угрожали они ему вчера и позавчера. Созданный им «нерукотворный» памятник неколебим. Важно лишь, чтобы Пушкина не только почитали, но прежде всего читали сегодня. Что же касается этого особого явления массовой культуры, этого пушкинского кича, который несомненно должен явиться предметом специального изучения, то он, пожалуй, все же угрожает, но не Пушкину, а нам, нашему вкусу.

«Истинный вкус,— писал Пушкин,— состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности» (XI, 52).

Думается, что вряд ли иллюстрации к «Евгению Онегину», выполненные В. Свительским в изысканной технике силуэта, сообразны спичечному коробку, а автопортрет Пушкина уместен на пакете для пищевых продуктов. Трудно представить себе, каким чувством руководствовались создатели кружки «Моцарт и Сальери» и почему портрет Идалии Полетики был вмонтирован в металлическую брошь.

Признаться: вкусу очень мало
У нас и в наших именах
(Не говорим уж о стихах);
Нам просвещение не пристало,
И нам досталось от него
Жеманство, — больше ничего.
(VI, 42)



ВОЗВРАЩЕНИЕ В МИР МОЛВЫ

(«Барышня-крестьянка»
в народных пересказах)

Публикация **О. Р. НИКОЛАЕВА**

Активное проникновение произведений Пушкина в крестьянскую среду характерно для пореформенной эпохи, так называемой эпохи этнографического перелома. В это время усиливается влияние города на деревню за счет развития явления отходничества, возникновения «литературы для народа» и т. д. В крестьянской среде появляется новая форма коллективного времяпрепровождения: чтение вслух¹. Чтение светской литературы приходит на смену религиозному чтению. Соответственно появляются и новые социокультурные типы в организме деревни, одним из которых становится грамотный крестьянин, проживший в городе (иногда «полированный» питерец), имеющий библиотеку дешевых и лубочных изданий, читающий их вслух на деревенских встречах, да еще и умеющий отпустить пару глубокомысленных «городских» фраз по поводу прочитанного. В ряд новых подобных персонажей входили и деревенские стихотворцы, и щеголи городского пошиба —

¹ См.: Громыко М. М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в. М., 1986. С. 149—150.

знатоки мещанского любовного этикета, а позднее, во время первой мировой войны, даже «газетные старушки», читающие односельчанам сводки с мест военных действий и знакомищие их с политической информацией.

Народная повествовательная традиция, естественно, в таких условиях изменилась. На основе лубочных рыцарских романов возникла авантюрная сказка. Дешевые издания русских классиков и многочисленные лубочные переделки произведений Гоголя, Пушкина, Тургенева и т. д. привели к появлению любопытнейшего феномена: литературный текст получает бытование в устной форме. Народная традиция отбирала подобные тексты в соответствии с господствующими в то время в крестьянской среде эстетическими вкусами.

Во второй половине XIX в., по свидетельствам корреспондентов Тенишевского бюро, в составе многих крестьянских библиотек оказывались полные собрания сочинений (дешевые) Пушкина, Некрасова, Тургенева². Небольшое количество стихотворений Пушкина было включено в программу церковно-приходских школ. Основным источником пушкинских текстов для крестьян являлись лубочные картинки и лубочные переделки³. К началу XX в., можно утверждать, сформировалась народная версия национального культурного мифа о Пушкине. Специфика ее до сих пор не прояснена и не осознана наукой. Имя поэта прочно вошло в крестьянский кругозор, зачастую оказываясь символом литературы вообще. Попытки народной ментальности освоить и по-своему пересоздать феномен Пушкина воспроизведены в двух произведениях Б. В. Шергина «Пушкин пинежский» и «Пушкин архангелогородский».

Народное сознание произвело своеобразный отбор пушкинских текстов. Ряд стихотворений получил в определенной обработке широкое бытование: «Узник», «Черная шаль», «Романс» (два последних прежде всего благодаря необыкновенному их распространению в лубочных картинках и близости к жанру жестокого романа). Особая судьба выпала на долю сказок. Пушкина; по сообщениям корреспондентов Тенишевского бюро, их «знают даже безграмотные старухи»⁴. Любопытно, что пушкинские тексты зачастую заменили собой народные сказки, которые использовал поэт в качестве источников своих переложений: «Сказка о царе Салтане» — сюжет «Чудесные дети» (ВС 707⁵), «Сказка о мертвой царевне» — сюжет «Чудесное зеркальце» (ВС 709). Еще более замечателен факт включения некоторых пушкинских образов в фонд народной сказочной формульности, что позволяет им появляться в текстах самых разнообразных сюжетных типов. Так, например, мотив коварного навета на сказочную героиню почти неизбежно вызывает не традиционную, а пушкинскую формулу: она родила «не мышонка, не лягушку, / А неведому зверюшку».

Проза Пушкина в меньшей степени получила распространение в крестьянской среде: охотно читались «Дубровский», «Капитанская дочка», «История Пугачевского бунта»⁶, очевидно вследствие пристрастия народа к раз-

² См.: там же. С. 149.

³ Обзор лубочных картинок на темы произведений Пушкина дан в кн.: Клепиков С. А. А. С. Пушкин и его произведения в русской народной картинке. М., 1949.

⁴ Громыко М. М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в. С. 152.

⁵ Здесь и далее сказочные сюжеты указываются по кн.: Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка/Сост. Л. Бараг и др. Л., 1979. Ссылки приводятся в тексте с использованием сокращения ВС и указанием номера сюжетного типа.

⁶ Громыко М. М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в. С. 152.

бойничьей и военно-исторической тематике. Повесть «Дубровский» активно бытовала и в устной форме. Из «Повестей Белкина» выбор пал исключительно на «Барышню-крестьянку». Нам пока неизвестны факты бытования других повестей, в то время как новелла с переодеванием и счастливой развязкой не только читалась и пересказывалась как текст, принадлежащий Пушкину, но и потеряла признак авторской принадлежности, распространяясь как самостоятельное замечательное повествование, т. е. как сказка. Произошло своеобразное возвращение «истории», услышанной и записанной Иваном Петровичем Белкиным, в мир молвы: «каждая из белкинских историй достоверна именно как рассказ (молва), прошедший через множество уст и ушей»⁷. Почему же «усадебный анекдот», рассказанный «девицею К. И. Т.», стал столь популярным и оказался отвечающим вкусам крестьян?

Легче всего объяснить этот факт крестьянской тематикой повести, хотя Пушкинской она обыгрывается весьма своеобразно и уж никак не является доминантной. Более привлекателен фабульный интерес «Барышни-крестьянки»: четкое новеллистическое построение с неожиданным поворотом («пуант») в финале. Мотив переодевания в разных его модификациях хорошо известен народной традиции. Это обычай ряженья, новеллистическая (бытовая) сказка, лубочная авантюрная беллетристика и даже некоторые сюжеты житийной литературы: героиня-святая в мужской одежде подвизается в мужском монастыре (Феодора Александрийская, Евфросиния). Агиографические мотивы вошли в состав народных легенд, один из подобных сюжетов учтен в указателях как сюжет сказочный (ВС 884**). В бытовой сказке мотив переодевания обычен для сюжетных типов группы «Верность и невинность» (ВС 880—884), но здесь героиня всегда переодевается в мужскую одежду. Смена одежды как смена социального статуса (высокий—низкий) характерна для сюжета ВС 905 А*, где бессердечная капризная королева перенесена во сне на место кроткой, постоянно избиваемой мужем сапожницы, а сапожница — на ее место; сапожник укрощает королеву. Очевидно, пушкинская разработка мотива переодевания воспринималась как еще один и при этом непохожий на известные варианты традиционного повествовательного приема.

Пушкинская «Барышня-крестьянка» могла примыкать в народном бытовании к циклу новеллистических сюжетов о судьбе. Аналогий здесь не обнаруживается, но сама тема неожиданных поворотов судьбы, ведущих у Пушкина к счастливой развязке, в контексте сказочных представлений о предугазанности и предназначенности воспринималась народным сознанием с обостренным интересом и, возможно, даже в контрастном ореоле (ср. сюжет «Предназначенная жена» — ВС 930 А).

Кроме того, «Барышня-крестьянка» привлекла народное внимание любовной тематикой. Во второй половине XIX в. крестьяне активно осваивают мещанский любовный этикет, занесенный в деревню из города. В крестьянскую среду проникает жанр альбома с набором речевых формул любовного обхождения, изложением языка жестов, цветов, взглядов. Альбомная культура (вместе с играми в фанты, «флирт» и т. д.) завоевала деревню в 20—30-х годах XX столетия, в настоящее время сохранившись в школьной среде (девичьи альбомы учениц 5—8 классов). Приобщение крестьян к «грамматике любви» осуществлялось в сфере речевого, поведенческого и даже эпистолярного этикетов. Крестьяне в это время начинают писать письма — любовные объяснения мещанского образца, в культурном организме деревни появляется и особая функция: сочинение для неграмотных девушек любовных писем, которую выполняли односельчане, пообтершиеся в городах и усвоившие там образцы эпистолярной любовной культуры. Любопытно, что С. А. Клепико-

⁷ Фомичев С. А. Пoesия Пушкина: Творческая эволюция. Л., 1986. С. 192.

вым учтено 6 лубочных картинок по мотивам пушкинской повести, причем все они исключительно с изображением сцен свиданий Алексея Берестова с Лизой. Лубочные картинки сопровождалась и цитированием пушкинских диалогов⁸. Как видим, «Барышня-крестьянка» включалась лубочными авторами именно в традицию «грамматик любви» для крестьян.

Таким образом, повесть Пушкина при всем своеобразии ее художественного решения была в народном осмыслении типологически близка традиционным или же популярным в то время культурным и художественным явлениям.

Мы публикуем два текста пересказов «Барышни-крестьянки», обозначающих полюса народного осмысления пушкинского произведения. С одной стороны, текст сказочника И. Ф. Ковалева, непосредственно восходящий к оригиналу Пушкина. Получив сборник сочинений Пушкина при окончании школы за успехи в учебе, И. Ф. Ковалев знал многие произведения практически наизусть. С другой стороны, текст, записанный фольклорной экспедицией Ленинградского гос. педагогического института им. А. И. Герцена в июле 1987 г. от Клавдии Терентьевны Клишковой (1917 г. р., в дер. Жданово Западнодвинского района Тверской области). Рассказ Клишковой не восходит прямо к пушкинской повести; он вообще оценивается ею как сказка. В деревне сказочницы жила «старушка портниха», «бабка Анисья», которая «сильно читала романы, всякие разные» и их пересказывала односельчанам. Но на вопрос собирателя, не является ли «романом» записанный от нее текст, Клавдия Терентьевна ответила: «Не-е, это сказка».

Пересказ «Барышни-крестьянки» И. Ф. Ковалева публикуется по книге: *Ковалев И. Ф. Сказки/Записи и коммент. Э. В. Гофман, С. И. Минц//Летописи Государственного литературного музея. М., 1941. Кн. II. С. 224—229;* текст К. Т. Клишковой — по записи, хранящейся в фольклорном архиве кафедры русской литературы Российского гос. педагогического университета им. А. И. Герцена.

⁸ *Клепиков С. А. А. С. Пушкин и его произведения в русской народной картинке. С. 59—60.*

1. ПЕРЕСКАЗ И. Ф. КОВАЛЕВА

В одной отдаленной губернии жил богатый помещик Иван Петрович Берестов. Он раньше служил в военном ведомстве, а потом он подался в отставку и приехал в свою деревню, где было у него имение, и выстроил суконную фабрику. И на эти доходы он жил очень богато и хорошо. Все соседи-помещики его любили и обожали, и он со всеми ладил.

Но только не ладил с одним соседом-помещиком, Муромским Григорием Ивановичем. Тот тоже жил в Петербурге, и промотав и проиграв свое имение, и так как у него больше не было возможности жить в Петербурге, то он также решил приехать жить в свое имение. Но тот был слишком форсистый, несмотря на то что он ставил, как говорят, последние копейки на ребро.

Он устроил шикарный сад на английский лад. У него была дочь Лиза, к которой тоже выписал из Англии няню, которая ухаживала за ёй все время и учила ее на английские манеры.

У его в саду все дорожки были посыпаны желтым песком и была полная чистота и порядок.

Когда приезжали гости к помещику Берестову, то его богатству завидовали и хвалили его, но он говорил с насмешкой, что «где мне так жить, как у меня сосед Муромский Григорий Иванович, он живет на английский лад и на большую ногу, а мне бы жить хоть сытно». И эти слова Ивана Петровича часто доносили до Муромского Григория Ивановича, и поэтому они не имели промежду себя дружбы и один к одному не ходили, даже опасались встретиться нечаянно.

И вот в одно осеннее ясное утро приезжает его сын, из военной службы, молодой барин Алексей Берестов.

Его очень любили все окружающие барышни, так как он был парень бравый. Он каждое утро имел привычку ходить на охоту в лес, не столько на охоту, сколько на прогулку.

Также часто слышала об ём Лизавета Григорьевна, но познакомиться ей никак не удавалось, но признавалась, если сходить в ихнее село, то считала неприличным: «Как будто я за ним гоняюсь». За Лизой ухаживала ее прислуга Настя, которой она открывала всю тайну. И Настю Лиза очень любила. И вот в одно время Настя одевала Лизу и говорит:

— Позвольте мне сегодня, Лиза, сходить в гости к Берестовым.

— Это зачем?

— Потому что поварова жена именинница сегодня, и меня они сегодня приглашали на обед.

— Господа в ссоре, а вы вздумали гоститья.

— А нам какое дело до господ.

И вот Лиза согласилась ее отпустить и просила посмотреть на молодого Берестова, постараться хорошенько его рассмотреть, на что Настя давала свое согласие. По возвращении с обеда Настя Лиза с нетерпением ожидала ее возвращения.

Когда стала спрашивать, а Настя стала говорить, кто был там в гостях.

— Да мне какое дело до ваших гостей, ты мне сказывай скорей, видала ли ты молодого Берестова?

— Видала.

— Ну, как он тебе понравился?

— Очень хороший.

— Он, говорят, очень угрюм и невесел.

— Да, нет, это пустяки, наоборот, он очень веселый. С нами даже играл в горелки.

— Да полно, Настя, ты врешь.

— Воля ваша, Лиза, я не вру. Да что вздумал,— словит и начнет целовать.

— Нет, ты врешь, Настя.

— Воля ваша, я не вру.

— Да, ведь он, говорят, влюблен в одну петербургскую барышню, от которой имеет кольцо и имеет переписку.

— Я не знаю, как с людьми, а с нами был очень любезен и весел.

— Как хочется мне посмотреть, Настя, этого Алексея Берестова!

— Так за чем же дело? Не так далеко деревня Тугилово. Лишь только стоит сходить.

— Тогда что ж подумает Берестов, я за ним гоняюсь. Нет, вот что: я наряжусь крестьянкой, и он меня тогда не узнает, а я посмотрю.

— Вот самое лучшее!

И Настя ей купила синей китайки и сшила при помощи других придворных девчат моментально сарафан и платок: «А я говорить по-деревенски умею». И когда примерила Лиза приготовленный для ей наряд, посмотрела в зеркало и сама себе очень понравилась и вышла во двор пройтись босая. Но горе было в том, что ее непривычные ноги не могли ходить по земле, потому что ощущалась сильная боль. Но это горе невеликое, а Настя ей и тут помогла: «Я сейчас сбегая к Трофиму-пастуху. Он тебе моментально сплетет пару лаптей». Настя сняла с Лизиной ноги мерку и сбегала к пастуху и заказала по мерке пару лаптей. И наутро чуть стала заря брезжиться, пастух заиграл в рожок, а Настя выбежала к нему, и он ей подал па-

ру лаптей, и она ему дала в награду полтину денег. Тогда Настя нарядила Лизу крестьянкой и велела итти с кузовом за грибами. И вот Лиза встала рано утром и пошла в рошу, только стало солнце всходить. Взошла в рошу и остановилась. Все-таки ей стало немножко жутко и робко. Еще хотела пойти дальше, как на нее залаяла собака, и Лиза тут закричала и завизжала. Как вдруг ей из-за кустарника показался молодой охотник и сказал:

— Не бойся, душенька, моя собака не укусит.

— А кто ее знает, барин, я собак очень боюсь.

— Нет, моя собака умная, она не укусит. Ты чья будешь? — спрашивает молодой барин.

— Я из деревни Тугилово, дочь Василья-кузнеца.

— А как тебя звать?

— Акулиной. А вы барин Берестов?

— Нет, я не барин, а я коминтер,— все не выговариваю, ну, слуга барина.

— Конечно, ты барин, не обманывай меня, я ведь понимаю, что барин, что прислуга.

— А откуда набралась такой премудрости? Тебя ли не моя знакомая Настя научила?

Потому что Лиза проговорила несколько слов по-барски.

— Почему ты надо мной подозреваешь, барин? Разве я не бываю на барском дворе? Я часто там бываю и часто слышу их разговор. Но вас можно легко отличить от слуги. Во-первых, ты и баешь не по-нашему, и одет не так.

И вот молодому Берестову сразу понравилась Акулина, и он хотел ее обнять, и она вдруг отпрыгнула от него, а у ее за плечами болтался на веревочке кузовок: «С тобой, барин, проболтаешь — и грибов не наберешь. Прощенья просим. Ты иди в сторону, а я пойду в другую». Но Берестов взял ее за руку и задержал:

— Я завтра же приду к вашему отцу и посету его.

— Нет, сделай милость, пожалуйста, не приходи. Когда мой отец Василий-кузнец узнает, что я наедине в роше с барином болтаю, то он меня избьет до полусмерти.

— Так когда же у нас будет обратно свидание?

— А я как-нибудь время выберу, обратно приду за грибами в рошу.

— А когда же?

— Да хоть завтра.

И вот она попрощались. И она ранним утром возвращалась из роши с прогулки. Кто мог подумать, что семнадцатилетняя барышня так рано утром могла ходить в лес на прогулку. Но ее Настя уже ожидала. Чуть только она успела переодеться,

как ее повстречал отец Григорий Иванович и похвалил за раннюю прогулку: «Нет ничего полезнее для молодой девицы, как ранняя прогулка. Тот человек долго живет на свете, кто рано встает и гуляет на чистом воздухе».

И она рассказала Насте все подробно, как встретила молодого барина, а Настя спросила:

— Ну, как он вам понравился?

— Очень понравился, Настя.

Но уж она было раскаялась и не хотела идти больше, но так как боялась, что он придет в Тугилово и будет разыскивать Василья-кузнеца дочь и посмотрит рябую Акулину, то он сразу догадается, в чем дело. А поэтому она решила обратнo идти. Когда она пришла на следующее утро, то ее уже Берестов ожидал с полчаса. И у их стали свидания очень частыя. И Берестов, не замечая себя, стал влюблятья в барышню-крестьянку, милую Акулину. Но она взяла с его слово, чтоб он никогда ее не разыскивал и не спрашивал о ней. Он ей обещал, а с ей спросил: «Ты будешь ли ко мне ходить на свидания?» Она сказала:

— Буду.

— Побожись.

— Вот тебе святая пятница, буду!

И вот в одно осеннее ясное утро Берестов взял несколько гончих собак и мальчишек с трещотками и поехал на охоту, а Муромский Григорий Иванович посмотрел на хорошую погоду, вздумал объехать свои владения и вдруг нечаянно наехал на Берестова. Не так далеко повстречался с ним, на пистолетный выстрел. Тогда делать было нечего, Муромский подъехал и поздоровался, и так же ему ответил поклоном Берестов, хоть не так с охотою, как медведь по приказанию своего вожатого. И вот, когда мальчишки затрещали в трещотки, выскочил заяц. Берестов выстрелил, а Муромского его куца кобыла так испугалась и понесла его во всю конную рысь, а потом так вкруте повернула к оврагу, что Муромский не усидел и вылетел из седла, и упал на мерзлую землю, и очень сильно ушибся. Тогда он стал проклинать свою кобылицу и эту раннюю прогулку, а между тем увидел Берестов своего соседа, и он подъехал к нему и помог ему встать: «А может, вы сильно очень ушиблись, Григорий Иванович?» Он ему признался: «Да, я ушибся и ушиб слишком ногу».

Тогда Иван Петрович попросил его к себе в гости на обед, и он уже не смел отказатья от своего соседа и поехал к нему. Когда он отобедал, то у Берестова попросил дрожки, так как он верхом ехать не мог. А их пригласил обязательно обех смолoдым Берестовым. Когда же въехал на двор к себе, то выбе-

жала к нему навстречу его любимая шалунья-дочь Лиза и спрашивает:

— Откуда ты приехал и чьи у тебя дрожки?

— А вот уж ни за что не отгадаешь. Это дрожки Берестовых. Я был у них в гостях. А завтра они оба будут у нас.

У Лизы по телу даже пробежал мороз.

— А ты должна их обязательно принять и познакомиться с молодым баринном.

— Нет, папа, я ни за что им не покажусь и не выйду.

— Это еще что за вздор?

— Нет, я ни за что не покажусь.

Отец с ней не стал спорить, так как знал ее капризы. А на другой день призвал к себе Лизу и спросил:

— Ну как, примешь гостей Берестовых?

— Я приму и покажусь, если только ты мне дашь слово, что никакого вида не покажешь, как я к ним покажусь.

— Ну, обратно задумала какие-нибудь капризы. Ну да ладно.

Ей не хотелось казаться, чтобы не узнал Берестов ее, и очень хотелось посмотреть, как он будет вести себя у господ. И она при помощи Насти украла у своей няни-англичанки коробку с белилами и так набелилась и так завила свои волосы и всклочила, что ничуть не похожа была на Лизу. А сама себя перетянула очень сильно ремнем.

В назначенное время въехал на шести лошадях Иван Петрович Берестов, а молодой Берестов приехал вследом за ним верхом.

Когда Муромский их усадил за стол, то послал за Лизой. Молодой Берестов тоже много слышал о Лизе и с нетерпением ждал ее появления.

И он думал, что идет Лиза, а тут как раз вошла няня-англичанка, но вскоре за ней пришла и Лиза, столь набеленная, так перетянутая, и волосы ее были вспудрены, что ничуть не похожа была на ее. Отец хотел засмеяться и что-то сказать, но вдруг вздумал данное ей обещание, закусил губу и замолчал.

Старый Берестов при здраванье поцеловал ее руки, а молодой барин только коснулся пальчиков, и почувствовал он ее руки дрожь. И Лиза во время обеда очень мало говорила и говорила только по-французски нараспев. По окончании обеда, когда уехали Берестовы, Лиза разрядилась. Отец призвал ее и долго смеялся над ней и говорит: «Вот, дочка, тебе очень идут белила. И что ты вздумала это дурачить Берестовых?» Но одна ее няня-англичанка была очень недовольна, потому что

узнала, что белилась ее белилами, и думала, что насмех. Будет смеяться на ее белила.

Но когда Лиза ее убедила, что она взяла на насмех, так как оне мне очень потребовались, тогда она помирилась и ее простила и еще вдобавок дала коробку белил.

А на другой день рано утром Лиза пошла в рошу в указанное место на свидание с Берестовым. А Берестов уже был там.

— Ну как, барин, был в гостях у наших господ?

— Был.

— Ну как. Чай, очень понравилась наша барышня?

— Нет, не особенно.

— Ну, барин, ты врешь. Она такая хорошая, беленькая. А правда ли, барин, что люди говорят, что я на ее похожа?

— Брось ты такую чушь говорить, она против тебя урод уродом.

— Ну что ты, барин. Нет, это ты смеешься! Разве можно меня сравнить с барышней. Она человек, чисто одета, образованная, а вдобавок грамотная, а я простая деревенская девчонка!

— А если хошь, то и тебя выучу грамоте.

— Пожалуй! Когда же мы займемся?

— Когда угодно.

— А хоть сейчас.

И молодой Берестов вынимает записную книжку и начинает ей писать азбуку-буквы. И Акулина очень скоро поняла буквы, а на следующий день уже начинает читать некоторые слова по складам. И вскоре после этого у их уже завязалась переписка, а почтальоном была Настя, а почтой служило дупло дуба. А между тем у старых господ, ихних отцов, дружба все увеличивалась и увеличивалась, и оне, наконец, решили сосвататься.

Отец Лизы думал, если Лиза выйдет за Берестова, то она будет счастлива, потому что он слишком богатый, а Берестов думал наоборот: «Хотя она не так из богатых, но она ни в чем не виновата, потому что ее отец почти все промотал и перьвой сумел заложить в кредит последние именья. Но только остались не промотаны брильянды после матери, которые надевает теперь при появлении хороших гостей Лиза». И так же была она одета в эти брильянды при Берестовых. Но он завидовал, что у его дядя знаменитый граф, который в его время играл большую роль.

И вот в одно прекрасное время Берестов призывает своего сына Алексея к себе в кабинет и говорит:

— Ну что ж, Олеша, ты и перестал говорить о военном мун-

дире, или тебе уже не нравится военная служба, хочешь быть статским?

— Да, папа, я хочу быть послушным сыном тебе.

— Вот это хорошо,— так как отцю не нравилась эта военная служба. После некоторых разговоров отец ему сказал:

— Ты знаешь, мой милый сын, зачем я вас к себе призвал?

— Не знаю.

— Я вас первым долгом намерен женить.

— На ком же?

— На Лизавете Григорьевне Муромской.

— Я жениться не намерен и не хочу.

— А я хочу вас женить.

— Она мне не нравится.

— После понравится.

— Я не могу ее устроить счастье.

— Эта забота будет не твоя. Я устрою счастье.

Но Алексей наотрез отказался отцу от женитьбы. Тогда отец говорит: «Так так-то, такой ты покорный сын? Только что говорил, что я буду вас слушать. Прошла несколько минут, уж не хочешь слушать. Если только ты не послушаешь, то я промотаю все имение и тебе не дам ни одной копейки денег и прогоню тебя с глаз долой. Иди и шатайся. Вот тебе сроку на три дня, иди и думай».

Старый Берестов был очень сурового характера, что скажет, то его уже не переверотишь. Но и сын его был такой же характер, как и отец, что скажет, то его уже не переверотишь, и не хотелось ему очень жениться не на милой невесте. Он долго думал, что трудно с отцом бороться, и не хотелось быть ему нищим. И вот он думал, думал и решил все-таки жениться на крестьянке, Василия-кузнеча дочери: «Я, мол, буду работать совместно с Васильем-кузнецом чернорабочим и будем кормиться совместно с милой Акулиной». И он тут же взял написал письмо Акулине большими буквами и снес в дупло и признался ей в любви и просил ее руки, и сам не спал почти всю ночь и обдумывал, как поступить лучше. И вот он решил съездить к Муромскому Григорию Ивановичу и объяснить ему во всем лично с ним. И он оседлал рысака, сел верхом и приехал безо всякого доклада во двор именья Муромского. И спрашивает слугу: «Дома Григорий Иванович?» Тот отвечает:

— Нет.

— Как досадно! А Лизавета Григорьевна дома?

Он немного подумал и сказал: «Все равно, пойду к ней самой объяснюсь, еще лучше». И он безо всякого доклада взшел в ее комнату и остолбенел. Что он видит. Сидит милая Акулина в белом утреннем платье на окне и читает его письмо. Она

так увлеклась в чтении этого письма, даже не слыхала, как взошел молодой Берестов. Когда она обернулась, хотела убежать, а он ее схватил и начал целовать и кричит: «Милая Акулина!» — а потом смѣшивается и называет: «Лизавета Григорьевна». И с ней тут же была эта мадам-англичанка, и она не знала, на что подумать. И в это же самое время взошел Григорий Иванович Муромский и увидел эту сцену и сказал: «Да ведь у нас уже, кажется, все налажено». И, конечно, молодой Берестов больше уже не отказывался от своей женитьбы. Они оба не верили, что когда-нибудь сойдутся и будут жить вместе. Берестов не верил, потому что ему никогда отец не позволит жениться на крестьянке. А Лиза, наоборот, думала, потому что промежду отцов такая ссора, и потому ей никогда не быть замужем за Берестовым. А впоследствии, как говорится, сама судьба свела их, и оне поженились по любви и по согласию.

И задали пир, как говорится, на весь мир, и я там был, вино-брагу пил, по усам текло, а в рот не попало.

2. ПЕРЕСКАЗ К. Т. КЛИШКОВОЙ

Жил царь. И у царя был сын. . . Ну и вот, у царя был сын. И сын етат хадил па ахоты, гулял везде. Адин царь жил так, как вот ў Жданаве, а другой как ў друой дяревне. А у етава царя был сын. Сильна был хороший, красивый. А ў тарова царя была дочка, тожа хорошая, хорошая, красивая дочка. Ну и от этат царёв сын ўсё ходит на ахоты. Ходит, а тут, у тарова царя яво видють и гаварять, што «у царя, — гаварять, — сильна красивый сын. Ў того. Вот што бы с табой познакомится б». Ета. . . на ету на царя, другова царя на эту дочку. «Аёв-аёв, как жа яво б увидеть, этава б царя», — тая уже деўка, валнуется. Што как бы яво увидеть.

Тагда. . . А яшо жил на дяревне кузнец. У кузница была дочка Лиза, простая была. Ну и вот эта тагда. . . Што ж эта? «Знаете што, — гаварить, — дайте я, — гаварить, — па-дяревенски аденуся», — эта ужу ўтарова царя дочка. «Как он пайдёт на ахоту, а я к яму выйду наўстречу. Мол, как па грибам». Лапти адела ана, адёжу такую. Ну, как дерявенская деўчонка, эта царёва дочка. И видить, баринав сын идёт. С сабакай, с ружьём. Ў паходы ходит. Прагуливается. Шчас ана к яму наўстречу. «Ой! Меня сабака ваша спугала. Што эта, барин, вы так ходите? Вы с сабакам не хадите, а то я ўроде пугаюсь». Барин загляделся на яё и пандравилась ана яму. Лапти адеты, ўсё. Аёв-аёв. Стал там с ей разгаваривать, ўсё, па-харошему. Где вы живёте да как?

— На! А во! Кузняца, кузняцова дочка Лиза, — ана ужо эта гаварить, кузняца там называя, — дочка Лиза.

— Как же вы живёте? Ну, давай, мы будем с табой ўстрячатся. — Эта уже барин. — Вы, — гаварить, — граматная?»

— Не, няграматная, ня адной буквы ня знаю. — Ана. А сама граматная.

— Тагда. . . Ну ладна, заўтра мы стренемся. Ат такое-та ўремя, ў таком-та месте. Я, — гаварить, — с вам пагаварю.

Пришла дамой, и не даждаться тагда даже и дня, кагда бы ўстретиться. И барин ня знаить ничаво, што эта дочка ходит, сходила. Ну назаўтрия апять она, адяёт эти лапти, сарафан. Всё. Пашла. Пашла, ужо и барин этат идёт с ей ўстрячатся. «Ну, давай, — гаварить, — я тебе буду граматы учить». Што скажить, ана сразу запаминать. Буквы все запаминать. Писать паказываить — всё запаминать. Так быстра-та панимаить, так учится! Ну и вот ана там хадила, скока, раза три сходила.

Тагда этат царь приглашаить, хочет как-та пазнакомить с сваей, с етай. (Ана ня знаить, што. . .) Царь ня знаить, што

ана ужо с им знакома, с этим, с сынам. А хочеть как-та, их хочеть как-та свесть ў места. Двух. Пажанить. Тагда... А как ана? Гаварить:

— Я буду приглашать вот етава с сынам к себе ў гости.

Ана:

— Ты што, папа, не приглашай.— (Што сын придёт и узнать яё.) — Ты што, папа, не приглашай, ня нада.

— Ну как не приглашай,— приглашу.

— Ну приглашай яво без сына.

— Ну как, с сынам нада пригласить. Ну как. . .

— Ну, ну, ладна. Ну знаешь,— гаварить,— папа, ну приглашай, угашай. Толька ничаво ты мне не скажи, какая ль я ня выйду.— Кагда ане придут ў гости, ана выйдет с сваей комнаты.— Какая я ня выйду, ты мне ничаво не скажи.

Ну што ж, нада выхадить. Пришли ў гости. Вот она узяла, навесила разные бриленты, накрасилась, што она там толька не навесила! Штоб как хуже и не была б. Ну, ой как аттудава. Ну её, ухади. Как вышла, царь спугался, а дал слова, што будить малчать. Што такое с ей палучилась? Уся абвесивши. Ну. . . А етат, чтоб пагаварил бы он с ей бы етат ужо, сынаў атец. А он дажа атвярнулс ат яё*: «Акулина мая куда лучшей». Ета Акулиной сама себя называла. «Лучшей!» Ну да, Акулина. Вот я сказала Лиза. . . «Куда,— гаварить,— лучшей. . .» Или Лиза. . . чёрт яво. . . Ну эта вся равно, што Акулина, то и Лиза. «Куда — гаварить,— лучшей. Я с такой буду жаниться. Нада ана мне такая. Чу! Какая». Дажа не пондравилась она яму. Пришёл дамой и гаварить сваёму атцу: «Не, ня нада ана мне, и в какую ня нада! Ну ня буду!» Ну, царь заставляеть сына жаниться. Ну, што яму делать? Тагда он надумался што сделать: «Напишу шас записку и перядам, што ня думай, ты мне ня нада, ня буду я тебе замуж брать. Тагда не! пака буду передавать, снясу я сам эту записку в еную комнату, где ана спить. Вот эта царёва дочка. А пайду на свидание к сваей Акулины. . . К этай». Ну и што, пашёл. Приходить ў эту комнату. На, Акулина сидить**. Эта царёва дочка. Ой, ухвотилс он за яе! «Ой! Акулинушка ты мая!»

А как эта так палучилась? Ну и вот так и палучилась. И пожанился на этой. Ну там, где ня так, падправите. Ну вот так и пожанился.

— А от кого Вы переняли эту сказку, Клавдия Терентьевна? Кто рассказал ее?

* Улыбка.

** Смех.

— А ета давно. От ета у нас жила такая старушка, партни-ха. Ана сильна читала раманы, ўсякие разные. Но эта сказка ваабше.

— Это сказка?

— Аҫа

— Не роман?

— Не, эта сказка.

— А какие она рассказывала романы еще?

— А вот. Ой, хорошие.



А. Битов, Р. Габриадзе
ПУШКИН ЗА ГРАНИЦЕЙ
(фрагменты)

СВОБОДУ ПУШКИНУ

Я в Париже,
Я начал жить, а не дышать.

Эпиграф из Дмитриева
к главе I «Арапа Петра Великого»

Вот уже почти два века мы перемываем Пушкину кости, полагая, что возводим ему памятник по его же проекту. Выходит, он же преподносит нам единственный опыт загробного существования. По Пушкину можно судить — мы ему доверяем.

Рассчитываясь с ним, мы отвели ему первое место во всем том, чему не просоответствовали сами. Он не только первый наш поэт, но и первый прозаик, историк, гражданин, профессионал, издатель, лицеист, лингвист, спортсмен, любовник, друг... В этом же ряду Пушкин — первый наш невыездовой.

Тема «Пушкин и заграница» достаточно обширна, но и очевидна, чтобы долгим текстом отнимать здесь площадь у свободного рисунка. Достаточно сказать, что Пушкин много раз *хотел* за границу и столько же раз его не пустили.

Еще в 1820 г. молодой Тютчев живо обсуждает с Погодиным слух о том, что Пушкин сбежал в Грецию¹. Это и тогда было неудивительно.

В 1824-м, уже в Михайловском, Пушкин пробует и так и сяк переменить участь, изобретает себе «аневризм», который лечат лишь в Германии. Получен окончательный отказ, болезнь тут же проходит. Желание не проходит.

«Плетнев поручил мне (<...> сказать <тебе>, что он думает, что Пушкин хочет иметь пятнадцать тысяч, чтобы иметь способности *бежать* с ними в Америку или Грецию. Следственно, не надо их доставлять ему» (А. А. Воейкова — В. А. Жуковскому)².

Желание увидеть Европу перерастает в страсть хотя бы пересечь границу. Ему уже равно, что в Париж, что в Китай.

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменной убая:
К подножию ль стены далекого Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли, наконец,
Где Тасса не поет уже ночной гребец,
Где древних городов под пеплом дремлют мощи,
Где кипарисные благоухают рощи,
Повсюду я готов. Поедем...

(III, 191)

Но и в Китай не пустили.

Как всякий дворянин, он может покинуть Россию, но царь будет «огорчен». Огорчение это дорогого стоит...

Пушкин отправляется в «самоволку»: Грузия — единственная доступная в России заграница.

«Лошадь моя была готова. Я поехал с проводником. Утро было прекрасное. Солнце сияло. Мы ехали по широкому лугу, по густой зеленой траве, орошенной росой и каплями вчерашнего дождя. Перед нами бластала речка, через которую должны мы были переправиться. „Вот и Арпачай“, — сказал мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чу-

¹ См.: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888. Кн. 1. С. 109, 194—195.

² Записка А. А. Воейковой к В. А. Жуковскому о Пушкине//Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб., 1908. Вып. VIII. С. 86.

жой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимой мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по Югу, то по Северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России» (VIII, 463).

Удивительным образом фантазия авантюрного побега каждый раз совпадает с творческим кризисом, предшествующим творческому же взрыву. Не вышло уехать, и — «Годунов»! Не вышло еще раз, и — болдинская осень...

«Европеец» Брюллов: «Вскоре после того как я приехал в Петербург, вечером, ко мне пришел Пушкин и звал к себе ужинать. Я был не в духе, не хотел идти и долго отказывался, но он меня переупрямил и утащил с собою. Дети его уже спали, он их будил и выносил ко мне поодиночке на руках. Не шло это к нему, было грустно, рисовало передо мною картину натянутого семейного счастья, и я его спросил: „На кой чорт ты женился?“ Он мне отвечал: „Я хотел ехать за границу — меня не пустили, я попал в такое положение, что не знал, что мне делать, — и женился“»³.

Настоящий европеец, дипломат, вспоминает: «Пушкин никогда не бывал за границей... В разговоре с каким страданием во взгляде упоминал он о Лондоне и, в особенности, о Париже! С каким жаром отзывался он об удовольствии посещать знаменитых людей, великих ораторов, великих писателей!»⁴

Это накануне дуэли.

Невыносимо!

Мы часто, не академически, а по-человечески, думаем, что было бы, если бы Пушкин не погиб в 1837-м...

Что бы он написал?..

Как шла бы российская жизнь дальше, если бы в ней хотя бы присутствовал Александр Сергеевич? А здоровья в нем было лет на девяносто, до конца века.

Что было бы, если бы...

Если бы Пушкин увидел Париж и Рим, Лондон и Вену... Что было бы, если бы и они увидели его?

«Или мы очень ошибаемся, иль Мильтон, проезжая через Париж, не стал бы показывать себя как заезжий фигляр и в доме непотребной женщины забавлять общество чтением

³ Железнов М. И. Брюллов в гостях у Пушкина летом 1836 года // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 2. С. 333.

⁴ Леве-Веймар. «Из статьи о Пушкине в «Journal des Débats» // Рус. старина. 1900. Т. 101. Янв. С. 78.

стихов, писанных на языке неизвестном никому из присутствующих, жеманясь и рисуясь, то *закрывая глаза*, то *возводя их в потолок*. Разговоры его с Дегу, с Корнелем и Декартом не были б пошлым и изысканным пустословием; а в обществе играл бы он роль ему приличную, скромную роль благородного и хорошо воспитанного молодого человека» (XII, 143).

Что было бы, если бы...

Хорошо бы было.

Я попросил Резо Габриадзе выдать Пушкину визу. Он сделал это тут же и без промедления.

22 апреля 1989 г. Париж



ПУШКИН В ИСПАНИИ



Блюменцвейг



Болеслав









Умалаласъ
къ нѣма



Дѣловѣ мѣтафѣ
но зомѣдъ сѣ
Кокѣ!



Камѣралъ сѣ на нѣмѣ
къ чмѣнѣмъ лавѣмъ.



Дѣловѣ мѣтафѣ...

ГРУЗИЯ КАК ЗАГРАНИЦА

Я не помню дня, в который бы
я был веселее нынешнего.

Слова Пушкина о Тифлисе ⁵



1

Пушкин не был в Испании, однако написал о ней так, что каждый русский, попав после него и вместо него в эту страну, прибудет именно с пушкинским багажом и будет бормотать: «Я здесь, Инезилья, с гитарой и шпагой...» или «Шумит, бежит Гвадалквивир...»; в который раз поразится он точности поэта, не смущенный тем, что и шпаги-то нет и что Гвадалквивир — речка, имя которой вдвое шире ее самой.

Такова сила воображения!

⁵ Рассказ К. И. Савостьянова о встречах с Пушкиным в 1829 и 1833 г. (Сообщил А. Достоевский)//Пушкин и его современники. Л., 1928. Вып. 37. С. 148.

Зато певцом Кавказа Пушкин нам кажется бесспорным: сам первый увидел, сам первый написал. Слава автора «Кавказского пленника» преследовала его всю жизнь, долго заслоняя другие сочинения. Между тем и тут мы недооцениваем меру его воображения. И «Кавказский пленник» (1821), и «Не пой, красавица, при мне...» (1828) написаны человеком, все еще на Кавказе не побывавшим. «Сцена моей поэмы должна бы находиться на берегах шумного Терека, на границах Грузии, в глухих ущельях Кавказа, — я поставил моего героя в однообразных равнинах, где сам прожил два месяца» (XIII, 28).

И в Грузию-то попасть не так просто. Он хотел туда в 1819-м, просидел два месяца в ее ожидании (как его герой) в Минеральных Водах в 1820-м — так и не разрешили; в 1826-м ему опять захотелось...

«Из Петербурга поеду или в чужие края, то есть в Европу, или восвоюся, то есть во Псков, но вероятнее в Грузию...» (XIII, 329) — пишет он брату 18 мая 1827 г.

В апреле 1828-го они с князем Вяземским подают прошение на имя государя об определении в действующую армию на Кавказ... И вот результат:

«Искренно сожалея, что желания мои не могли быть исполнены, с благоговением приемлю решение Государя Императора и приношу сердечную благодарность Вашему превосходительству за снисходительное Ваше обо мне ходатайство.

Так как следующие 6 или 7 месяцев остануся я, вероятно, в бездействии, то желал бы я провести сие время в Париже, что, может быть, впоследствии мне уже не удастся» (Пушкин — Бенкендорфу, 21 апреля 1828 г.) (XIV, 11).

Россия! В проблему поездки поэта в пределах империи включены: сам Государь, его брат великий князь Константин (категорически против!), начальник Третьего Отделения генерал Бенкендорф... Вот из воспоминаний чиновника этого отделения:

«Когда ген(ерал) Бенкендорф объявил Пушкину, что Его Величество не изъявил на это соизволения, Пушкин впал в болезненное отчаяние, сон и аппетит оставили его, желчь сильно разлилась в нем, и он опасно занемог. Тронутый вестью о болезни поэта, я поспешил к нему. <...>

Человек поэта встретил нас в передней словами, что Александр Сергеевич болен и никого не принимает.

— Кроме сожаления о его положении, мне необходимо сказать ему несколько слов. Доложи Александру Сергеевичу, что *Ивановский* хочет видеть его.

Лишь только выговорил я эти слова, Пушкин произнес из своей комнаты:

— Андрей Андреевич, милости прошу!

Мы нашли его в постели худого, с лицом и глазами, совершенно пожелтевшими.

— Правда ли, что вы заболели от отказа в определении вас в турецкую армию?

— Да, этот отказ имеет для меня обширный и тяжкий смысл... <...>

— Если б вы просили о присоединении вас к одной из походных канцелярий: Александра Христофоровича или графа Нессельроде... это иное дело, весьма быточное, вовсе чуждое неодолимых препятствий.

— Ничего лучшего я не желал бы!.. И вы думаете, что это можно еще сделать? — воскликнул он с обычным своим водовешением.

— Конечно, можно. <...>

— Превосходная мысль! Об этом надо подумать! — воскликнул Пушкин, очевидно оживший.

— Итак, теперь можно быть уверенным, что вы решительно отказались от намерения своего — ехать в Париж?

Здесь печально-угрюмое облако пробежало по его челу.

— Да, после неудачи моей я не знал, что делать мне с своею особою, и решился на просьбу о поездке в Париж.

<...> Мы обнялись»⁶.

Так Париж и Грузия становятся в судьбе Пушкина на некоторое время синонимами недоступности, т. е. и Грузия становится границей. Париж, возможно, и достигим, если воспользоваться «правом каждого дворянина на выезд». Но это значит поставить себя в положение невозвращенца. Грузия, выходит, еще более недостижима, ибо в пределах империи решения власти неоспоримы. Впрочем, и Грузия доступна, если стать сотрудником Третьего Отделения... И в те времена это толкуется однозначно, как в наши: «Пушкину предлагали служить в канцелярии Третьего Отделения!»⁷ — восклицает в своей записной книжке Н. В. Путья.

Невыездной, невозвращенец, сотрудник — ничего себе выбор! Весь набор.

Границы свободы, обретенной Пушкиным после возвращения из ссылки, не только определились, но и замкнулись. Год мечется невыездной Пушкин, делая предложения чудесным невестам — Ушаковой, Олениной, будто они тоже Париж или Грузия. Успевает, однако, написать «Полтаву». Наконец, он де-

⁶ *Ивановский А. А.* А. С. Пушкин//Рус. старина. 1874. № 2. С. 396—399.

⁷ *Путья Н. В.* Из записной книжки//А. С. Путья в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 2. С. 6.

лает предложение Наталье Гончаровой и удирает на Кавказ без всякого разрешения ни женитьбы, ни поездки...

«Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее только что начинали замечать в обществе. Я ее полюбил, голова у меня закружилась; я просил ее руки. Ответ ваш, при всей его неопределенности, едва не свел меня с ума; в ту же ночь я уехал в армию. Спросите,—зачем? Клянусь, сам не умею сказать; но тоска произвольная гнала меня из Москвы: я бы не мог в ней вынести присутствия Вашего и ее» (Пушкин — будущей теще, в первой половине апреля 1830 г.) (XIV, 75).

2

Необыкновенное чувство свободы и молодости охватило его. Встречи с друзьями, простота и равенство военных биваков, свобода реальной войны — будто это Петербург был казармой, а здесь — увольнительная. Пушкин играет в обретенную свободу, как дитя. Он без конца переодевается — то в черкеску, то в красный турецкий фесс, то в странный маленький цилиндр, обвешивается шашками, кинжалами и пистолетами. Казалось бы, сейчас ему полюбоваться пропущенными кавказскими красотами — невтерпеж! «Едва прошли сутки, и уже рева Терека и его безобразные водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания. Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мною». Тридцатилетие свое он встречает по дороге в Душети, увязая в грязи по колено. «Блохи, которые гораздо опаснее шакалов, напали на меня и во всю ночь не дали мне покою» (VIII, 455).

Тифлис надолго запомнил поэта! Он бросился в глаза не только его поклонникам — простые люди кивали головами и расспрашивали, кто это. Он выходил на рассвете в нижнем белье покупать груши и тут же поедал их без всякого стеснения, шатался по базару в обнимку с татаринком, нес охапку чуреков... Из всех его непривычных здесь нарядов самым ярким был плащ свободы, который развевался за ним. Этот ветер, раздававшийся вслед за поэтом, ослепительный его смех запомнили люди, не ведавшие ничего о его поэзии.

Были и другие радости — тифлиссские бани, пиры со старыми русскими и новыми грузинскими друзьями, был ими устроенный первый и последний в его жизни 30-летний юбилей, «праздник в европейско-восточном вкусе»... Вот свидетельство одного из участников:

«Тут была и зурна, и тамаша, и лезгинка, и заунывная персидская песня, и Ахало, и Алаверды (грузинские песни), и



Якшиол, и Байрон был на сцене, и все европейское, западное смешалось с восточно-азиатским разнообразием в устах образованной молодежи, и скромный Пушкин наш приводил в восторг всех, забавлял, восхищал своими милыми рассказами и каламбурами. Действительно Пушкин в этот вечер был в апотеозе душевного веселия, как никогда и никто его не видел в таком счастливом расположении духа...»⁸

Но и это была еще не вся радость, к какой рвался Пушкин... Сильнее всего манило его поле боя!

Воинственность Пушкина в этом походе просто поразительна. Как ни стерегут его от опасности, он умудряется ускольз-

⁸ Рассказ К. И. Савостьянова о встречах с Пушкиным в 1829 и 1833 г. С. 147.

нуть и оказаться в первых рядах, с саблей наголо или подхватив пику убитого только что казака. И он просто вне себя от того, как быстро бегут турки, чуть ли не топает ногой в детском гневе: когда же, когда удастся ему столкнуться с врагом один на один! Столкнуться, ему, слава Богу, не удастся, но нам достанутся строки:

Мчатся, сшиблись в общем крике...
 Посмотрите! каковы?...
 Делибаш уже на пики,
 А казак без головы.

(III, 199)

Кажется, эти неудачи в атаках чуть-чуть разочаруют его. На обратном пути он предается с той же страстью картежной игре. Даром что весь его побег на Кавказ объяснялся многими как затеянный шулерами, чтобы пощипать кавказских толстосумов за ширмой Пушкина. Допущение это «есть тяжелое согрешение против памяти Пушкина... Пушкин до кончины своей был ребенком в игре и в последние дни жизни проигрывал даже таким людям, которых, кроме него, обыгрывали все» (Павел Вяземский)⁹.

3

Короче, вся эта авантюра с пугешеством в Арзрум была едва ли не самой безмятежной и счастливой во всю пушкинскую жизнь. Доказательство тому возвращение, как в зеркале повторившее предотезные страсти. Уже в дороге читает он русские журналы, где «...всячески бранили меня и мои стихи... Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве» (VIII, 483).

Первым делом — к невесте. «Вдруг стук на крыльце, и вслед за тем в самую столовую влетает из прихожей калоша. Это Пушкин, торопливо раздевавшийся»¹⁰.

Вторым — письмо от Бенкендорфа: «Государь Император, узнав, по публичным известиям, что Вы, милостивый государь, странствовали за Кавказом и посещали Арзрум, высочайше повелеть мне изволил спросить Вас, по чьему позволению приняли Вы сие путешествие. Я же со своей стороны покорней-

⁹ Вяземский П. П. Собр. соч. СПб., 1893. С. 515—516.

¹⁰ Записано П. И. Бартеневым со слов С. Н. Гончарова//Бартенев П. И. О Пушкине. Страницы жизни поэта: Воспоминания современников. М., 1992. С. 286.



ше прошу уведомить меня, по каким причинам не изволили Вы сдержать данного мне слова и отправились в закавказские страны, не предуведомив меня о намерении Вашем сделать сие путешествие» (14 октября 1829 г.) (XIV, 49).

Пушкин — Бенкендорфу 7 января 1830 г.: «Так как я еще не женат и не связан службой, я желал бы сделать путешествие либо во Францию, либо в Италию. Однако если это мне не будет дозволено, я просил бы разрешения посетить Китай с отправляющейся туда миссией» (XIV, 56).

Через десять дней приходит отказ императора с замечательной мотивировкой, что такая поездка слишком расстроит его денежные дела и в то же время отвлечет его от его же занятий.

В марте 1830-го Пушкин вынужден объясняться по поводу еще одной самовольной отлучки, на этот раз в Москву. В том же месяце, соблюдая на сей раз дисциплину, он просится в Полтаву, и император «решительно запрещает ему это путешествие» (XIV, 75).

Симметрия во всем: на Кавказ не пускают автора «Кавказского пленника», в Полтаву — автора «Полтавы»...

И ему ничего не остается, как отправиться в Болдино, написать там ВСЕ, как перед казнью («Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю...»), и — жениться.

Так и останется Грузия — единственной в его жизни «заграницей». Такой она, с легкой его руки, достанется в наследство и всей последующей русской поэзии, всегда искавшей и находившей в Грузии единственное прибежище и место отдохновения от имперских гонений.

18 апреля 1990 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Иное дело культуры Нового времени, в которых традиции разрушены или поколеблены, космос осмыслен заново и сам взгляд на то, каким должен быть природный или социальный порядок, еще только вырабатывается или постоянно обновляется. Такие культуры не могут опереться на от века существующую мифологию — а между тем нуждаются в ней для собственного обустройства, для закрепления своих новых норм. Эта нужда чрезвычайно настоятельна, и удовлетворить ее может только рождение новых мифов. Европа Нового времени столкнулась с этой проблемой, как только стал рушиться средневековый порядок.

Геоцентризм — и гелиоцентризм, теоцентризм — и антропоцентризм, вера в бессмертие души — и неверие в него, вера в единого Бога, трансцендентного миру, — и пантеистическое верование в Бога, растворенного в природе. Эти и множество других оппозиций, заключающих в себе кардинально противоположные друг другу картины мира, — вот безумная система отсчета, в которую попадал человек того времени, когда средневековая и возрожденческая картины мира конкурировали на равных, взаимно опровергая друг друга. Средний человек, который не становился апологетом того или иного взгляда, а просто жил в мире и пытался в нем ориентироваться, остро нуждался в новой мифологии, не тождественной ни старой церковной схоластике, ни новым гуманистическим воззрениям.

И такой миф был создан Шекспиром. Им был создан мир близнецов, в котором все двойится и нуждается в различении, нуждается — но ежеминутно провоцирует к ложному отождествлению. Нераспознаваемые близнецы-братья, мужчины под видом женщин и женщины под видом мужчин, сон под видом смерти и смерть под видом сна, добродетель под видом порока и порок под видом добродетели, комедия под видом трагедии и трагедия под видом комедии, жизнь под видом театра и театр под видом жизни... Будь то комедийный сюжет «Сна в летнюю ночь» или трагический сюжет «Гамлета», задача различить двоящийся мир, опознать что есть что и кто есть кто остается главной. Она составляет то центральное испытание, которое определяет сущность шекспировского мифа как мифа переходного времени. Но этот миф не знает счастливого исхода, когда неразличимый хаос умиротворяется, переходя в стабильный космос. Символический финал шекспировского мифа — Просперо, бросающий волшебный жезл в море, человек, отказывающийся от способности управлять природными и социальными стихиями.

Подобный финал можно считать в высшей степени знаменательным для мифа секуляризованной культуры. Ибо, еди-

ножды отложившись от церкви, европейская культура раз и навсегда отложилась от устойчивого миропорядка как такового. В противоречие с ним вступил самый пафос обновления, присущий ей с этих пор.

Но на каждом витке, в каждый следующий момент обновления культура оглядывалась назад, и потребность ее в мифологии становилась все более и более острой. Вступая в XIX столетие, Европа уже отчетливо сформулировала эту потребность: романтизм вполне сознательно обратился к мифу, и изучая, и пропагандируя его. Следующий всплеск такого сознательного интереса произошел на следующем рубеже: Ф. Ницше, Р. Вагнер, З. Фрейд как бы заранее отвечали на запрос XX века.

Секуляризованная Россия в своей осознанной и неосознанной, сформулированной и несформулированной заинтересованности в мифе проходила те же этапы, что и Европа Нового времени. Церковный раскол спровоцировал мифотворчество протопопа Аввакума, главное напряжение воли которого заключалось в воссоединении распадающегося надвое мироздания, в скреплении единой скрепой сакрального, освященного преданием измерения бытия и другого его измерения — измерения бытового и профанного, неудержимо стремящегося обрести автономию¹. В XIX в. — мифотворчество Пушкина, Гоголя, Достоевского, на пороге XX в. — мифотворчество символистов, затем — мифы тоталитарного государства. . .

Итак, интерес секуляризованной культуры к мифу налицо, но несомненно также и то, что сделать миф своим безусловным достоянием она так и не смогла. Не случайно о мифах Нового времени мы почти всегда говорим в некоем условном, порой даже — в переносном смысле.

Некоторые причины такого положения вещей здесь необходимо указать, предварительно оговорив, каков же тот не условный, не переносный, а более или менее строгий смысл, который вкладывается в понятие «миф».

«Мифом» мы будем называть реальность, обладающую следующими четырьмя качествами.

Первое. Миф воплощается *в слове*. (Греческое *mythos* означает слово, предание, сказание, речь.) Но словесное повествование составляет лишь один аспект бытования мифа. Это обстоятельство мы хотим особенно подчеркнуть, ибо начиная с «Поэтики» Аристотеля и кончая современным бытовым слово-

¹ См.: Герасимова Н. М. К предьстории реалистической символики: (Символ и метафора в «Житии» протопопа Аввакума)//Вопросы историзма и реализма в русской литературе XIX—начала XX века. Л., 1985. С. 121—135.

употреблением миф сплошь и рядом толкуется именно как словесная — и только словесная — реальность.

Второе. Миф воплощается *в материи и действии*. Это происходит благодаря исконному единству мифа и ритуала² — ритуал же есть действие, всегда охватывающее материальное бытие, разворачивающееся не только в сознании или в слове — но и в самой плоти мира³. Миф поэтому не может быть измышлен или сочинен: он рождается через претерпевание.

Третье. Воплощаясь в слове, действии и материи, миф в то же время несводим к своим воплощениям: он только отчасти обнаруживает себя в них. Миф рождается из сокровенных и потаенных первооснов жизни. Неизреченный и невоплощаемый, исток мифа относится к области того, что мы называем *«сакральным», «мистическим»*. Это таинство жизни, это сокровенная мировая воля, которая лишь затем превращается в различение мира, логическое объяснение его и действование в нем.

Четвертое. Неизреченная и сокровенная основа мифа, пройдя через слово, действие и материю, воплотившись в них, становится *моделью* мирового порядка — моделью, которая указывает пути и способы превращения хаоса в космос. Эту важнейшую прагматическую функцию мифа Е. М. Мелетинский определяет как функцию по регулированию и поддержанию определенного природного и социального порядка. В качестве модели часто выступают события мифологического прошлого⁴.

Итак, миф есть слово о мире; миф есть плоть мира; миф есть неизреченное и невоплощаемое начало мира; миф есть законодательная модель мира. Только все эти четыре качества в их совокупности составляют то, что мы будем здесь называть мифом. (Легендой же будем называть то, что возникает и существует в одной только плоскости словесного. Легенда изначально рождается как повествование, как рассказ. Она может опираться на то, что действительно было, но имеет большую степень свободы от него. Миф, порвавший с первоосновой, из которой он родился, перестает быть мифом. Легенда может как угодно удаляться от реальности, о которой она повествует, обрастать вымышленными подробностями. Но она всегда отно-

² Глубочайшее единство мифа и ритуала, состоящее не в происхождении одного из другого, а в том, что миф постоянно актуализируется в ритуале, открыла функциональная школа этнологов. Попытки доказать приоритет мифа над ритуалом или ритуала над мифом ныне признаны наукой несостоятельными (см.: Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976. С. 154).

³ А. Ф. Лосев утверждает: «Миф не есть бытие идеальное, но — жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная действительность» (Лосев А. Ф. Диалектика мифа//Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С. 400—401).

⁴ См.: Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. С. 8, 171.

сится к области исключительного, она лишена законодательных полномочий мифа. Таким образом, главными свойствами легенды, отличающими ее от мифа, являются ее чисто повествовательная природа и ее преднамеренная или спонтанно возникшая «сочиненность».)

Вернемся теперь к вопросу о том, почему секуляризованная культура, так остро нуждаясь в мифе, всегда испытывала трудности, взаимодействуя с ним. Исчерпать здесь этот вопрос мы, разумеется, не сможем. Поэтому коснемся лишь тех причин, которые имеют прямое отношение к нашему предмету. Причины эти тесно связаны с вышеназванными качествами мифа.

Мифы «традиционных» культур рождены из сакрального источника, составляющего сердцевину культурного космоса. Антропоцентризм Нового времени поставил на центральное место не просто человека как такового, но человека как индивидуальность. Она-то и стала источником порождения новых мифов. Сакральная же сущность мифа — сущность явственно осознаваемая — провоцировала его творцов поддаться главнейшему искусству Нового времени — искусству самосакрализации. Недаром протопоп Аввакум сам написал свое Житие. Недаром Гоголь всем, кто пожелает приобрести его портрет, рекомендовал купить вместо него (а стало быть, в качестве эквивалента ему) гравюру с Рафаэлева «Преображения».

В тех же случаях, когда автор соблюдал дистанцию по отношению к творимому им или заново воплощаемому мифу (т. е. избегал самосакрализации), его создание чаще всего обретало только одну — словесную — ипостась. Таковы, например, «Доктор Фаустус» или «Иосиф и его братья» Т. Манна, где миф остается в одной только плоскости словесного повествования, а значит, и не становится мифом в том полном смысле, о котором мы говорили.

В фундаментальное противоречие с культурным космосом Нового времени вступает и то качество мифа, которое было обозначено как его способность служить законодательной моделью мира. Установка на воспроизведение этой модели обеспечивала «традиционным» культурам принцип «вечного возвращения», благодаря которому каждое индивидуальное событие обретало свой сущностный смысл лишь в той степени, в которой оно отождествлялось с раз навсегда предзаданной мифом универсалией⁵. Этот принцип мифа противоречит главному принципу истории, как ее понимает Новое время: он противоречит принципу новизны, которая теперь придает основной сущ-

⁵ См.: *Eliade M. Kosmos und Geschichte: Der Mythos der ewigen Wiederkehr.* München, 1966. S. 34 u. a.

ностный смысл событию. Подлинная сущность события теперь заключается в том, что вследствие него в мире появляется нечто, чего никогда прежде в нем не было. Принцип истории как чистой, совершенной новости и принцип мифа как вечной универсалии — они оказываются полярно противоположны друг другу⁶. Полярность эта, конечно, чрезвычайно затрудняет взаимодействие — однако не исключает его. Более того: ретропективный взгляд на мифологическую реальность обнаруживает в ней некую особую точку, в которой тенденция мифа и тенденция истории могут пересечься между собой. В этой точке стоит тот, кого современная наука называет *культурным героем*.

Вчитаемся в характеристику архаического культурного героя, данную Е. М. Мелетинским: «Мифическая эпоха — это эпоха первопредметов и перводействий: первый огонь, первое копые, первый дом и т. п. <...> актам первотворения соответствуют в архаических мифологиях жившие и действовавшие в мифическое время герои, которых можно назвать первопредками-демиургами — культурными героями. <...> Первопредок-демиург — культурный герой, собственно, моделирует первобытную общину в целом, отождествляемую с „настоящими людьми“». Архаические мифы творения, «во-первых, повествуют о возникновении того, чего раньше не было <...> или что было недоступно для человека, и, во-вторых, особое внимание уделяется внесению упорядоченности в природную <...> и социальную <...> сферу, а также введению обрядов, должествующих перманентно поддерживать установленный порядок. И вот эта самая упорядоченность специфически связана с деятельностью культурных героев. Иными словами, их специфика не сводится к добыванию культурных благ, культура включает в себя и общую упорядоченность, необходимую для нормальной жизни в равновесии с природным окружением. <...> постепенно „биография“ культурного героя сама приобретает парадигматический характер»⁷.

Итак, культурный герой приносит в мир новость — и если эпоха допускает, чтобы новость случилась не однажды, не только в момент первотворения, значит, в ней есть место мифическому культурному герою, который может появиться даже тогда, когда «первые времена» уже миновали. Но совершение того,

⁶ Такая поляризация, разумеется, несколько абсолютизирует тенденции как мифа, так и истории: она берет их в их крайностях. (Коррективы к концепции «вечного возвращения» применительно к мифу см.: Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. С. 154—155.) Но крайности в данном случае помогают более отчетливо различить явления.

⁷ Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. С. 173, 178, 199, 227.

«чего раньше не было», — не единственное требование к культурному герою. Другое, не менее настоятельное, заключается в том, что принесенная им новость должна остаться в мире как норма. В соединении этих двух требований и находится точка пересечения мифа и истории.

Сказанное дает основания полагать, что с возможностью появления культурного героя связан главный шанс секуляризованной культуры на обретение мифа. И думается, что Пушкин реализовал этот шанс.

2

Представление о том, что Пушкин — «первый», по-школьному прочно закрепилось в нашем сознании. Он и «первый поэт» (т. е. «лучший», «главный» поэт), и «создатель русского литературного языка», и «первый реалист»...⁸ При ближайшем рассмотрении это первенство оказывается, конечно, весьма сомнительным: понятно, что поэтов нельзя классифицировать по табели о рангах, понятно, что новая языковая норма вообще не формируется единолично — равно как и новое литературное направление. Но все эти разоблачения почему-то все равно не мешают где-то на уровне подсознания относиться к нему как к «первому». Вероятно, именно такое отношение заставило Гоголя сказать свою сакраментальную фразу: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком, он, может быть, явится через двести лет»⁹. В сущности, Гоголь провозгласил здесь Пушкина нашим культурным предком, и об этом же говорил Достоевский, подхвативший гоголевские слова: «Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание»¹⁰. Достоевский уже вполне отчетливо указывает на Пушкина как на того, кто принес в русский мир новость, ставшую нормой, причем нормой

⁸ См. высказывание А. Битова об этом в помещенных в нашем сборнике фрагментах серии «Пушкин за границей».

⁹ Гоголь Н. В. Несколько слов о Пушкине//Полн. собр. соч. [Л.], 1952. Т. VIII. С. 50.

¹⁰ Достоевский Ф. М. Пушкин//Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. XXVI. С. 136—137.

для всей русской культуры, а не какого-то одного лишь, частного ее проявления (хотя бы даже и такого значительного, как литература).

Но почему же единодушное признание этой новости всеми, кто обращен лицом к Пушкину, до сих пор так и не помогло нам отчетливо сформулировать, в каком, собственно, отношении он был первым? А между тем ответ на этот вопрос несомненно приблизил бы нас к пониманию пушкинского мифа. И почему сам Пушкин не дал нам подсказки?

Среди тех, кто оставляет свое имя в мировой истории, встречаются «люди образа» и «люди пути». Можно, не прочтя ни строчки Байрона или Гете, иметь все же достаточно выразительное представление о них, ибо в европейской памяти запечатлелись образы «мятежного Байрона» и «олимпийца Гете». Оба они, конечно, проходили через разные жизненные и творческие этапы, но итоговой доминантой в сознании современников и потомков оказался не пройденный ими путь, а именно могучий образ каждого. И это не случайность: оба сознательно работали над созданием собственного образа. Показательно, что обители Гете в Веймаре (хочется сказать: резиденция Гете) так легко превратилось после его смерти в музей. Уже при жизни великого старца оно было «музейным пространством», в котором все предметы внешнего мира служили выражению внутреннего мира их хозяина. Ничего подобного нельзя сказать ни об одном пушкинском жилье¹¹. И Гете, и Байрон — оба они были мифотворцами, переиначившими в соответствии со своими культурными установками традиционные мифы. Святотатственно пытавшего тайны творения и провалившегося за это в тартарары Фауста народной легенды Гете привел к спасению — и монументальность его творения стала одной из важнейших характеристик его личности. Байрон оспорил библейский канон — и дерзкое богоборчество тоже осталось в памяти как одна из главнейших черт личности мятежного лорда.

«Людьми образа» были и великие русские мифотворцы — протопоп Аввакум и Николай Васильевич Гоголь. При всей значимости для Аввакума христианской категории «пути», образ его остался в культурной памяти как константа, запечатленная его собственным автопортретом. И хотя в гоголевском творчестве отчетливо различимы этапы движения (классифи-

¹¹ Некоторым нынешним музейным сотрудникам не случайно так хочется «поселить» Пушкина в царское село Александровское: это придало бы Пушкину «олимпийский» статус, это превратило бы Царское Село в «русский Веймар» — перспектива весьма соблазнительная. Соблазнительная именно наглядностью и доступностью образа, который возникает в случае ее реализации, но резко искажающая пушкинский жизненный стиль.

кация которых подсказана им же самим), смеющийся и плачущий Гоголь — это два лика единого образа российского Януса.

«Люди образа» сами создают миф о себе и сами этот миф предъявляют. Но заметим: и олимпийство, и богоборчество, и самоличное написание собственного жития, и по житийному канону формируемое подвижничество писателя — все это проявление той или иной ипостаси самосакрализации. И еще: стремление к исчерпывающей предъявленности тоже противоречит сущностной природе мифа¹². Ибо предъявленная часть мифа — это, пользуясь избитым сравнением, — только верхушка айсберга.

Автобиографическая проза Пушкина скупа не только потому, что обстоятельства вынудили его уничтожить иные бумаги. Исчезнувшие рукописи тоже могут нести разную семантическую нагрузку. Сожжение второго тома «Мертвых душ» — жест колоссального значения, он вписан в текст жизни Гоголя. Сожженные же бумаги Пушкина составляют фигуру умолчания, в его жизненной и творческой позиции далеко не единственную: этот величайший мастер слова никогда не стремился воплотить в словесной субстанции всю полноту бытия (в отличие от Аввакума, для которого слово, в соответствии с христианской традицией, было всем, или от Гоголя, чаявшего посредством слова преобразить жизнь, которую для этого «всю, сколько ни есть», надобно было уловить, замкнуть в слове). Кристаллическая ясность пушкинского слова существует в контексте свободного дыхания мира, неизреченного и словесной фиксации не подлежащего. Глубины духовных и творческих импульсов, по Пушкину, не надлежит «пересказывать», тем более — объяснять и комментировать. Для тех же, кто стремится соприкоснуться с ними, достаточно оставить иногда ключи, указывающие на те реальности, через взаимодействие которых высекаются сокровенные смыслы (скажем, дата «19 октября», поставленная под знаменитым письмом Чаадаеву и — одновременно — под «Капитанской дочкой»).

Не то у Гоголя. Начиная с «Ревизора» его тексты постоянно обрастали авторскими комментариями типа «Театрального разезда...» или «〈Авторской исповеди〉», в которых автор, чрезвычайно озабоченный проблемой «организации аудитории», настойчиво разъяснял природу и назначение своих творческих усилий. Не менее активным «самокомментированием», комментированием собственной жизни занимался и другой великий русский

¹² Само по себе строительство образа обладает, конечно же, своей уникальной ценностью для культуры. Невольно возникающая здесь негативная оценка этого явления — лишь следствие того, что в нашем рассуждении оно рассматривается под определенным углом зрения, в контексте проблемы мифа.

мифотворец — протопоп Аввакум. Пушкинское же мифотворчество оказывается как бы даже нарочито непредъявленным («Шиш потомству» — XII, 336). Чего стоит один только факт неопубликованности маленьких трагедий как цикла. Вероятно, за этим стоит большая уверенность в том, что по подлинному востребованию потаенные связи выйдут на свет, ибо единожды совершенное уже не может исчезнуть.

И все же было бы неверно утверждать, что установка на создание своего образа была вообще чужда Пушкину. Именно ею ознаменован, например, начальный этап его пути, совпавший с периодом байронизма. Но он остался этапом, сполна пережитым — и преодоленным. А «ролевое поведение», присущее Пушкину в Петербурге и южной ссылке, вовлекало «образ поэта» в романтическую игру с различными, иногда противоречившими друг другу «образами личности». Само несовпадение этих образов носило принципиальный характер. Подчеркивалось, «что ум высокий можно скрыть/Безумной шалости под легким покрывалом» («К Каверину», 1817—1828 — I, 27).

Поэтому ретроспективный взгляд на Пушкина не уловит одного заданного им самим образа — он обнаружит калейдоскоп образов, сменяющих и оспаривающих друг друга.

Вот Пушкин — «шалун-поэт»¹³, «беспутная голова»¹⁴, «бешеный сорванец»¹⁵, «промагывающий» свой талант¹⁶, затевающий «всякий день дуэли; слава Богу, не смертоносные»¹⁷. Такой образ возникает в сознании современников не спонтанно: он формируется самим Пушкиным с изрядной нарочитостью. Родителям поэт объясняет: «Без шума никто не выходил из толпы»¹⁸, а приятелям рассказывает про себя «самые отчаянные анекдоты»¹⁹.

С образом Пушкина-бретера соперничает образ Пушкина-Ловласа²⁰, вечно влюбляющегося героя переписки образован-

¹³ Письмо А. Я. Булгакова К. Я. Булгакову от 12 июня 1825 г. // Рус. арх. 1901. № 6. С. 187.

¹⁴ Письмо Н. М. Карамзина И. И. Дмитриеву от 19 апреля 1820 г. // Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 287.

¹⁵ Письмо П. А. Вяземского В. А. Жуковскому от 25 апреля 1818 г. // *Вяземский П. П. А. С. Пушкин. 1816—1825: По документам Остафьевского архива.* СПб., 1880. С. 27.

¹⁶ Письмо К. Н. Батюшкова А. И. Тургеневу от 10 сентября 1818 г. // *Батюшков К. Н. Соч.* СПб., 1887. Т. III. С. 534.

¹⁷ Письмо Е. А. Карамзиной П. А. Вяземскому от 23 марта 1820 г. // *Старина и новизна. 1897. Кн. 1. С. 98 (подлинник по-французски).*

¹⁸ *Анненков П. А. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху: 1799—1826.* СПб., 1874. С. 85.

¹⁹ Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951. С. 41.

²⁰ См. об этом в статье М. В. Строганова в настоящем сборнике.

ных барышень²¹, и образ Пушкина-повесы, о похождениях которого на берегах Черного моря рассказываются легенды в детских и девичьих²².

Пушкин, предающийся «площадному вольнодумству»²³, — и Пушкин, «отлично добрый господин», «обыкновенно приходивший в монастырь по воскресеньям», мирно попивающий наливку со святогорским игуменом Ионой, по словам которого, «он ни во что не мешается и живет, как красная девка»²⁴.

А вот ни с чем не сравнимый, почти сказочный образ Пушкина на ярмарке: «...в ситцевой красной рубашке, опоясавши голубую ленточкою, с железною в руке тростию, с предлинными черными бакинбардами, которые более походят на бороду, так же с предлинными ногтями, с которыми он очищал шкорлупу в апельсинах и ел их с большим аппетитом, я думаю, около 1/2 дюж.»²⁵. Другой вариант этого предания: «Видели его на ярманке в красной рубашке с косым воротом (обложенным золотым газом) и в таковых же портах. Перед ним и за ним были друзья его нищие. В правой и в левой руке держал он по апельсину и так сдавил их, что сок тек и по рубашке и по порткам. Капитан-исправник заметил ему, что это неприлично для благородного человека. Вместо того чтобы послушать умных речей г. капитана-исправника, он (такой разбойник!) стал еще смеяться над ним»²⁶.

Этот ярмарочный Пушкин весьма далек от господина поэта, беседующего на петербургской набережной с меьею Онегиным. Тут — «панталоны, фрак, жилет — /Всех этих слов по-русски нет» (VI, 16). Впрочем, Пушкин рядился и по-молдавански — в Кишиневе, и по-гречески — в Одессе.

Без числа примеряются литературные маски: изгнанник Байрон и изгнанник Овидий, заточенный Андре Шенье... К собственному автопортрету прилаживается то облик Вольтера, то Робеспьера, то Наполеона, то Данте. Пушкин-монах и

²¹ См.: *Модзалевский Б. Л. Пушкин, Дельвиг и их петербургские друзья в письмах С. М. Дельвига* // *Модзалевский Б. Л. Пушкин*. [Л.], 1929. С. 150—152.

²² *Вяземский П. П. А. С. Пушкин. 1826—1837: По документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям*. СПб., 1880. С. 8.

²³ Письмо А. И. Тургенева к В. А. Жуковскому от 12 ноября 1818 г. // *Пушкин. Письма*. М.; Л., 1926. Т. 1. С. 191.

²⁴ *Шилов А. К биографии Пушкина: («Секретное расследование 1826 г. о «поступках известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в возбуждении крестьян к вольности»)* // *Былое*. 1918. № 2 (30). С. 75—76.

²⁵ Запись в дневнике торговца И. И. Лапина около 29 мая 1825 г. // *Софийский Л. И. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем*. Псков, 1912. С. 203.

²⁶ Письмо А. Е. Измайлова П. Л. Яковлеву от 11 сентября 1825 г. // *Литературное наследство*. М., 1952. Т. 58. С. 50.

Пушкин-арап, Пушкин-старик и Пушкин-женщина, Пушкин-юродивый и даже Пушкин-конь — такова феерия автозарисовок²⁷.

Примеры можно множить, но, как видим, они никак не дают единого монументального образа, пригодного для запечатления на скрижалях истории. Ибо Пушкин не был человеком образа: он был человеком пути. Пушкинский миф не формировался как образ самого себя: он осуществлялся и складывался как результат пути, а этот результат, этот итог всегда, до последней смертной минуты, оставался открытым. Здесь не было запланированности и преднамеренности, сложившееся целое не было известно наперед.

Это еще раз подтверждает родственность пушкинского мифа мифу классическому. Такой миф не только оплачен бытием: бытием оплачен и миф-образ. Но образ легко отлучаем от бытия, он потому так хорошо усваивается и запоминается, что имеет самостоятельное значение. Миф пушкинского типа можно реконструировать, пересказать на тот или иной лад — но это будет лишь сколок, лишь версия. Потому что этот миф тождествен пройденному пути, он тождествен тому фрагменту бытия, в котором осуществился, он неотлучаем от него (вспомним второе из названных нами четырех качеств мифа).

Путь, пройденный Пушкиным, не воспроизводит никакой универсалии: он создает ее. И в этом смысле Пушкин является для новой русской истории классическим *культурным героем*.

Универсалия эта была обнаружена Н. В. Беляком, и мы позволим себе изложить здесь некоторые положения его доклада, посвященного данной теме²⁸. Выявленные им этапы пушкинского пути не есть этапы его творчества самого по себе или самой по себе его жизни. В них явлено то нераздельное единство жизни и творчества, к которому всегда стремились русские писатели.

Итак, вот эти этапы. Первый — детство, период дотворческий, предтворческий. Второй — период поэзии, он продолжается до 1825 г., когда совершен третий принципиальный шаг: создание «Бориса Годунова», выход к драматургии. 1830 г. — следующий рубеж: написаны «Повести Белкина», освоена область прозы. В 1833 г. «Историей Пугачева» открывается поприще Пушкина-историка. Выход «Современника» в 1836 г. знаменует начало общественной деятельности Пушкина-журналиста. Последний, седьмой, этап, как и первый, лежит за пределами соб-

²⁷ См.: *Эфрос А.* Автопортреты Пушкина. М., 1945. С. 102, 134, 94, 90, 92, 81—84; *Фомичев С. А.* Графика Пушкина. СПб., 1993. С. 3—20.

²⁸ Прочитан на праздновании Лицейской годовщины в доме Г. Р. Державина в Петербурге в 1989 г.

ственно творчества: он связан с событиями дуэльной истории 1836—1837 гг., когда Пушкин становится культурным героем в прямом смысле этого слова.

Дитя — поэт — драматург — прозаик — историк — общественный деятель — культурный герой²⁹.

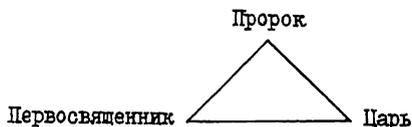
Так выглядит путь, пройденный Пушкиным, и мы постараемся показать, что по отношению к секуляризованной культуре этот путь действительно является универсальной.

В работе «История и будущее теократии», имеющей знаменательный подзаголовок «Исследование всемирно-исторического пути к истинной жизни», Владимир Соловьев указал на три верховные власти, оформлением которых завершилось развитие иудейской теократии: это власть первосвященника, царя и пророка. По Соловьеву, с наступлением христианской эры эти три власти соединяются во Христе, но затем, с развитием христианской культуры, они вновь разделяются: «Каким образом и на каком основании обособилась в христианстве власть священников, обладающих по преимуществу *ключами прошедшего*, — усвоителей совершенной жертвы, хранителей закона Божия, свидетелей предания, оракулов „света и непо-

²⁹ Это движение строилось, разумеется, не как чистый переход от чего-то одного к чему-то другому — оно шло не через отрешение, а через приумножение. На рубежах, в переходных точках творческого пути (1825, 1830, 1833 и 1836 гг.), почти каждый раз создаются произведения особой природы: они содержат либо рефлексию жанров, доминировавших на прежних этапах, либо переосмысление их, возникновение нового качества. В год создания «Бориса Годунова» появляется «Граф Нулин» — поэма совершенно иной поэтики, чем все предыдущие. Следующий шаг реформирования поэмы («Домик в Коломне») осуществляется в 1830 г., в Болдино, где пишутся «Повести Белкина». Этот переход к прозе сопровождается и выведением драматургии на новый уровень: параллельно с «Повестями Белкина» идет работа над маленькими трагедиями. Болдинская осень 1830 г. вообще становится самым классическим переходом (почти в том смысле, в каком фольклористы говорят о переходных обрядах, — с поправкой на то, что в данном случае речь идет о представителе «верхней» культуры, порвавшей с фольклорным канонам в его органичной традиционной форме). Этот переход осуществляется накануне вступления в брак и ввиду смертельной угрозы повсеместно распространяющейся холеры. Он озаменован окончанием «Евгения Онегина», пережитым как конец знакомого и надежного пути (см. стихотворение «Труд», написанное по завершении «Онегина», — не случайно на него оказали ориентированы впоследствии стихи Жуковского на смерть Пушкина). В 1833 г. — новая трансформация жанров: эволюция поэмы увенчивается «Медным всадником», пушкинская проза обретает новое звучание в «Пиковой даме», драматический жанр входит во взаимодействие с эпическим — и создается «Анджело». Нет нужды пояснять, что все три произведения теснейше связаны с размышлениями Пушкина-историка. Лишь 1836 г. не дает такой чистой картины. Но и он является годом завершения «Капитанской дочки», — т. е. оформления опять-таки нового типа прозы, а также годом создания Каменноостровского цикла, в котором происходит уже не жанровая, а смысловая переоценка важнейших ориентиров творческого пути.

рочности“; как затем привзошла в Церковь власть христианских *царей*, обладающих преимущественно ключами *настоящего*, долженствующих деятельно проводить христианские начала в действительную жизнь народов; как, наконец, появились особые ревнители совершенной жизни, абсолютного идеала — *пророки*, обладатели ключами *будущего*, сначала в образе святых подвижников, а потом и в других формах; — обо всем этом мы будем говорить во втором томе этого сочинения — в истории новозаветной»³⁰. Однако второй том так и не был написан, и триада, выстроенная Соловьевым, подверглась дальнейшему культурологическому осмыслению уже помимо него. Вяч. Иванов указал на соборное взаимодействие сфер священства, державства и пророчества, связанное с взаимодействием мира и хора, пророчесственной общины, оркестры³¹. Несколько переинтерпретируя предложенное Ивановым понимание оркестры, можно увидеть в ней особую, четвертую, власть: *народ*. И если продолжить предложенную Соловьевым соотнесенность с прошлым, настоящим и будущим, то эта четвертая власть окажется обладающей «ключами всегдашнего» — особой консервативной силой, охраняющей норму как то, что должно быть всегда.

Соловьев указывал, что в *теократическом* государстве иерархически верховное место принадлежало пророку. Триада, следовательно, выглядела следующим образом:



Эта иерархия менялась по мере удаления государства от теократической идеи. Понятно, что с наступлением секуляризованной эпохи она имела уже принципиально иной вид. Изменилось не только иерархическое соотношение, но и сущность самих позиций.

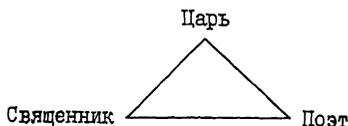
В 1985 г. А. М. Панченко был сделан доклад «Царь — Священник — Поэт», в котором осмыслялось значение этой триады в русских условиях³². В десекуляризованной Руси, трактующей идею Третьего Рима прежде всего в теократическом смыс-

³⁰ Соловьев В. С. Собр. соч. СПб., 1903. Т. IV. С. 582.

³¹ См.: Иванов Вяч. Из области современных настроений. 1. Апокалиптики и общественность//Весы. 1905. № 6. С. 35—39.

³² Прочитан на заседании Ученого Совета ИРЛИ АН СССР (Пушкинский Дом).

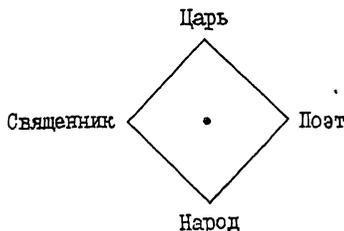
ле, на вершине государственной власти стоит не одна, а две фигуры: царь и патриарх (=первосвященник). Процесс секуляризации однозначно вытесняет священническую власть на второстепенное место. В пушкинскую эпоху оформляется другая содержательная трансформация: культурный архетип пророка берет на себя поэт. Теперь триада выглядит так:



В культурной иерархии поэт начинает играть роль, которую некогда исполнял пророк, а позже первосвященник. По отношению к царю поэт, таким образом, оказывается и его «парой», и его «конкурентом».

Если к этим трем ключевым позициям добавить четвертую, подсказанную построением Вяч. Иванова, получится символическая культурологическая схема, охватывающая все ведущие силы секуляризованной русской реальности,— схема, в которой будет виден и ее общеевропейский, общехристианский генезис. Царь здесь будет обозначать фигуру, определяющую норматив государственной, политической, общественной жизни в ее настоящем; поэт — фигуру художника (в широком смысле слова), создающего то, чего раньше не было, ориентированного на новизну, т. е. на настоящее и будущее; священник — фигуру, ориентированную на настоящее через прошлое, охраняющую традицию и память; народ — всех тех, ради кого и с помощью кого осуществляются направляющие и регламентирующие функции трех первых фигур.

Изобразим эту схему графически:



Как видим, здесь возможно еще одно, центральное, место, о значении которого будет сказано чуть позже.

Жизненный (он же творческий) путь Пушкина является универсалией потому, что он проходит через все эти ключевые позиции.

Детство — это период, когда он еще слит с общим, простым, непосредственным и в этом смысле народным бытием.

Как поэт он вступает в ту самую позицию, о которой говорил А. М. Панченко.

Как драматург он полностью реализует «протеическое» начало, с помощью которого воплощаются все четыре «столпа» русской жизни³³, — и в этом отношении оказывается в центральной позиции, в которой «фокусируются» все остальные.

Как прозаик Пушкин уже в новом качестве возвращается в позицию «народного»: его «Повести Белкина», написанные «в паре» с маленькими трагедиями, в противовес последним отстаивают (и отстраивают) эпическое пространство с заданными в нем нормами простого общежития.

Как историк Пушкин выполняет функцию, генетически восходящую к свяществу (вспомним Пимена).

Как журналист и общественный деятель он оказывается в прямой конкуренции с царем (отношения с которым в этот период не случайно обостряются до чрезвычайности, и отнюдь не по частным причинам), ибо берет на себя функции формирования общественного сознания и общественной жизни.

И наконец, дуэльная история, прямое действие не по первому яростному импульсу, но продуманное и выверенное, осуществленное с полной ответственностью за каждый шаг³⁴. Волею судеб это финал жизни, итог пути, по завершении которого Пушкин снова оказывается на позиции, обозначенной в нашей схеме как центральная, но теперь это позиция культурного героя.

Пора подытожить сказанное и попытаться определить, в каком, собственно, смысле можно говорить о Пушкине как о культурном герое.

Мистический смысл подсказывается мыслью того же Владимира Соловьева: «Триединый способ богочеловеческого соединения, заложенный в первого Адама и вполне раскрытый в втором (т. е. во Христе. — М. В.), включает в себе начало трех властей, образующих в своем неслиянном и нераз-

³³ Царь, священник, поэт, народ. Кстати, Самозванец не случайно говорит о себе как о человеке, которому «знаком голос музы» (правда, латинской), и истолковывает роль поэта именно в обозначенном здесь смысле: «Я верую в пророчества пиитов./Нет, не вотще в их пламенной груди/Кипит восторг: благословится подвиг,/Его ж они прославили заране!» (VII, 54). Как видим, тут подчеркнут императив будущего. (Не случайно и то, что муза, знакомая Самозванцу, — «латинская». Русь времен Смуты еще не пережила секуляризации, и поэт в ней еще не встал на место пророка.)

³⁴ Эта выверенность каждого шага (вызов — отказ от дуэли — новый вызов) превосходно показана в книге С. Л. Абрамович «Пушкин в 1836 году: Предыстория последней дуэли» (Л., 1989).

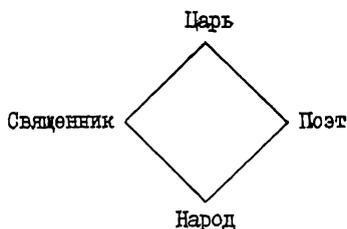
дельном соединении истинную теократию»³⁵. Но этот смысл говорит не о порождении мифа — он свидетельствует лишь о том самом воспроизведении универсалии, о котором было сказано выше. Мы не найдем в нем перекрестья мифа и истории, которое явилось бы ответом на запрос Нового времени. Этот смысл может канонизировать Пушкина, но отнюдь не объяснить, почему он — «первый». Ибо следование Христу — норма православной жизни, а не ее новость.

Поищем поэтому ответа, лежащего в иной плоскости: в плоскости исторической.

Процесс секуляризации в России начался с раскола и завершился петровскими реформами. Надвое раскололась тогда не только Церковь: раскололся сам русский культурный космос.

Никон провел свою реформу, когда в России только что победил теократический и соборный принцип, отстаиваемый боголюбцами, ратовавшими за воцерковление всей полноты русской жизни. Реформа, поставившая под сомнение церковный обряд, вырывала важнейшее звено из единой связи, осуществлявшей сквозную включенность жизни в канон. Ускользая из-под канона, бытие неизбежно теряет свою целостность. Единожды пренебрегший соборной волей, Никон уже через несколько лет лишился того места в государственной иерархии, которое обещивал ему теократический принцип при вступлении на патриарший престол. А еще полвека спустя не только патриаршество оказалось упраздненным, но и сама русская соборность — не в административном, а в духовном ее смысле — стала утопией, ибо культура утратила единую скрепу, сама разделилась на «верхнюю» и «нижнюю», «церковную» и «светскую». И этот раскол культуры превзошел по своим последствиям послуживший ему основанием раскол церкви.

«Верхняя» и «нижняя», «церковная» и «светская» культура — каждая из них тяготеет к одному из полюсов, обозначенных на нашей символической схеме:



³⁵ Соловьев В. С. Собр. соч. Т. IV. С. 534.

Каждая из позиций теперь обособилась, единой нормы не стало.

Единой скрепой своего жизненного сюжета, единой скрепой своего жизненного пути Пушкин воссоединил их заново — но уже в совершенно новом качестве. Пушкинский путь возвращает русской культуре утраченное единство, но возвращает не в результате движения вспять, а через фундаментальную историческую инверсию. Вот суть этой инверсии. В досекуляризованной Руси личность (любая личность, будь то простолюдин или царь, священник или мирянин) обымается началом родовым и соборным, существует *внутри него*. В результате секуляризации личность отпадает от родового и соборного, противопоставляя ему индивидуалистическую тенденцию. Пушкинский путь указывает, что личность, прошедшая через искус индивидуализма, способна восстановить родовой и соборный принцип — но теперь уже *внутри себя*. И если теократия обеспечивала единство культуры через церковность (и церковную соборность), а следовательно, через священство, то отныне ответственность за «исправление путей» русской жизни берет на себя литература, словесность, ибо личностью, прокладывающей путь к новой соборности, становится поэт. Именно после Пушкина возникает центральная идея классической русской литературы: идея мессианского назначения писательства.

Впрочем, эта идея в знакомом нам выражении, казалось бы, восходит отнюдь не к Пушкину, а к Гоголю. Это он с чисто религиозным пафосом провозгласил идею воздвизания действительности, это он настоятельно говорил о «раздробленности» русской жизни, которую необходимо привести к единству. Заметим, что, боготворя и превознося Пушкина, Гоголь именно в этой сфере подчеркивал свой собственный приоритет, специально настаивая, что «Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше». «Все сочинения его — полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выйди себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву с ним не вышел.» «...нельзя служить и самому искусству, — как ни прекрасно это служение, — не уразумев его цели высшей и не определив себе, зачем дано нам искусство; нельзя повторять Пушкина»³⁶. Что это было? Лукавство? Попытка присвоить себе чужие свершения? То самое, знаменитое: «...однажды Гоголь переоделся Пушкиным»? Думается, что нет.

³⁶ Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями//Полн. собр. соч. Т. VIII С. 381, 382, 407.

Здесь мы сталкиваемся с двумя способами свершений. Один (условно говоря, «гоголевский») состоит в том, что нечто совершается *для того-то и для того-то*. Так, «Ревизор», «Мертвые души» и «Переписка с друзьями» создавались, дабы облагородить и облагообразить, более того — преобразить русскую жизнь (в чем и не преуспели). Слово действительно служит здесь тем «орудием», с которым писатель выходит на битву с реальностью, оказываясь тем самым ее оппонентом, вставая в позицию визави с нею. Говоря языком современных научных описаний, писатель становится в позицию субъекта, воздействующего на объект. При этом и с самого себя он спрашивает по полной мере, вменяя себе в обязанность подвиг нравственного самосовершенствования, не осуществив который, он не будет достоин своей задачи, не сможет справиться с нею.

Другой способ («пушкинский») состоит в том, что нечто совершается, *чтобы оно было*. (Вспомним: «Цель поэзии — поэзия» (XIII, 167); «Ты понял жизни цель <...> для жизни ты живешь» (III, 217)). И как ни парадоксально, именно этот второй способ является реальной работой по космоустройству — работой, подобной той, что осуществляет классический миф, никогда не имеющий экстенсивной, вовне лежащей цели, но работающий с тем, что он имманентно содержит в себе. Пушкин не возделывает действительность, ему предлежащую, — он строит ее самим собой. В этом случае нравственного соответствия личности масштабу ее задачи оказывается мало: писатель не указывает путь — он сам первым проходит его и добывает нечто, что остается отныне в наследие для всех. Это жертвенный путь личного претерпевания, когда преобразование действительности должно произойти не в эстетической сфере слова (гоголевский способ), а через собственный личный опыт, позволяющий и полностью отождествиться с фрагментом мира, подлежащим преобразению, и в то же время дистанцироваться от него. Здесь воспроизводится уже не теократический, а архаический архетип поэта, который «является создателем нового способа существования. Он — автор „основного“ мифа, и его герой-жертва и герой-победитель, субъект и объект текста, жертвующий (жрец) и жертвуемый (жертва), вина и ее искупление, одним словом — Творец и тварь (эта принципиальная амбивалентность, предполагающая возможность наличия двух противоположных позиций (автора и зрителя), с которых поэт описывает мир...»³⁷.

³⁷ Топоров В. Н. Первобытные представления о мире (глава «Царь-первосвященник, поэт. „Основной“ миф»)//Очерки истории естественных наук знаний в древности. М., 1982. С. 23. Существенно, что описанный здесь принцип реализуется в поэтике Пушкина. Но это отдельная тема, а сейчас отметим лишь, что он предопределяет, в частности, и природу пушкинского

Притча о блудном сыне не случайно близка была Пушкину. Но эпоха не давала надежды на возвращение в отчий дом, ибо дом этот был уже пуст³⁸. Детище секуляризованной культуры, искусившийся всеми ее искушениями, Пушкин ее же и возвращает к утраченному ею канону (герой-жертва и герой-победитель).

Именно этот путь в его полноте и универсальности мы и называем пушкинским мифом, в котором все четыре качества мифа наличествуют несомненным образом. Это миф, на всех этапах своего формирования засвидетельствованный в слове (прежде всего в художественных текстах, но также и в письмах, воспоминаниях и т. п.), но к словесному выражению не сводящийся, ибо он обеспечен и оплачен реальной жизнью, плотью и кровью. Это миф не сконструированный, не нарочно сочиненный, ибо он не был заранее предрешен, и, хотя каждый

автобиографизма. Так, акт создания маленьких трагедий, например, был, кроме всего прочего, актом признания доподлинной, невыдуманной, личной причастности трагическим коллизиям европейской истории — а вместе с тем и признания личного наследования ключевым конфликтам европейской культуры. Тем самым Пушкин преодолевает механизм переноса вины — этот извечный механизм порождения трагедии, присущий индивидуалистическому сознанию секуляризованной культуры и — соответственно — всем героям цикла. История, расколота индивидуалистическим сознанием, восстанавливалась, таким образом, как история родовая, и трагическая вина индивидуализма была понята и пережита как родовая вина. Достигалось же это тем, что сам автор прошел здесь путем трагического героя, что и позволило ему осуществить выход из трагического пространства в эпическое пространство простой народной нормы, реализованное в «Повестях Белкина», т. е. совершить не что иное, как переход из одной позиции, обозначенной на нашей символической схеме, в другую (подробнее см. об этом: *Беляк Н. В., Вироплайн М. Н. Маленькие трагедии как культурный эпос новоевропейской истории: (Судьба личности — судьба культуры)*//Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1991. Т. XIV. С. 73—96).

Это качество пушкинского автобиографизма иногда забавным образом отражается в народном сознании, приписываемом автору содеянное его героями и строго судящем его за это. Так, в 1983 г. в окрестностях Михайловского был записан рассказ старухи, явно наслышанной о сюжете «Русалки»: «Пушкина глядеть приехали? А что в ём хорошего, в вашем Пушкине? Я вам вот что, девки, скажу: повесить его мало! Привязать за ноги, за руки к осинам, да отпустить — вот как с им надо! Вот вы, девки, не знаете, а стояла тут раньше мельница, и жил мельник, и была у него дочка-красавица. А Пушкин-то ваш, как приехал сюда — ну за ей бегать. Бегал, бегал... Обрюхатил девку да и бросил. А она со сраму-то взяла да утопилась — там, в озере. Вот как оно было...» (запись Г. Е. Потаповой).

³⁸ Так в «Станционном смотрителе» (где евангельская параллель специально подчеркнута: в домике Самсона Вырина висят лубочные картинки с изображением истории блудного сына) дитя возвращается к отцу, но уже — поздно. Та же ситуация повторяется и в «Сценах из рыцарских времен».

этап свершений осуществлялся в полном соответствии с устремлениями сознания и воли, весь путь в целом, судьба в целом связаны с тем таинственным истоком личности, с той сокровенной мировой волей, участие которой в жизни Пушкина безоговорочно признается всеми. И, наконец, нормативная природа этого мифа тоже несомненна: он predetermined особый статус классической русской литературы XIX в.

Однако если мы более строго отнесемся к последнему пункту, он снова вернет нас к вопросу о «пушкинском» и «гоголевском» направлении. Понятно, что в глубинном и сущностном смысле без Пушкина не состоялся бы Гоголь, который и сам это прекрасно осознавал. Но пушкинский миф (как это всегда и бывает с мифом) был принципиально трансформирован (не будем говорить: искажен) гоголевской идеей, которой, собственно, и последовала русская литература в своем дальнейшем движении.

Таким образом, перед нами встает еще одна проблема: проблема неунаследованности пушкинского мифа.

* * *

Что остается в истории от образа и что остается от пути? От образа — образ. Он как бы заранее «упакован», ибо создается с учетом воспринимающего его сознания современников и потомков. От пути...

Подобно тому как открыты финалы маленьких трагедий и момент катарсиса вынесен за пределы звучащего текста, открыт и вопрос о конечном результате самого жизненного пути, пройденного Пушкиным. Ответ на этот вопрос должен быть дан не идущим — он должен прийти из мира. Именно в этой кардинальнейшей точке как раз и исключается всяческое самокомментирование.

Пожалуй, бахтинские категории «диалога» и «полифонии» в первую очередь должны были бы быть применены не к Достоевскому, а к Пушкину. Не только благодаря таким его созданиям, как «Медный всадник», включающий в себя целую стихию «чужих голосов», но прежде всего потому, что само предъявление содеянного предоставлено «другому» или «другим», которым, в отличие от Гоголя, Пушкин ничего не предписывал, а, напротив того, оставил полную подлинную свободу.

Свобода же, как известно, — дар, которым мы хуже всего умеем пользоваться.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИИ

- С.5. Портрет Ганнибала в черновике повести «Царский арап» («Арап Петра Великого»).
- С.54. Автопортрет Пушкина в образе арапчонка.
- С.66. Автоиллюстрация в беловике поэмы «Домик в Коломне».
- С.86. Фрагменты гравюры А. Шхонебека и аллегорической картины начала XVIII в. с изображениями арапа.
- С.90. Неизвестный художник. Портрет И. И. Меллера-Закомельского после «реставрации» (Всероссийский музей А. С. Пушкина. Фотография 1960-х гг.).
- С.91. Неизвестный художник. Портрет И. И. Меллера-Закомельского до «реставрации» (Пушкин. Сочинения/Под ред. С. А. Венгерова. СПб.: Изд-во Брокгауза-Ефрона, 1907. Т. I. С. 17).
- С.104. А. Шхонебек. Гравюра 1705 г. (Российская национальная библиотека).
- С.106. Неизвестный художник. Аллегорическая картина начала XVIII в. (Государственный Русский музей).
- С.113. Пушкин. Автопортреты.
- С.134. Автопортрет Пушкина, стилизованный под Данте.
- С.148. Диплом «Ордена рогоносцев».
- С.168. Автограф стихотворения «Подъезжая под Ижору...»
- С.174. Автограф стихотворения «Арион».
- С.192. Помета «Кам.⟨енный⟩ остр⟨ов⟩ под автографом стихотворения «(Подражание италиянскому)».
- С.216. Рисунки во Второй масонской тетради Пушкина.
- С.241. Портрет Н. Н. Пушкиной в Первой арзумской тетради Пушкина.
- С.257. Рисунки в черновике стихотворения «Андрей Шенья в темнице» («Андрей Шенья»).
- С.267. Пистолеты (рисунки Пушкина).
- С.277. Записи на книге Вальтера Скотта «Ивангое, или Возвращение из Крестовых походов» (СПб., 1826), принадлежавшей Н. А. Раменскому.
- С.290. Автоиллюстрация в беловике «Сказки о попе и работнике его Балде».
- С.296. Рисунки, связанные с замыслом повести «Барышня-крестьянка».
- С.311, 314—319, 323, 325, 326 — рисунки Резо Габриадзе.
- С.329. Автограф стихотворения «Напрасно я бегу к Сионским высотам...»

СО Д Е Р Ж А Н И Е

I. Мифология родословия

<i>В. В. Набоков</i> Пушкин и Ганнибал. Версия комментатора (Вступительная статья и публикация <i>В. П. Старка</i> , перевод с английского <i>Г. М. Дашевского</i> , примечания <i>Н. К. Телетовой</i>)	5
<i>В. С. Листов</i> Легенда о черном предке	54
<i>В. П. Старк</i> Пушкин и семейные предания его рода	66
<i>Н. К. Телетова</i> О мнимом и подлинном изображении <i>А. П. Ганнибала</i>	84

II. Творчество. Биография. Судьба

<i>О. С. Муравьева</i> Образ Пушкина: исторические метаморфозы	113
<i>Г. Е. Потапова</i> «Все приятели кричали, кричали...» (Литературная репутация Пушкина и эволюция представлений о славе в 1820—1830-е годы)	134
<i>С. А. Фомичев</i> Пушкин и масоны	148
<i>М. В. Строганов</i> «...Вампиром именован...»	168
<i>И. В. Немировский</i> Декабрист или сервилист? (Биографический контекст стихотворения «Арион»)	174
<i>В. С. Листов</i> Миф об «островном пророчестве» в творческом сознании Пушкина	192
<i>Р. В. Иезуитова</i> «Утаенная любовь» Пушкина	216
<i>Я. Л. Левкович</i> Жена поэта	241
<i>И. С. Чистова</i> К статье <i>С. А. Соболевского</i> «Таинственные приметы в жизни Пушкина»	257

III. XX век: ракурсы и варианты

<i>Я. Л. Левкович</i> Кольчуга Дантеса	267
<i>Т. И. Краснобородько</i> История одной мистификации (Мнимые пушкинские записи на книге Вальтера Скотта «Айвенго»)	277
<i>Н. И. Михайлова</i> «Шоколад русских поэтов — Пушкин»	290
Возращение в мир молвы («Барышня-крестьянка» в народных пересказах) (Публикация <i>О. Р. Николаева</i>)	296
<i>А. Битов, Р. Габриадзе</i> Пушкин за границей (фрагменты)	311
Заключение	
<i>М. Н. Виротайнен</i> Культурный герой Нового времени	329
Список иллюстраций	350

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ
О ПУШКИНЕ
Сборник

Рецензенты: *д. ф. н. В. М. Маркович, к. ф. н. Ю. М. Прозоров*
Научный редактор: *к. ф. н. М. Н. Виролайнен*

Отв. редактор *В. Н. Сажин*
Редактор *Т. А. Лапицкая*
Художник *Э. Б. Капелюш*
Худ. редактор *А. А. Власов*
Техн. ред. *С. Л. Шереметьева*
Корректор: *А. А. Седова*

ЛР № 062679 от 02.06.93.

Сдано в набор 23.12.94. Подписано к печати 12.05.95. Формат 60 × 90^{1/16}. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 22,0. Тираж 5000 экз. Заказ 165.

Гуманитарное агентство «Академический проект».
199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4.

Ордена Трудового Красного Знамени ГП «Техническая книга» типография № 3 Комитета РФ по печати. 190000, г. Санкт-Петербург, Прачечный пер., д. 6.